

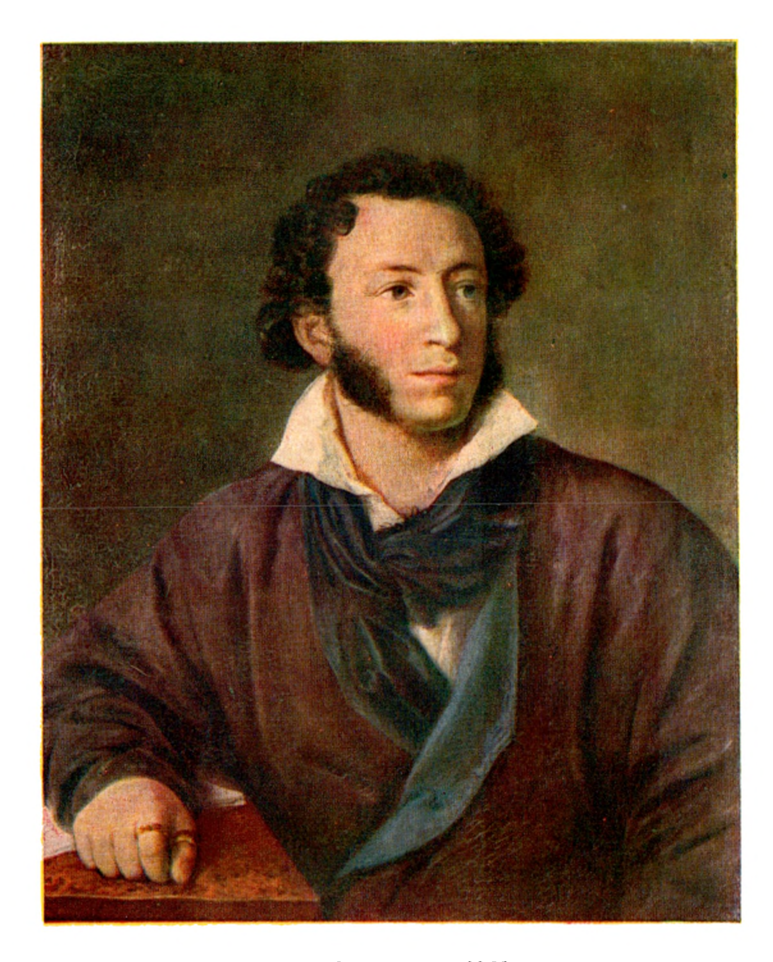
Н. Л. Бродский

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
РОМАН
А. С. ПУШКИНА

УЧПЕДГИЗ · 1950


1799 - 1949


1799 - 1949



А. С. ПУШКИН

(с портрета работы В. А. Тропинина)

Н. Л. Бродский

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
РОМАН
А. С. ПУШКИНА

ПОСОБИЕ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ,
ПЕРЕРАБОТАННОЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА — 1950

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первым комментатором романа «Евгений Онегин» был сам его гениальный автор: Пушкин снабдил свой роман примечаниями, где раскрывал намёки на разнообразные явления литературной современности, личной жизни, пояснял стихотворные цитаты, защищал от реакционной критики введённые в текст романа простонародные слова и выражения, переводил иностранные речения. Даже современный Пушкину читатель, как думалось поэту, иногда нуждался в литературной помощи. Со времени окончания романа прошло более столетия, в течение которого произошли гигантские изменения во всём строе нашей родины; Великая Октябрьская социалистическая революция до основания смела тот социально-политический порядок, в котором задыхался национальный гений и который погубил поэта вольности, врага «барства дикого» и царизма, и вызвала к творческой жизни подлинного хозяина страны — народ, на долю которого при жизни поэта, по его словам, выпала «крепостная нищета».

Советский читатель в романе Пушкина — этой «энциклопедии русской жизни» первых десятилетий XIX века — встречает характерные подробности чуждого ему быта, требующие разъяснения, может пропустить без внимания многое из того, что для Пушкина было животрепещущим, что волновало его современников по остроте поставленных вопросов, по меткости полемических ударов, направленных на все знакомые в то время детали, идейные течения, даже лица, и что в настоящее время требует конкретного исторического раскрытия. Роман не только полон «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» автора, он насыщен пушкинским мировоззрением — философским, политическим, эстетическим: «друг, товарищ» дворянских революционеров, он резко бичует нравы дворянской знати и отсталых групп господствовавшего класса, сочувствует передовым представителям дворянской культуры, в то же время отмечая их оторванность от народной массы и видя в этом обречённость их на бесплодное существование, — так возникает задача обрисовать в годы написания романа общественно-политические настроения, породившие главных героев романа, определившие их социальную судьбу, психологию, формы поведения, и раскрыть круг идей самого автора в изменявшейся при его жизни действительности, когда надежды на социальные преобразования были разбиты после поражения декабристов.

Наш комментарий характеризует по ходу повествования существенные стороны в жизни центральных образов, дающие читателю возможность создать целостное представление о поэтических образах в их эволюции, противоречиях, в их связях с общественной средой; наш комментарий даёт отдельные экскурсы, посвящённые общественным группировкам 20-х годов прошлого века (см. о X главе романа и о др. главах), специальные этюды о художественной стороне романа (например, о пейзаже) и этим приёмом изложения помогает читателю синтетически охватить подлежащие анализу темы различного содержания, подводит его к научному постижению вершинного памятника русского классического романа.



РОМАН ПУШКИНА

Первое упоминание о работе Пушкина над романом находим в его одесском письме к П. А. Вяземскому 4 ноября 1823 г.: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница...»

На возможность появления романа в печати Пушкин не рассчитывал, опасаясь цензуры. «О печати и думать нечего»... «Если когда-нибудь она [моя поэма] и будет напечатана, то, верно, не в Москве и не в Петербурге»... «Не знаю, пустят ли этого бедного «Онегина» в небесное царствие печати; на всякий случай попробую», — писал он в 1823—1824 гг. Вяземскому, Бестужеву и А. И. Тургеневу.

Хотя в начале своей работы поэт «ещё не ясно различал» «даль своего романа», форма его уже была продумана: роман (или поэма) должен был стать — в свободной жанровой форме — отражением общественной жизни с обильными отступлениями от основной нити повествования о герое и его судьбе; он должен был стать романом социальным и романом-исповедью, романом лирическим и сатирическим, «романтической поэмой» и романом-памфлетом, насыщенным темами живой современности и откликами её непосредственного участника, который «захлёбывается желчью» [1]. Стиль романа несколько позже (в 1828 г.) был определён самим поэтом в посвящении П. А. Плетнёву, напечатанном в первом издании IV и V глав «Евгения Онегина»:

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пёстрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,

Бессонниц, лёгких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

«Пёстрые главы» нового романа, написанные «едва ли не вольнее строф Дон-Жуана» [2], были облечены в стихотворную форму. Пушкин в этой форме видел новое качество своего романа, отличие его от прозаического романа. Один из наиболее образованных теоретиков литературы того времени, лицейский профессор А. И. Галич, в «Опыте науки изящного» (1825) так определял особенность романа как эпического жанра: «Роман есть история героя, которая в его лице сосредоточивает всю занимательность». Пушкин отталкивался от подобного определения и в своём «романе в стихах» хотел создать в русской литературе новый тип романа. Автор был доволен своим созданием: «Это лучшее моё произведение», — писал он в январе 1824 г. Л. С. Пушкину; «Всё-таки он [«Онегин»] лучшее произведение моё», — повторил он в письме к А. А. Бестужеву 24 марта 1825 г.

«Забалтываюсь до нéльзя», — признавался он А. Дельвигу в ноябре 1823 г., незадолго перед этим окончив первую главу романа. «Болтовня», causerie, непринуждённый тон лёгкой беседы, перебегающей от одной темы к другой, небрежная манера речи, постоянные обращения к читателю своего, светского круга, «шуточное описание нравов» с кажущимся безразличием автора, какое впечатление производят на читателя серьёзные темы и забавные шутки, — таков тон первой главы. Начиная со второй главы, этот тон «забалтывающегося» поэта меняется; в роман включаются темы огромной содержательности; образ героя стал уясняться читателю в безвыходности его положения на фоне закостеневшего дворянского быта, в условиях политического тупика 20-х годов. Элементы сатиры в новых главах проявляются в отношении автора к «дикому барству», в резкой критике «большого света» и его «предрассуждений», в критике общественных нравов и политической системы, ломавших и калечивших людей с большим запасом душевных сил. «Небрежный» тон совсем исчезает в последних главах, написанных после 14 декабря 1825 г. в условиях мрачной николаевской реакции. Гениальный художник поставил перед собой серьёзные проблемы об отношении личности к обществу, об общественных и индивидуальных конфликтах, неразрешимых в классовом обществе.

Пушкин, кончая роман, прощался с ним и с читателем трогательно-волнующими словами:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.

Прости. . . . .
. . . .
Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд...

Труд поэта был оценён и рядовыми читателями, и теми критиками и публицистами, которые выражали наиболее полно мнения передовых общественных групп. Белинский в своих статьях о Пушкине дал замечательную, исторически верную оценку романа. Герцен, Добролюбов и Чернышевский углубили точку зрения гениального основоположника русской реалистической критики.

«Евгений Онегин» признан одним из величайших произведений русской художественной литературы. Белинский, называя «Онегина» «в высшей степени оригинальным и национально-русским произведением», писал в своей восьмой пушкинской статье о значении романа: «Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова — «Горе от ума», стихотворный роман Пушкина положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе... оба эти произведения были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без «Онегина» был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины». Роман Пушкина такими художественными обобщениями, как образы Онегина и Татьяны, положил начало русскому с о ц и а л ь н о м у р о м а н у. Онегиным Пушкин предсказал Печорина, Бельтова, Рудина и других «лишних людей», героев дворянской классической литературы, а Татьяной — тургеневских женщин. Белинский прежде всего видел в «Онегине» реалистический роман, в котором была художественно воспроизведена «картина русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития [3]. С этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма и с т о р и ч е с к а я в полном смысле слова, хотя в числе её героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная!»

К этой оценке, данной Белинским роману Пушкина как реалистическому произведению, присоединим ещё слова А. М. Горького об историческом значении «Евгения Онегина»: «Онегин как тип только что слагался в 20-х годах, но поэт тотчас же усмотрел эту психику, изучил её, понял и написал первый русский реали-

стический роман, — роман, который помимо неувядаемой его красоты имеет для нас цену исторического документа, более точно и правдиво рисующего эпоху, чем до сего дня воспроизводят десятки толстых книг».

Назвав роман Пушкина «энциклопедией русской жизни», исторически верным отражением *действительности,* Белинский подчеркнул не только широту её охвата в «Онегине», но и *поэзию* этой действительности, превращение автором романа каждого её явления в поэтический факт, явление искусства. «Как истинный художник, Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для своих произведений, но для него все предметы были равно исполнены поэзии. Его «Онегин», например, есть поэма современной действительной жизни не только со всею её поэзиею, но и со всею её прозою, несмотря на то, что она писана стихами. Тут и благодатная весна, и жаркое лето, и гнилая дождливая осень, и морозная зима; тут и столица, и деревня, и жизнь столичного дэнди, и жизнь мирных помещиков, ведущих между собою

...разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне;

тут и мечтательный поэт Ленский, и тривьяльный забияка и сплетник Зарецкий; то перед вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирного слуги, отворяющего, с метлою в руке, дверь кофейной, — и все они, каждый по-своему, прекрасны и исполнены поэзии. Пушкину не нужно было ездить в Италию за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него под рукою здесь, на Руси, на её плоских и однообразных степях, под её вечно серым небом, в её печальных деревнях и её богатых и бедных городах. Что для прежних поэтов было низко, то для Пушкина было благородно; что для них была проза, то для него была поэзия...» Типические герои романа показаны Пушкиным как художественные образы, социально-обусловленные типическими обстоятельствами.

Онегин и Ленский — представители передовой дворянской интеллигенции начала 20-х годов протестуют против крепостнической действительности, но в то же время бессильны активно бороться с дикими проявлениями провинциального дворянства и высшей знати, подчиняются предрассудкам окружающей их общественной среды. Трагизм этих героев романа в том, что воспитанные дворянской культурой, они оторваны от национальной народной жизни.

Пушкин, при всём сочувствии этим героям, осуждает их — первого за его индивидуализм, длительное «равнодушие» к жизни, за отсутствие «труда», «цели», одухотворённой идеей обществен-

ного блага; второго за его отвлечённую мечтательность, незнание действительной жизни. Своим осуждением центральных героев романа Пушкин показал, что тот социальный мир, который создал их и искалечил многие положительные черты их мировоззрения должен быть заменён другим общественным строем, где не должно быть места «лишним людям», «умным ненужностям».

По справедливому замечанию Б. Мейлаха (в его книге «А. С. Пушкин», 1949), «широкое и правдивое изображение мира лжи, лицемерия, пустоты, в котором находятся герои романа, и судьбы попадающих в сферу его влияния людей с неумолимой логикой подсказывало единственно возможный вывод: «Человек родился не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумное законное наслаждение благами бытия, его стремления справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе. . .» (Белинский). В этом заключается и гуманизм романа и народность его.

«Евгений Онегин» будил сознание читателей благородством идей и глубоким художественным раскрытием противоречий действительности, направлял мысль к поискам путей освобождения от всякого рабства, — морального и политического».

Критическое отношение Пушкина к действительности соединялось у него с умением найти в ней элементы ценностные, положительные, идеальные, его «милый идеал». Татьяна связана с национально-русскими элементами жизни, с народной почвой, которая и раскрыла в её духовном облике высокие моральные качества, её отношение к светской жизни как «ветоши маскарада», её тяготение к «бедному жилищу», к воспоминаниям о няне.

Д. Д. Благой удачно отметил по поводу выражения «ветошь маскарада»: «Пушкин находит здесь слово, которое определит отношение всех последующих передовых русских писателей к паразитарным формам общественной жизни, основанным на насилии и эксплоатации. Недаром символическое название «Маскарад» придаст своей драме из жизни светского общества Лермонтов. С этого-то «маскарада» и будет срывать «все и всяческие маски» автор «Смерти Ивана Ильича» и «Воскресения» — Лев Толстой» («Мировое значение Пушкина», 1949). Белинский указывал огромное влияние «Онегина» не только на современную и последующую русскую литературу, но и на нравы общества; роман Пушкина был, по словам критика-публициста, «актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперёд для него! .. Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным. . . Пусть идёт время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растёт русское общество и обгоняет «Онегина»: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет

оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор...»

«Евгений Онегин» — «самое задушевное произведение» поэта, отдавшего ему около десяти лет своей творческой жизни, — неисчерпаемый материал для познания мировоззрения художника, который, как удачно выразился Чехов, «правильно поставил вопросы» большой философской, моральной, политической, бытовой, интимно-личной значимости [4]. Это мировоззрение поэта было ярко окрашено освободительными идеями передовых слоёв русского общества.

«Евгений Онегин» — роман, которым русская литература утвердила метод критического реализма в мировой литературе. Д. Д. Благой правильно напомнил, что «Евгений Онегин» был первым подлинно великим реалистическим созданием всей мировой литературы XIX в., так как предварял появление признанных образцов европейского классического реализма — романов Бальзака и Стендаля, которые были напечатаны почти 10 лет спустя, в начале 30-х годов, когда Пушкиным был завершён весь его «Евгений Онегин». Современная Пушкину критика неоднократно — и совершенно неосновательно — мерила «роман в стихах» Пушкина байроновским «Дон-Жуаном». Однако Пушкин, с самого начала признавая, что жанровым толчком к написанию «Онегина» послужил ему байроновский «Дон-Жуан» («...пишу... роман в стихах... в роде Дон-Жуана...»), имел полное право отклонить сближение с ним этого своего произведения по существу. «Никто более меня не уважает Дон-Жуана (первые 5 песен, других не читал), но в нём ничего нет общего с Онегиным», — писал Пушкин декабристу Александру Бестужеву 24 марта 1825 г., когда у него уже были готовы три с лишним главы «Онегина». «Те, кто говорит, что поэма Пушкина «Онегин» есть «Дон-Жуан» русских нравов, — замечал 26 лет спустя Герцен, — не понимают ни Байрона, ни Пушкина, ни Англии, ни России; они судят по внешности»... В высшей степени характерен в этом отношении рассказ известного чешского писателя середины XIX в. Густава Пфлегер-Моравскы, очень увлекавшегося в начале своей литературной деятельности Байроном, о том, как в нём зародился замысел его стихотворного романа «Пан Вышинский»: «Однажды вечером я перечитывал Пушкина, именно его «Онегина». Вдруг у меня родилась мысль. Я понял, что мне нужно. Реальность, именно идеальная реальность, изображение предметов, событий, чувств и мыслей такими, каковы они есть, только в своего рода возвышенном одеянии: вот что я понял вдруг. Раньше я замышлял написать что-либо в жанре Чайльд-Гарольда. Теперь я выбросил из головы чешского Чайльда. В тот же вечер я безо всякого плана набросал две первые строфы «Вышинского». Реальность, изображение

предметов, событий, чувств и мыслей такими, каковы они есть, притом изображение в высшей степени поэтическое, — вот то новое, небывалое, что нёс европейской литературе «Евгений Онегин» Пушкина...»

Переводы «Евгения Онегина» на иностранные языки обильны, они начали появляться вскоре после гибели Пушкина (с 1840 г.); роман, например, в Венгрии за неполные 100 лет издавался двадцать два раза (против девяти изданий в Германии, шести — во Франции и трёх в Англии) [5]. Роман Пушкина был оценён читателями и выдающимися критиками, как первоклассное произведение гениального русского поэта: ещё при жизни Пушкина, в 1827 г., профессор Эген де Герль в своей вступительной статье к антологии русских поэтов во французском переводе писал: «Недавно [Пушкин] издал первую песнь поэмы, озаглавленной «Онегин», которая возбуждает в читателях неодолимое желание видеть скорее окончание этого произведения». 3 марта 1837 г. Леве-Веймар в «Journal des Debats» писал, что Пушкин своим романом и «Борисом Годуновым» «создал тот русский язык, которым пишут и говорят теперь» (этот отзыв французского писателя был перепечатан 12 марта 1837 г. в одной немецкой газете). Адам Мицкевич в 1837 году называл «Евгения Онегина» «лучшим и своеобразнейшим и наиболее национальным из творений Пушкина». В 1838 г. известный немецкий критик Фарнгаген фон-Энзе, читавший Пушкина в подлиннике, называл роман «Евгений Онегин» «вещью, ни с чем не сравнимою, читая которую, вы должны сказать, что здесь перед вами Пушкин и только Пушкин». Переводчик Пушкина на немецкий язык (в 1855 г.) Ф. Боденштедт ставил роман Пушкина «в ряд величайших поэтических творений всех времён и всех народов» [6]. Мы привели отзывы об «Евгении Онегине», относящиеся к ранним годам знакомства с Пушкиным зарубежных читателей. В настоящее время стало общепризнанным в передовых читательских кругах на Западе и на Востоке значение Пушкина, автора «Евгения Онегина», как гениального художника-реалиста, учителя правды и красоты в искусстве, творца художественного метода, которым русская литература завоевала ведущую роль в мировой литературе.

«Евгений Онегин» как явление искусства продолжает жить второе столетие, питая каждого читателя богатством и яркостью идей и эмоций, высоким мастерством пушкинской образно-поэтической формы.

В. И. Ленин высоко ценил Пушкина и в споре с вхутемасовской молодёжью, улыбаясь по поводу задорного футуристического отрицания «Онегина», говорил:

«Вот как, вы, значит, против «Евгения Онегина»? Ну, уж мне придётся тогда быть за... Вот приеду в следующий раз,

тогда поспорим... Ну, а вы всё-таки спать-то пораньше ложитесь [был уж третий час ночи], а то что ж, научиться — научитесь, а сил-то против «Евгения Онегина и не хватит...» [7]

В. Маяковский на одной из дискуссий о судьбах литературы рассказал собравшимся, какое наслаждение он испытывал, слушая чтение «Онегина»: «Я даже выключил телефон, — сказал Маяковский, — чтобы никто не мешал мне», и «тут же, — по словам вспоминавшего этот эпизод А. В. Луначарского, — стал цитировать различные отрывки, которые рекомендовал вниманию публики как образец чёткости и мастерства».

Советские читатели находят в романе Пушкина не только материал для познания давно минувшего.

Девушка-колхозница в пьесе Погодина «После бала» письмом Татьяны проверяет свою душевную тревогу.

Рабочие Донбасса послали с делегацией московских рабочих письмо-наказ Максиму Горькому, чтобы староста пролетарской литературы убеждал советских писателей написать роман из жизни пролетариата такого же широкого, всестороннего охвата жизни, с такими же полноценными художественными образами, как роман Пушкина: «Так вот, хотим мы такого романа, чтобы за сердце хватал, чтобы дал художественные образы, красивые и мощные, как памятник. Чтобы Иван Тарасович Кирилкин [бывший беспризорный, потом инженер и директор завода] стал также художественным типом, как у Пушкина Евгений Онегин...»

Замечательный наказ краматорцев кратко, но с исключительной силой понимания непреходящей роли в общественном сознании пушкинского романа подтверждает мудрую оценку русского гения, данную в одной из статей М. Горького: «Умники могут сказать, что старая литература «объединяет весь культурный мир», и сошлются на влияние Достоевского, всё более растущее в Европе. Я предпочёл бы, чтоб «культурный мир» объединялся не Достоевским, а Пушкиным, ибо колоссальный и универсальный талант Пушкина — талант психически здоровый и оздоровляющий» [8].

ХРОНОЛОГИЯ РОМАНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

В черновых бумагах Пушкина П. Анненковым был найден листок, на котором поэт в 1830 г. набросал план полного издания «Евгения Онегина».

ОНЕГИН

Часть первая. Предисловие.

I песнь. *Хандра*. Кишинёв, Одесса.
II » *Поэт*. Одесса. 1824.
III » *Барышня*. Одесса. Мих[айловское]. 1824.

Часть вторая.

IV песнь. *Деревня.* Михайлов[ское]. 1825.
V » *Именины.* Мих[айловское]. 1825, 1826.
VI » *Поединок.* Мих[айловское]. 1826.

Часть третья.

VII песнь. *Москва.* Мих[айловское]. П. б. Мал[инники]. 1827, 1828.
VIII » *Странствие.* Моск[ва]. 1829. Павл[овское][9]. Болд[ино].
IX » *Большой свет.* Болд[ино].

Примечание.

1823 года, 9 мая. Кишинёв.
1830 года, 25 сентября. Болдино.

7 лет, 4 месяца, 17 дней.

Этот набросок можно дополнить более точными указаниями из черновых тетрадей Пушкина.

Роман был задуман в Кишинёве 9 мая 1823 г., первые строфы первой главы были начаты ночью 28 мая 1823 г., работа продолжалась в Одессе и была закончена 22 октября 1823 г.

Вторая глава была начата на другой день, к 1 ноября были готовы 16 строф, под XVII—XVIII строфами пометка 3 ноября; ночью 8 декабря 1823 г. была окончена XXXIX строфа.

Третья глава начата ночью 8 февраля 1824 г.; окончена 2 октября 1824 г. (в селе Михайловском).

Четвёртая глава носит пометы: при XXIII строфе — 31 декабря 1824 г. и 1 января 1825 г.; под XLIII строфой — 2 января 1826 г.: под LI строфой — 6 января 1826 г.

Пятая глава начата 4 января 1826 г. и в том же году окончена и переписана 22 ноября.

Шестая глава писалась в Михайловском в 1826 г., окончена 10 августа 1826 г.

Седьмая глава написана в 1827—1828 гг.; начата в Москве 18 марта 1827 г.; весной (в Москве и Петербурге) Пушкин написал строфы, посвящённые описанию Москвы; после долгого перерыва Пушкин возобновил работу в начале 1828 г.: между XII и XIII строфами помета 19 февраля [1828 г.]; окончена седьмая глава 4 ноября 1828 г. 19 декабря 1827 г. Пушкин написал посвящение Плетнёву. К седьмой главе относится «Альбом Онегина» — помета 5 августа [1828 г.].

Восьмая глава — впоследствии исключённая и напечатанная под заглавием «Отрывки из путешествия Онегина» — начата 24 декабря 1829 г., но ещё раньше (не позже 1827 г.)

Пушкин написал строфы, посвящённые Одессе. К 30 октября было готово начало главы до строфы «Он видит Терек своенравный»; последняя строфа («И берег Сороти отлогий») датирована 18 сентября 1830 г.

Девятая глава, потом занявшая место восьмой, задумана в 1829 г., кончена 25 сентября 1830 г. (в Болдине); летом (в июле — начале августа) 1831 г. поэт вставил в восьмую (печатную) главу несколько строф из путешествия Онегина, написал новые строфы (например, XIII), заменил старые (например, первые 4), переработал картину петербургского света (XXIV—XXVI строфы) и 5 октября 1831 г. вставил «Письмо Онегина к Татьяне». 21 ноября 1830 г. написано предисловие к «Евгению Онегину», которое Пушкин хотел предпослать задуманному изданию восьмой и девятой глав вместе.

Десятая глава. Сохранилась запись Пушкина: «19 октября [1830 г.] сожж. X песнь». В дневнике П. Вяземского от 19 декабря 1830 г.: «Он [Пушкин] много написал в деревне; привёл в порядок VIII и IX главу Онегина, ею и кончает; из X, предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе и следующих — славная хроника!»

Возвращение к «Евгению Онегину». К осени 1833 г. относятся наброски, в которых Пушкин говорит о желании продолжать свой роман. 15 сентября 1935 г. он написал две вступительных строфы к задуманному продолжению романа.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» В ПЕЧАТИ

1825 г. Глава первая. Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина.

В типографии департамента народного образования. 1825—12°. XXII + 2 нен. + 60 стр. Цена 5 рубл. (Вышла 15 февраля.)

V стр. Посвящено брату Льву Сергеевичу Пушкину.

VII—VIII стр. Предисловие:

«Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено.

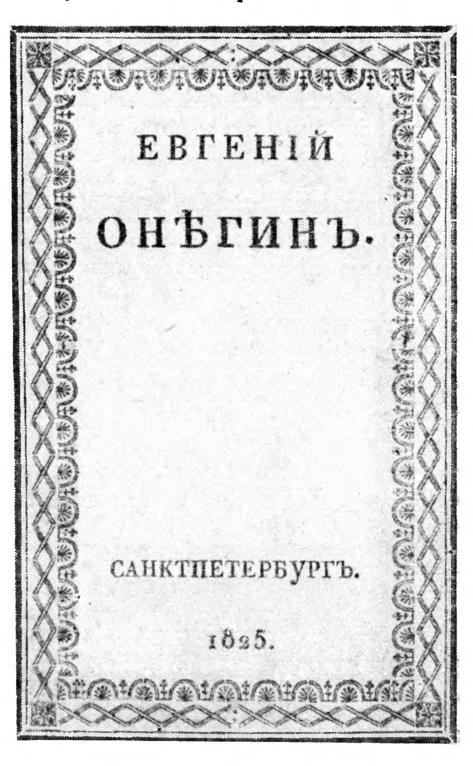
Несколько песен, или глав Евгения Онегина уже готовы. Писанные под влиянием благоприятных обстоятельств, они носят на себе отпечаток весёлости, ознаменовавшей первые произведения автора Руслана и Людмилы.

Первая глава представляет нечто целое. Она заключает в себе описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года и напоминает Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона.

Дальновидные критики заметят, конечно, недостаток плана. Всякий волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного. Станут осуждать и антипоэтический характер глав-

ного лица, сбивающегося на Кавказского Пленника, также некоторые строфы, писанные в утомительном роде новейших элегий, *«в коих чувство уныния поглотило все прочие»*. Но да будет нам позволено обратить внимание читателей на достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов».

Первоначальный текст был значительно полнее напечатанного Пушкиным. Начало приблизительно то же, но конец иной. После слов: «чувство уныния поглотило все прочие» — следует: «Звание издателя не позволяет нам ни хвалить, ни осуждать сего нового произведения. Мнения наши могут показаться пристрастными. Но да будет нам позволено обратить внимание почтеннейшей публики и гг. журналистов на достоинство, ещё новое в сатирическом писателе: наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов. Ювенал, Петроний, Вольтер и Байрон далеко не сохранили должного уважения к читателям и к прекрасному полу. Говорят, что наши дамы начинают читать по-русски. Смело предлагаем им произведение, где найдут они под лёгким покрывалом сатирической весёлости наблюдения верные и занимательные.



Титульный лист первого издания I главы «Евгения Онегина», 1825 г.

Другое достоинство, почти столь же важное, приносящее немалую честь сердечному незлобию нашего автора, есть совершенное отсутствие оскорбительной личности. Ибо не должно сие приписать единственно отеческой бдительности нашей цензуры, блюстительницы нравов государственного спокойствия, сколь и заботливо охраняющей граждан от нападения простодушной клеветы насмешливого легкомыслия».

IX стр. Разговор книгопродавца с поэтом (стр. XI—XXII, текст).

1—49 стр. «Евгений Онегин».

51—59 стр. Примечания к «Евгению Онегину».

1826 г. Глава вторая (вышла в Москве около 20 октября).

1827 г. Глава третья (вышла в Петербурге 10—11 октября).

1828 г. Главы четвёртая и пятая. С посвящением Петру Александровичу Плетнёву (вышли вместе в Петербурге 31 янв. — 1—2 февраля).

1828 г. Глава шестая (вышла в Петербурге 22—23 марта).

1830 г. Глава седьмая (вышла в Петербурге 18—19 марта).

1832 г. Глава восьмая (вышла в Петербурге в январе).

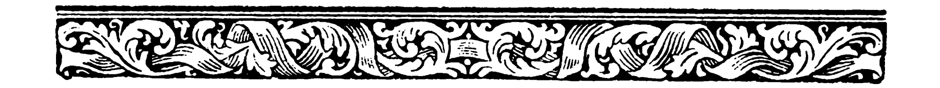
С предисловием:

«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признаётся, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифрой; но, во избежание соблазна, решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою Евгения Онегина, и пожертвовать одною из окончательных строф:

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал —
Хвала вам, девяти Каменам, и проч.

П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение, может быть, и выгодное для читателей, вредит, однакож, плану целого сочинения; ибо через то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъяснённым. — Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного, но решился выпустить эту главу по причинам важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны; мы здесь их помещаем, присовокупив к ним ещё несколько строф».

1833 г. Около 23 марта вышло из печати первое полное издание романа с «Примечаниями к Евгению Онегину» (примечания до этого печатались в отдельных изданиях глав только при первой и седьмой главах). Впервые были присоединены «Отрывки из путешествия Онегина».



ПУШКИН ОБ «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ»[1]

4 ноября 1823 г. (Одесса) в письме к П. А. Вяземскому:

Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница! В роде Дон-Жуана. О печати и думать нечего: пишу спустя рукава...[2]

16 ноября 1823 г. в письме к А. А. Дельвигу:

Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь до не́льзя... Бог знает, когда мы и прочитаем её вместе...

1 декабря 1823 г. в письме к А. И. Тургеневу:

Я на досуге пишу новую поэму, Евгений Онегин, где захлёбываюсь желчью. Две песни уже готовы.

В январе 1824 г. в письме к Л. С. Пушкину:

Может быть, я ему [Дельвигу] пришлю отрывки из «Онегина»; это лучшее моё произведение. Не верь Н. Раевскому, который бранит его — он ожидал от меня Романтизма, нашёл Сатиру и Цинизм и порядочно не расчухал.

8 февраля 1824 г. в (черновом) письме к А. А. Бестужеву:

Об моей поэме нечего и думать. — Она писана строфами едва ли не вольнее строф Дон-Жуана. Если когда-нибудь она будет напечатана, то верно не П. Б.[3] и не в Москве.

В начале апреля 1824 г. в письме к П. А. Вяземскому:

Сленин[4] предлагает мне за «Онегина» сколько я хочу... Дело стало за цензурой, а я не шучу, потому что дело идёт о будущей судьбе моей, о независимости — мне необходимой. Чтоб напечатать Онегина я... готов хоть в петлю.

В апреле — первой половине мая 1824 г. в письме к П. А. Вяземскому:

Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пёстрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого Афеизма...

7 июня 1824 г. в письме к П. А. Вяземскому:

С женой отошлю тебе 1-ю песнь Онегина. — Авось с переменой министерства [5] она и напечатается.

13 июня 1824 г. в письме к Л. С. Пушкину:

Попытаюсь толкнуться ко вратам цензуры с первой главой или песнью «Онегина». Авось пролезем. Ты требуешь от меня подробностей об «Онегине» — скучно, душа моя. В другой раз когда-нибудь...

29 июня 1824 г. в письме к А. А. Бестужеву:

«Онегин» мой растёт. Да чорт его напечатает. Я думал, что цензура ваша поумнела при Шишкове, — а вижу, что при старом по-старому.

14 июля 1824 г. в письме к А. И. Тургеневу:

Зная старую вашу привязанность к шалостям окаянной музы, я было хотел прислать вам несколько строф моего «Онегина», да лень. Не знаю, пустят ли этого бедного «Онегина» в небесное царствие печати; на всякий случай попробую.

В сентябре — октябре 1824 г. в письме к П. А. Плетнёву:

Беспечно и радостно полагаюсь на тебя в отношении моего «Онегина». Созови мой ареопаг: то-есть Жуковского, Гнедича и Дельвига. От вас ожидаю суда и с покорностью приму его решение. Жалею, что нет Баратынского.

В первой половине октября 1824 г. в письме В. Ф. Вяземской:

Что касается моих соседей, то сперва я давал себе труд только не принимать их; они не надоедают мне; я пользуюсь среди них репутацией Онегина [6], — итак, я пророк во отечестве своём... Я нахожусь в наилучшем, какое только можно себе представить, положении для того, чтобы окончить мой поэтический роман, но скука — холодная муза, и поэма моя совсем не подвигается; вот, однако, строфа, которою я вам обязан; покажите её князю [Петру Вяземскому], скажите ему, чтобы он не судил о всём по этому образчику.

В первой половине ноября 1824 г. в письмах к Л. С. Пушкину:

Что «Онегин»? Перемени стих: звонок раздался — поставь: швейцара мимо он стрелой [7]... Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. Что он за Нехрист? он руской, из переруских руской.

В начале ноября 1824 г. в письмах к Л. С. Пушкину:

Что «Онегин»?.. Брат, вот тебе картинка для «Онегина» — найди искусный и быстрый карандаш. Если и будет другая, так

чтоб всё в том же местоположении. Та же сцена, слышишь ли? Это мне нужно непременно.

[На обороте листка начерчены карандашом: крепость, лодка на Неве, набережная и, опершись на неё, двое мужчин в широкополых шляпах. Над каждым предметом цифры, а внизу написано: «1. Хорош. 2. Должен быть опершися на гранит. 3. Лодка. 4. Крепость Петропавловская». Картинка была перерисована А. Нотбеком для гравюры Е. Гейтмана, которая и приложена к «Невскому Альманаху» на 1829 г. вместе с другими 5 картинками из «Онегина». Положение Онегина на картинке согласно стихам 2 и 3 XLVIII строфы главы I «Евгения Онегина»:

С душою, полной сожалений
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений.]

В половине ноября 1824 г. в письме к Л. С. Пушкину:

Печатай, печатай «Онегина» и с «Разговором»... Будет ли картинка у «Онегина»?

[П. Вяземский Пушкину 6 ноября 1824 г.:

...Твоё любовное письмо Тани: *Я к вам пишу — чего же боле?* — прелесть и мастерство. Не нахожу только истины в следующих стихах:

Но, говорят, вы *нелюдим,*
В глуши, в деревне всё вам скучно,
А мы ничем здесь не *блестим!*

Нелюдиму-то и должно быть нескучно, что они в глуши и ничем не блестят. Тут противумыслие! — Сделай милость, пришли скорее своих Цыган и дай мне их напечатать особенно! Давай мне всё печатать... Вообще в Москве печатать лучше, вернее, дешевле. Петербургская литература так огадилась, так исшельмовалась, что стыдно иметь с нею дело. Журналисты друг на друга доносят, хлопочут только о грошах... И тебе не худо хлопотать о грошах, или денежках на чёрный день; но это дело другое! Собери все свои элегии и пришли мне их; можно их отдельно напечатать. Потом три поэмы. Там отрывки из Онегина; а уж под конец полное собрание. Вот тебе и славная оброчная деревня! А меня наряди своим Бурмистром. Тебе времени теперь много: есть досуг собрать, переписать. Да и я без дела и без охоты делать. А твоё занятие будет для меня: дела не делай, а от дела не бегай. Сделай милость для меня и для себя, займись моим предложением.]

29 ноября 1824 г. в письме к П. А. Вяземскому:

Брат увёз Онегина в П. Б. и там его напечатает. Не сердись, милый; чувствую, что в тебе теряю вернейшего попечителя; но в нынешние обстоятельства всякой другой мой издатель

невольно привлечёт на себя внимание и неудовольствия. — Дивлюсь, как Письмо Тани очутилось у тебя. NB. Истолкуй это мне. Отвечаю на твою критику. Нелюдим[8] не есть мизантроп, т. е. ненавидящий людей, а убегающий от людей. Онегин — нелюдим для деревенских соседей; Таня полагает причиной тому то, что в глуши, в деревне всё ему скучно, и что блеск один может привлечь его. Если, впрочем, смысл и не совсем точен, то тем более истины в письме. Письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюблённой!

В начале декабря 1824 г. в письме к Д. М. Княжевичу:

...Вот уже четыре месяца, как нахожусь я в глухой деревне, — скучно, да нечего делать. Здесь нет ни моря, ни голубого неба полудня, ни Итальянской оперы, ни вас, друзья мои. Но за то нет ни саранчи, ни милордов Уор[9]. Уединение моё совершенно, праздность торжественна. Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко (совершенный Онегин); целый день верхом, вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны: вы, кажется, раз её видели; она — единственная моя подруга, и с нею (одною) только мне не скучно...

[В. А. Жуковский Пушкину в середине ноября 1824 г.:

...Читал Онегина и разговор, служащий ему предисловием: несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. И какое место, если с высокостью Гения соединишь и высокость цели. Милый брат по Аполлону! это тебе возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни.]

4 декабря 1824 г. Л. С. и О. С. Пушкиным:

Что Козлов слепой? ты читал ему Онегина?

В декабре 1824 г. в письме к Л. С. Пушкину:

Христом богом прошу скорее вытащить «Онегина» из-под цензуры... Деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи — режь, рви, кромсай хоть все 54 строфы, но денег, ради бога, денег!

[Хлопоты по изданию первой главы «Евгения Онегина» взял на себя П. А. Плетнёв. Так, он писал:

22 января 1825 г.:

«Как быть, милый Пушкин! Твоё письмо пришло поздно. Первый лист Онегина весь уже отпечатан, числом 2400 экзем. Следственно поправок сделать нельзя. Не оставить ли их до второго издания? В этом скоро будет настоять нужда... Все жаждут. Онегин твой будет карманным зеркалом петербургской молодёжи. Какая прелесть! Латынь мила до уморы. Ножки вос-

хитительны. Ночь на Неве с ума нейдёт у меня. Если ты в этой главе без всякого почти действия так летишь и скачешь, то я не умею вообразить, что выйдет после... Если хочешь денег, то распоряжайся скорее. Когда выйдет Онегин, я надеюсь скопить для будущих изданий значительную сумму, не отнимая у твоих прихотей необходимого.

7 февраля 1825 г.:

Ты из прежнего письма моего знаешь, что поправок сделать в «Онегине» и «Разговоре» нельзя (если не захочешь бросить понапрасну 2400 листов веленевой бумаги и оттянуть выход книги ещё на месяц по проклятой медленности наших типографий). Теперь ещё требуешь поправки, когда уже всё напечатано. Сделай милость, оставь до второго издания.

Предвижу ваше возраженье:
Но тут не вижу я стыда...

И в самом деле: твоя щекотливость почти не у места. Что знаешь ты, да кто другой, того мы не поймём. Всякий подумает, будто нельзя и поэм писать как только о себе самом[10].

3 марта 1825 г.:

Нынешнее письмо будет рапортом, душа моя, об Онегине... Напечатано 2400 экз. Условие заключал я со Слениным, чтобы он сам продавал и от себя отдавал, кому хочет, на комиссию, а я, кроме него, ни с кем счётов иметь не буду. За это он берёт по 10 проц., т. е. нам платит за книжку 4 р. 50 к., продавая сам по 5 руб. За все экземпляры, которых у него не будет в лавке, он платит деньги сполна к каждому 1 числу месяца для отсылки к тебе, или как ты мне скажешь. 1 марта, т. е. через две недели по поступлении Онегина в печать, я уже не нашёл у него в лавке 700 экз., следовательно, он продал, за вычетом процентов своих, на 3150 р. Из этой суммы я отдал: 1) за бумагу (белую и обёртошную) 397 р., 2) за набор и печатание 220 р., 3) за переплёт 123 р., за пересылку экземпляров тебе, Дельвигу, отцу и дяде (твоим) 5 р. Итого 745 руб.]

25 января 1825 г. в письме к К. Ф. Рылееву:

Бестужев пишет мне много об Онегине. Скажи ему, что он неправ. Ужели хочет он изгнать всё лёгкое и весёлое из области поэзии? Куда же денутся сатиры и комедии? Следственно должно будет уничтожить и Orlando furioso[11], и Гудибраза[12], и Pucelle[13] и Вер-Вера[14] и Рейнеке-Фуко[15] и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена[16], и басни Крылова, и проч. и проч. Это немного строго. Картина светской жизни также входит в область поэзии. Но довольно об Онегине.

[К. Ф. Рылеев Пушкину 12 февраля 1825:

...Разделяю твоё мнение, что картины светской жизни входят в область поэзии. Да если б и не входили, ты с своим чертовским дарованием втолкнул бы их насильно туда. Когда Бестужев писал к тебе последнее письмо, я ещё не читал вполне первой песни Онегина. Теперь я слышал всю: она прекрасна; ты схватил всё, что только подобный предмет представляет...]

25 января 1825 г. в письме к П. А. Вяземскому:

Онегин печатается, брат и Плетнёв смотрят за изданием; не ожидал я, чтобы он протёрся сквозь цензуру. Честь и слава Шишкову!..

19 февраля 1825 г. в письме к П. А. Вяземскому:

Онегин напечатан; думаю, уже выступил в свет...

23 февраля 1825 г. в письме к Н. И. Гнедичу:

Кажется, вам обязан Онегин покровительством Шишкова и счастливым избавлением от Бирукова[17]. Вижу, что дружба наша не изменилась, и это меня утешает.

В конце февраля 1825 г. в письме к Л. С. Пушкину:

Читал объявление об «Онегине» в «Пчеле»[18]; жду шума. Если издание раскупится, то приступи тотчас же к изданию другому, или условься с каким-нибудь книгопродавцем. — Отпиши о впечатлении, им произведённом. Покамест я почтенному Фаддею Венедиктовичу [Булгарину] послал два отрывка из «Онегина», которых нет ни у Дельвига, ни у Бестужева: не было и не будет... а кто виноват? Всё друзья, всё треклятые друзья.

[А. А. Дельвиг Пушкину 20 марта 1825 г.:

...Онегин твой у меня, читаю его и перечитываю и горю нетерпением читать продолжение его, которое, должно быть, судя по первой главе, любопытнее и любопытнее...]

24 марта 1825 г. в письме к А. Бестужеву:

Твоё письмо очень умно, но всё-таки ты неправ; всё-таки ты смотришь на Онегина не с той точки; всё-таки он лучшее произведение моё. Ты сравниваешь первую главу с Дон-Жуаном. Никто более меня не уважает Дон-Жуана (первые 5 песен, других не читал), но в нём ничего нет общего с Онегиным. Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь её с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня сатира? О ней и помина нет в Евгении Онегине. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры. — Самое слово сатирический не должно бы находиться в предисловии. Дождись других песен.

Ах! Если б заманить тебя в Михайловское! .. Ты увидишь, что если уж и сравнивать Онегина с Дон-Жуаном, то разве в одном отношении: кто милее и прелестнее (gracieuse) — Татьяна или Юлия? 1-я песнь — просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мною случается). Сим заключаю полемику нашу...

[К. Ф. Рылеев Пушкину 25 марта:

Что Дельвиг? По слухам он должен быть у тебя... С нетерпением жду его, чтоб выслушать его мнение об остальных песнях твоего Онегина].

В начале апреля 1825 г. в письме к Л. С. Пушкину:

А Хмельницкой [19] моя старинная любовница — я к нему имею такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в 1-ю песнь Онегина (да кой чорт! говорят, он сердится, если об нём упоминают, как о драматическом писателе).

Середина апреля 1825 г. в письме к П. А. Вяземскому:

Я переписываю для тебя Онегина. Желаю, чтоб он помог тебе улыбнуться. В первый раз улыбка читателя me sourit; извини эту плоскость: в крови! .. [20] А между тем будь мне благодарен: отроду ни для кого ничего не переписывал, даже для Голицыной [21].

22 апреля 1825 г. в письме к Л. С. Пушкину:

Толстой [22] явится у меня во всём блеске в 4-й песне Онегина, если его пасквиль этого стоит, и посему попроси его эпиграмму [23] и пр. от Вяземского (непременно). Ты, голубчик, не находишь толку в моей луне [24] — что же делать? а напечатай уже так.

В конце апреля 1825 г. в письме к П. А. Вяземскому:

Дельвиг у меня. Чрез него посылаю тебе 2 главу Онегина (тебе единственно и только для тебя переписанного). За разговор с няней, без письма, брат получил 600 руб. Ты видишь, что это деньги, следственно должно держать их под ключом.

В конце мая 1825 г. в письме к А. А. Бестужеву:

Всё, что ты говоришь [25] о нашем воспитании, о чужестранных и междоусобных (прелесть!) подражаниях — прекрасно выражено и с красноречием сердечным; вообще мысли в тебе кипят. Об Онегине ты не высказал всего, что имел на сердце: чувствую, почему, и благодарю; но зачем же ясно не обнаружить своего мнения? Покамест мы будем руководствоваться личными нашими отношениями, критики у нас не будет, а ты достоин её создать.

[П. А. Катенин Пушкину 9 мая 1825 г.:

...на прошедшей почте князь Николай Сергеевич Голицын прислал мне из Москвы в подарок твоего «Онегина». Весьма нечаянно нашёл я в нём моё имя [26], и это доказательство, что ты меня помнишь и хорошо ко мне расположен, заставило меня почти устыдиться, что я по сие время не попёкся тебя проведать... С отменным удовольствием проглотил г-на Евгения (как по отчеству?) Онегина. Кроме прелестных стихов, я нашёл тут тебя самого, твой разговор, твою весёлость и вспомнил наши казармы в Мильонной. Хотелось бы мне потребовать от тебя в самом деле исполнения обещания шуточного: написать поэму, песен в двадцать пять; да не знаю, каково теперь твоё расположение; любимые занятия наши иногда становятся противными. Впрочем, кажется, в словесности тебе неудовольствий нет, и твой путь на Парнас устлан цветами...]

В начале июня 1825 г. в письме к А. А. Дельвигу:

...Что мой Онегин? Продаётся ли? Кстати скажи Плетнёву, чтоб он Льву давал из моих денег на орехи, а не на комиссии мои... Что делает Жуковский? Передай мне его мнение о 2-й главе Онегина...

[К. Ф. Рылеев Пушкину 12 мая 1825 г.:

...Слышал от Дельвига и о следующих песнях Онегина, но по изустным рассказам судить не могу... Если б ты знал, как я люблю, как я ценю твоё дарование. Прощай, чудотворец...]

[И. И. Козлов Пушкину 31 мая 1825 г.:

...J'ai lu le 2-d chant de Евгений Онегин; c'est un charme!..

(Я прочёл 2-ю песнь Евгения Онегина; прелесть!)]

[П. А. Вяземский Пушкину 7 июня 1825 г.:

...Я получил вторую часть Онегина и ещё кое-какие безделки. Онегиным я очень доволен, т. е. многим в нём; но в этой главе менее блеска чем в первой и потому не желал бы видеть её напечатанною особняком, а разве с двумя, тремя, или по крайней мере ещё одною главою. В целом или в связи со следующим она сохранит в целости своё достоинство, но боюсь, чтобы она не выдержала сравнения с первою, в глазах света, который не только равного, но лучшего требует...]

В июне 1825 г. в письме к П. А. Вяземскому:

Думаю, что ты уже получил ответ мой на предложения Телеграфа [27]. Если ему нужны стихи мои, то пошли ему, что тебе попадётся (кроме Онегина...),

[Плетнёв 5 августа 1825 г. продолжал свой отчёт по продаже первой главы «Евгения Онегина»: «Вновь же Онегина продано (кроме тех, о которых я уже тебя уведомлял, т. е. к 1-му марта 700 экз., да к 28 марта 245 экз.) 161 экз., т. е. на 724 руб. 50 к. ... Я повторяю: напечатано 2 400 экз.; за деньги из них прод.: 1106 экз., а без денег вышло для разных лиц 44 экз. Следовательно, продать осталось ещё 1250 экз. И их-то я решился для скорейшей продажи уступать книгопродавцам по 20 процентов, т. е. чтобы тебе с них за экземпляр брать по 4 руб., а не по 4 р. 50 к., как было прежде. Доволен ли ты моими распоряжениями?»... В письме 29 августа: «Об Онегине заговаривал было я с книгопродавцами, чтобы они взяли остальные экземпляры с уступкой им за всё издание 1000 руб. Никак не соглашаются. Они думают, что эта книга уже остановилась, а забывают, как её расхватят, когда ты напечатаешь ещё песнь или две. Мы им тогда посмеёмся дуракам. Признаюсь, я рад этому. Полно их тешить нам своими деньгами. Милый, прими совет мой!»...]

Около 12 сентября 1825 г. в письме к П. А. Катенину:

4 песни Онегина у меня готовы и ещё множество отрывков; но мне не до них. Радуюсь, что 1-я песнь тебе по нраву — я сам её люблю...

[Плетнёв снова просит Пушкина об издании следующих глав «Евгения Онегина» — в письме 21 января 1826 г.: «Умоляю тебя, напечатай одну или две вдруг главы Онегина. Отбоя нет: все жадничают его. Хуже будет, как простынет жар. Уж я и то боюсь: стращают меня, что в городе есть списки 2-й главы». В письме 6 февраля: «Сделай милость, выпусти Онегина. Ужели не допрошусь я?»]

3 марта 1826 г. в письме к П. А. Плетнёву:

...Пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское... А ты хорош! пишешь мне: переписывай, да нанимай писцов опочеcких[28], да издавай Онегина. Мне не до Онегина. Чорт возьми Онегина! Я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите!

[П. А. Катенин Пушкину 14 марта 1826:

...Наконец достал я и прочёл вторую песнь «Онегина» и вообще весьма доволен ею; деревенский быт в ней так же хорошо выведен как городской — в первой. Ленский нарисован хорошо, а Татьяна много обещает. Замечу тебе однако (ибо ты меня посвятил в критики), что по сие время действие ещё не началось; разнообразие картин и прелесть стихотворения, при первом чтении, скрадывают этот недостаток, но размышление обнаруживает его; впрочем его уже теперь исправить нельзя, а остаётся

тебе другое дело: вознаградить за него вполне в следующих песнях. Буде ты не напечатаешь второй до выхода альманаха, её подари; а буде издашь прежде, просим продолжения: вещь премилая. . .]

[П. А. Катенин Пушкину 11 мая 1826 г.:

. . . Что делает мой приятель Онегин? Послал бы я ему поклон с почтением, но он на всё это плевать хотел: жаль, а впрочем малой не дурак. . .]

27 мая 1826 г. в письме к П. А. Вяземскому:

. . . Моё глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь. . .

1 декабря 1826 г. в письме к П. А. Вяземскому:

В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. Во Пскове, вместо того чтобы писать VII главу Онегина, я проигрываю в штос четвёртую: не забавно.

[Плетнёв от 18 января 1827 г. сообщил Пушкину:

«Из поступивших в действительную продажу 2356 экз. 1-й главы Е. Онегина остаётся в лавке Сленина только 750 экз., т. е. на 3000 руб., а прочие 1606 экз. уже проданы и за них получены деньги сполна 6977 руб.]

В конце января 1827 г. в письме к В. И. Туманскому:

. . .Пришли в Одессу мой отрывок [29].

31 июля 1827 г. в письме к А. А. Дельвигу:

Теперь у тебя отрывок из Онегина.

В августе 1827 г. в письме к М. П. Погодину:

Что наш «Вестник»? Посылаю вам лоскуток Онегина ему на шапку [30].

[Плетнёв сообщил Пушкину в Москву 27 августа 1827 г. о полученных им на имя Пушкина отношениях Бенкендорфа. В первом находилось: «Представленные вами новые стихотворения ваши государь император изволил прочесть с особенным вниманием. Возвращая вам оные, я имею обязанность изъяснить следующее заключение: 1) Ангел к напечатанию дозволяется; 2) Стансы, а равно 3) и третия глава Евгения Онегина тоже». . . Далее Плетнёв писал: «Я уже приступил к печатанию Онегина. Напиши, почём его публиковать? Следующую главу вышли мне без малейшего замедления. . . Хоть раз потешим публику оправданием своих предуведомлений. Этим заохотим покупщиков».

22 сентября Плетнёв писал Пушкину снова: «Ничто так легко не даёт денег, как Онегин, выходивший по частям, но

регулярно через 2 или 3 месяца. Это уже доказано a posteriori. Он, по милости божией, весь написан. Только перебелить, да пустить. А тут-то у тебя и хандра. Ты отвечаешь публике в припадке каприза: вот вам Цыганы; покупайте их! А публика, на зло тебе, не хочет их покупать и ждёт Онегина, да Онегина. Теперь посмотрим, кто из вас кого переспорит. Деньги-то ведь у публики: так пристойнее, кажется, чтобы ты ей покорился, по крайней мере, до тех пор пока не набьёшь своих карманов. Короче тебе скажу: твоих Цыганов ни один книгопродавец не берётся купить: всякий отвечает, что у него их — дескать ещё целая полка старых. Нуждаются только во 2-й гл. Онегина, которая засела в Москве, а здесь её все спрашивали. Итак, по получении сего письма, тотчас напиши в Москву, чтобы оттуда выслали все остальные экземпляры Онегина 2-й главы в Петербург на имя Сленина... В последний раз умаливаю тебя переписать 4-ю главу Онегина, а буде разохотишься, и 5-ю, чтобы не с тоненькою тетрадкою идти к цензору... По всему видно, что для разных творений твоих бесприютных и сирых один предназначен судьбою кормилец: Евгений Онегин. Очувствуйся: твоё воображение никогда ещё не создавало, да и не создаст, кажется, творения, которое бы такими простыми средствами двигало такую огромную [массу?] денег, как этот бесцен[ный] [клад?] [золо]тое дно Онегин. Он... не должен выводить [из терп]ения публики своею ветренностью»].

В июне 1827 г. в письме к С. А. Соболевскому:

Напиши мне слово путное, где Онег. II часть? Здесь её требуют. Остановилась даже продажа и других глав. А кто виноват? Ты...

В ноябре 1827 г. в письме к С. А. Соболевскому:

Если бы ты просто написал мне, приехав в Москву, что ты не можешь прислать мне 2-ю главу [31], то я без хлопот её бы перепечатал; но ты всё обещал, обещал — и, благодаря тебе, во всех книжных лавках продажа 1-й и 3-й глав остановилась.

В конце 1827 г. в письме к М. П. Погодину.

Отрывок из Онегина и Стансы пропущенные — на днях пришлю в Москву... [32].

Пушкин к Е. М. Хитрово.

В начале февраля (6-го?) 1828 г. Петербург:

Беру на себя смелость послать Вам только что вышедшие 4 и 5 главы Онегина. От всего сердца желал бы, чтоб они вызвали у Вас улыбку.

Пушкин к Е. М. Хитрово.

10(?) февраля 1828. Петербург:

Я в восторге от того, что Вы покровительствуете моему другу Онегину. Ваше критическое замечание одинаково справедливо и тонко, как и все, что Вы говорите[33]; я поспешил бы прийти, чтоб услышать и другие, если бы ещё немного не хромал и не боялся лестниц.

Пушкин к П. А. Осиповой:

Начало марта 1828. Петербург:

Беру смелость послать Вам 3 последних песни Онегина[34], желал бы, чтобы они заслужили Ваше одобрение. Прилагаю к ним ещё один экземпляр для m-lle Euphrosine[35].

В редакцию «Литературной газеты».

Конец 1829 г. Петербург:

Отрывок из Евг. Онег. Глава VIII. Пришлите мне назад листик этот[36].

Пушкин к Е. М. Хитрово.

Конец января 1832 г. Петербург:

Я очень рад, что Онегин Вам понравился: я дорожу Вашим мнением[37].

[Е. Баратынский Пушкину. В конце февраля — начале марта 1828 г.:

... Вышли у нас ещё две песни Онегина. Каждый о них толкует по своему: одни хвалят, другие бранят и все читают, Я очень люблю обширный план твоего Онегина; но большее число его не понимает. Ищут романической завязки, ищут необыкновенного и разумеется не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех её изменениях проходит перед их глазами, mais que le diable lès emporte et que Dieu les benisse! Я думаю, что у нас в России поэт только в первых незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нём почти свои чувства, почти свои мысли, облечённые в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его всё-таки не проза..]

[П. А. Катенин Пушкину 27 марта 1828 г.:

...Я читал недавно третью часть «Онегина» и «Графа Нулина»: оба прелестны, хотя, без сомнения, «Онегин» выше достоинством.]

В конце марта 1828 г. в письме к С. А. Соболевскому:

Кто этот Атенеический Мудрец, который так хорошо разобрал IV и V главу [38] — Зубарёв [39] или Иван Савельич [40]?

В апреле 1828 г. (получено 5 числа) в письме к И. Е. Великопольскому:

Любезный Иван Ермолаевич, Булгарин показал мне очень милые ваши стансы [41] ко мне в ответ на мою шутку. Он сказал мне, что цензура не пропускает их, как личность, без моего согласия. К сожалению, я не мог согласиться:

Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе —

и ваше примечание — конечно, личность и неприличность. И вся станса недостойна вашего пера. Прочие очень милы. Мне кажется, что вы немножко недовольны. Правда ли? По крайней мере отзывается чем-то горьким ваше последнее стихотворение. Неужели вы захотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в 8-ю гл. Онегина? NB. Я не проигрывал 2-й главы, а её экземплярами заплатил свой долг...

[П. А. Вяземский Пушкину 26 июня 1828 г. из с. Мещерского Саратовской губернии:

В нашем соседстве есть Бекетов... (у него) есть сестра — все главы Онегина знает наизусть... Я у Павлуши (сына) нашёл в тетради: критика на Евгения Онегина, и по началу можно надеяться, что он нашим критикам не уступит. Вот она: И какой тут смысл: заветный вензель О да Е. В другом же месте он просто приводит стих: какие глупые места.]

26 ноября 1828 г. в письме к А. А. Дельвигу из Малинников [42].

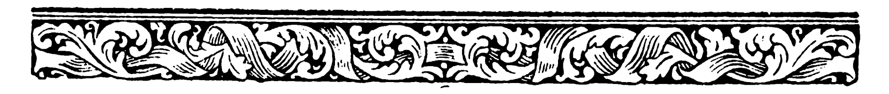
Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина... а я езжу на пароме [43].

В начале мая 1830 г. в письме к П. А. Плетнёву:

Скажи: имел ли влияние на расход Онегина отзыв «Северной Пчелы»?

9 декабря 1830 г. в письме к П. А. Плетнёву из Москвы, по возвращении из Болдина:

Вот что я привёз сюда: две последние главы Онегина, восьмую и девятую [44], совсем готовые к печати...



ГЛАВА ПЕРВАЯ

«И жить торопится и чувствовать спешит».

Эпиграф взят из стихотворения П. А. Вяземского «Первый снег» (1819). В издании первой главы 1825 г. эпиграф отсутствовал. Пушкин заимствовал его из двустишия, в котором Вяземский дал обобщённую характеристику молодости, её жажды жизни:

По жизни так скользит горячность молодая:
И жить торопится и чувствовать спешит!

Таким образом, в свете этих стихов становится очевидным, что эпиграф относится не к индивидуальному портрету Онегина, а характеризует настроение, типичное вообще для молодых людей того времени. В IX строфе, не включённой в окончательный текст романа, автор подчёркивал это:

Мы алчем жизнь узнать заране,
И узнаём её в романе.
[Лета] придут, а между тем
Не насладились мы ничем.
Прелестный опыт упреждая,
Мы только счастию вредим.
Незнанье скроется, а с ним
Уйдёт горячность молодая.

Читатели, знавшие стихотворение Вяземского, дополняли стих эпиграфа печальным раздумьем автора «Первого снега», совпадавшим с собственным взглядом Пушкина на скоротечность ярких чувств:

Напрасно прихотям вверяется различным;
Вновь увлекаема желаньем безграничным,
Пристанища себе она нигде не зрит.
Счастливые лета! Пора тоски сердечной!
Но что я говорю? Единый беглый день,
Как сон обманчивый, как привиденья тень,
Мелькнув, уносишь ты обман бесчеловечный!

И самая любовь, нам изменив, как ты,
Приводит к опыту безжалостным уроком
И, чувства истощив, на сердце одиноком
Нам оставляет след угаснувшей мечты.
Но в памяти души живут души утраты....

Незнакомому с «Первым снегом» эпиграф указывал только одну сторону в жизни Онегина; тот, кто помнил стихотворение Вяземского, связывал конец его с последующими строфами первой же главы, говорившими об остывших чувствах Евгения, у которого «уж нет очарований»...

I

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог:
Его пример другим наука:
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чорт возьмёт тебя!»

Евгений Онегин ироническим применением к дяде стиха из басни Крылова «Осёл и мужик» (1819):

Осёл был самых честных правил

вскрыл своё прямое и трезвое отношение к нему. Пушкин в размышлениях «молодого повесы» о тяжёлой необходимости «денег ради» быть готовым «на вздохи, скуку и обман» (LII строфа) раскрыл подлинный смысл родственных связей, прикрытых лицемерием, показал, во что обратился принцип родства в той реальной действительности, где, по выражению Белинского, «внутренно, по убеждению, никто... не признаёт его, но по привычке, по бессознательности и по лицемерству все его признают».

Содержание этой строфы (а также XX в IV главе) вызвало нарекания на Пушкина, которого признали «безнравственным» за то, что он «охарактеризовал (по словам Белинского) родство этого рода в том виде, как оно существует у многих, как оно

есть в самом деле, следовательно, справедливо и истинно...» Героя романа с первых же строк также признали «безнравственным». «Мы помним, — писал Белинский в 1844 г., — как горячо многие читатели изъявляли своё негодование на то, что Онегин радуется болезни своего дяди и ужасается необходимости корчить из себя опечаленного родственника, —

Вздыхать и думать про себя:
Когда же чорт возьмёт тебя!

Многие и теперь этим крайне недовольны».

Признавая, что Пушкин, давший правдивую картину жизни, «поступил нравственно, первый сказал истину», теперь уже «не новую и не очень глубокую», Белинский берёт под защиту Онегина. Он считает мотивы поведения Евгения и его размышления не заслуживающими обычного в стане ханжей и блюстителей домостроевского быта взгляда на него как на «холодного, сухого и эгоиста по натуре». Напомним эту оценку великого критика, она сразу даёт правильную основу для понимания пушкинского «молодого повесы» как человека «вообще не из числа обыкновенных, дюжинных людей»:

«Обратимся к Онегину. Его дядя был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегиным, который уже —

...равно зевал
Средь модных и старинных зал,

и между почтенным помещиком, который в глуши своей деревни

Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.

Скажут: он его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был законным наследником его имения? Тут благодетель — не дядя, а закон, право наследства. Каково же положение человека, который обязан играть роль огорчённого, сostраждущего и нежного родственника при смертном одре совершенно чужого и постороннего ему человека? Скажут: кто обязывал его играть такую низкую роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности. Если, почему бы то ни было, вам нельзя не принимать к себе человека, которого знакомство для вас и тяжело, и скучно, разве вы не обязаны быть с ним вежливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его к чорту? Что в словах Онегина проглядывает какая-то насмешливая лёгкость, — в этом виден только ум и естественность, потому что отсутствие натянутой тяжёлой торжественности в выражении обыкновенных житейских отношений есть признак ума. У светских людей это даже не всегда ум, а чаще — манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера» [1].

II

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.

См. ещё в строфе XXXVII:

И хоть он был повеса пылкой...

В этом определении нет ничего снижающего образ Онегина, никакой иронии автора над своим «добрым приятелем». Так Пушкин называл и самого себя:

А я, повеса вечно праздный...
(«Юрьеву», 1818)

Досель я был
...друг демона, повеса...
(«Гавриилиада», 1821)

И в то же время он называл себя «другом человечества» («Деревня», 1819), т. е. применял к себе выражение из русского гражданского словаря ещё XVIII в. [2], в известном смысле однозначное знаменитому титулу ami de l'humanité, — который Национальное собрание в революционной буржуазной Франции присуждало идейным врагам феодально-абсолютистского порядка. Кружок передовой дворянской молодёжи «Зелёная лампа», филиал «Союза благоденствия», также состоял из повес, по выражению поэта:

...Но угорел в чаду большого света
И отдохнуть убрался я домой.
И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где верю вслух, где чувствую живее,
И где мы все — прекрасного друзья,
Чем вялые, бездушные собранья,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены...
Где глупостью единой все равны.
(«Послание к кн. Горчакову», 1819)

Онегин назван «молодым повесой» уже после того, как с ним «подружился» автор романа, когда он «отстал от суеты», когда «ему наскучил свет», когда обоих их «томила жизнь», когда «в обоих сердца жар погас».

Эпитетом *сумрачный* наделён *повеса* Онегин в «Путешествии» — штрих, подчёркивающий сложность и своеобразие героя романа, который соединял кипенье молодых сил с охлажденьем к жизни и пресыщенностью.

3 Зак. 214

Летя в пыли на почтовы́х.

См. ещё в LII строфе:

Стремглав по почте поскакал.

Передвижение на казённых лошадях по почтовому тракту было подвержено всем случайностям; см. в «Станционном смотрителе»: «Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут. . .»

Ударение в слове *на почтовы́х* (см. ещё IV строфу VII главы) объясняется исследователем языка Пушкина как отзвук северновеликорусского произношения. Псковская губерния, где иногда проживал поэт, давала ему народный языковый материал, и эти «северные звуки» ласкали его «привычный слух» (см. пропущенные строфы III главы), но эти диалектологические отклонения от общепринятого в то время литературного языка вообще в романе редки [3].



Наследник всех своих родных.

Отец Онегина «долгами жил» и вёл расточительную жизнь, полную праздных развлечений («давал три бала ежегодно»), разоряясь, оплачивал долги «продажей лесов» (вариант к VII строфе) иль «земли отдавал в залог»; к Онегину в гувернёры был приставлен «француз убогий», в то время как, по свидетельству Карамзина, в начале XIX века «французские гувернёры в знатных домах наших выходили уже из моды», — их заменяли женевцы [4]; Евгений ездил на балы «в ямской карете» (т. е. в наёмной), следовательно, не имел собственного выезда; после смерти отца он «наследство предоставил» жадным заимодавцам, «большой потери в том не видя». И тем не менее герой романа оставался «знатным расточителем» [5]; «забав и роскоши дитя» (XXXVI строфа) — он не думал о конце, о материальном крахе.

Онегин принадлежал к дворянскому роду, которому ещё не угрожало разорение. «Наследник всех своих родных», он по законам того времени имел юридические права на собственность, движимую и недвижимую (полностью или в известной доле), всех тех, кому по боковой линии приходился роднёй; а их, вероятно, было немало, и потому «в цвете лучших лет» он располагал возможностью вести образ жизни, требовавший больших денежных средств.

Дядя-старик, одинокий и «скупой богач» (вариант ко II строфе II главы), оставил Евгению значительное наследство — земли, воды, леса, заводы (LIII строфа). На это наследство



Тройка.
С литографии А. Орловского, 1819.

Евгений, очевидно, рассчитывал, когда, «тяжбы ненавидя», отказался от отцовского имущества, на котором долгов было больше, чем стоило оно само; благодаря наследству дяди он мог в течение нескольких лет путешествовать и затем вновь появиться в петербургском большом свете, преследуя Татьяну «везде — на вечере, на бале, в театре, у художниц мод».

Видеть в социальном положении пушкинского героя совпадение с образами ущербного барства, с коллежским регистратором из «Родословной моего героя» [6] — значит стирать различие между отношением Пушкина к судьбам дворянства в 20-х и 30-х годах, не замечать разницы между представителями различных общественных классов. Беспоместный, дворянин лишь по паспорту Езерский и «сельский житель, заводов, вод, лесов, земель хозяин полный» Онегин; бедный, живший жалованием чиновник и неслужащий барин, вращающийся в высшем свете, — они так же классово не похожи друг на друга, как Евгений из «Петербургской повести» («Медный всадник») непохож на Евгения из «романа в стихах».

В 30-х годах Пушкин в чеканной формуле совершенно точно отразил историческую судьбу большинства семейств русского родовитого барства: «Дед был богат, сын нуждается, внук идёт по миру» («Роман в письмах», 1829) [7].

Эта формула в те же годы наполнилась образным, поэтическим материалом (см. «Дубровский», «Капитанская дочка», «Роман в письмах» и др.). Но если сравнить с Онегиным гвардейского офицера Владимира Дубровского, то, несмотря на внешнее сходство в их образе жизни и на хронологическую близость их друг к другу, классовое бытие, социальное самочувствие того и другого выступают в резком различии: Владимир «позволял себе роскошные прихоти; играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя, что ему рано или поздно придётся взять богатую невесту, мечту бедной молодости». «Итак, всё кончено, — сказал он [Владимир] сам себе: — ещё утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился...»; Евгений, «довольный жребием своим», отцовское наследство предоставил заимодавцам, оставаясь и завидным женихом, и состоятельным помещиком.

В те годы, когда Пушкин начал писать роман из барской жизни, Онегин не был ни нуждающимся сыном, ни внуком нищим; он был членом господствовавшего класса, дворянином-землевладельцем и душевладельцем.



Друзья Людмилы и Руслана!

В 1820 г. была напечатана поэма «Руслан и Людмила». Друзья и почитатели Пушкина с того же года стали называть поэта «певцом Руслана» («Поэты» Кюхельбекера, 1820), «чувствительным певцом любви и доброго Руслана» («К Пушкину и Дельвигу» Кюхельбекера) [8]; с той же поэмой связывалась память о поэте и позже: Языков в стих. «Тригорское» — «певец Руслана и Людмилы»; Полежаев в стих. «Венок на гроб Пушкина» — «певец Людмилы и Руслана» и др.

Жуковский подарил юному Пушкину свой портрет с такой характерной надписью: «Победителю-ученику от побеждённого учителя в тот высокоторжественный день, когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820 марта 26».

Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы...

В романе разбросаны хронологические указания, которые дают возможность точно определить главные моменты в жизни Евгения. Онегин родился около 1796 г., «лет шестнадцати окон-

чил курс своих наук» — это было в 1812 г., через 8 лет он бросил свет и летом 1820 г. поселился в деревне. С 1820 г. по весну 1825 г. тянется действие романа.

Роман Пушкина — история молодого человека 20-х годов, картины русской жизни определённого исторического периода. Но роман был окончен в начале 30-х годов, и потому поэтическое освещение этой исторической поры — в последних главах особенно — было продиктовано поэту уже новым периодом русской общественной жизни, наступившим после 1825 г.



Но вреден север для меня.

Пушкин в мае 1820 г. был выслан из Петербурга за свои антиправительственные политические стихотворения.

Примечанием к этому стиху — горькой иронии над своей судьбой — поэт указывал одно из мест своей ссылки: «Писано в Бессарабии». Вначале молодому поэту угрожала ссылка в Сибирь или заточенье в Соловецком монастыре.

«Пушкина надобно сослать в Сибирь, — сказал Александр I Энгельгардту, директору лицея, — он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодёжь наизусть их читает». Благодаря хлопотам Жуковского и Карамзина мера наказания была смягчена.

Пушкин, числившийся чиновником коллегии иностранных дел, официально был переведён в Екатеринослав (теперь Днепропетровск) и выехал 6 мая из столицы на юг курьером с бумагами министерства, получив тысячу рублей ассигнациями «на курьерские отправления».

Не раз в романе в иносказательной форме поэт говорил о себе как о жертве «самовластья»:

Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей...

Ср. в письме к Гнедичу из Михайловского — нового места ссылки Пушкина — 23 февраля 1825 г.: «Сижу у моря, жду перемены погоды»; в письме к Жуковскому из Тригорского 6 октября того же года: «Милый мой, посидим у моря, подождём погоды». Мечтая вырваться из ссылки, он говорит о своём желании покинуть царскую Россию:

Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии...

(L строфа)

III

Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.

Социальная биография отца Онегина (ср. ещё VII строфу) вскрывает экономическое оскудение части поместного служилого дворянства.

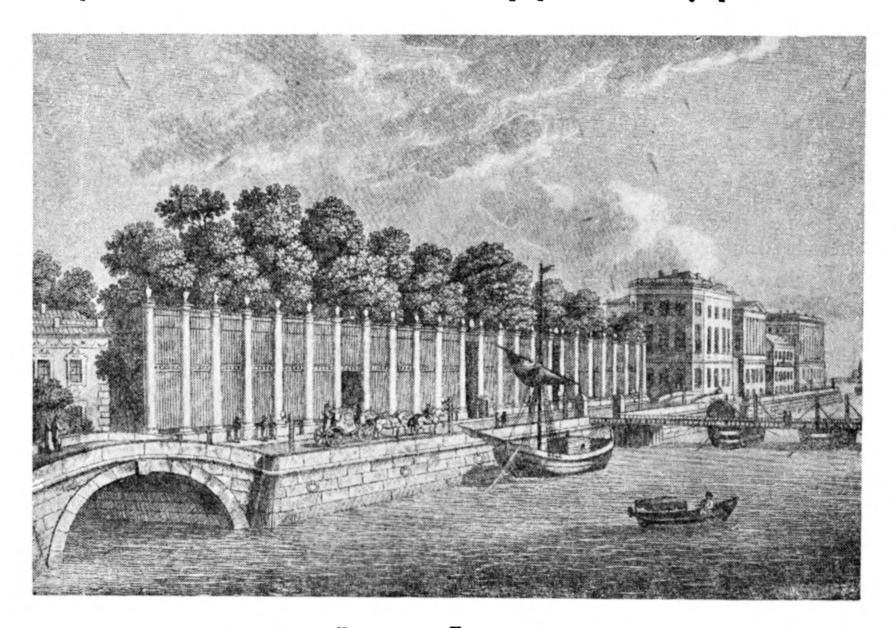
Отсутствие денег и рост залога помещичьих земель — типичное явление в 20-х годах XIX в., на что постоянно указывали современники Пушкина. 5 мая 1824 г. А. Я. Булгаков писал из Москвы брату: «Одна песня у всех: нет денег и взять негде» [9]. Декабрист А. А. Бестужев из крепости писал Николаю I: «Наибольшая часть лучшего дворянства, служа в военной службе или в столицах, требующих роскоши, доверяет хозяйство наёмникам, которые обирают крестьян, обманывают господ, и таким образом $^{9}/_{10}$ имений в России расстроено и в закладе». П. Г. Каховский о том же писал из Петропавловской крепости Николаю I: «Сколько дворянских имений заложено в казне, верно, более половины всех их» [10].



Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur её сменил.

Madame и Monsieur — воспитатели Онегина — обычное явление в дворянских семьях XVIII—XIX вв. Беллетристы и драматурги до Пушкина, его современники, и позднейшие писатели всегда в главах о воспитании в дворянских гнёздах посвящали страницы иностранцам-гувернёрам [11]. В отрывке пушкинского романа «Русский Пелам» (1835) читаем: «Отец, конечно, меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернёр оказался пьяницей; второй, человек неглупый и не без сведений, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; третий, проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме только тогда догадались о том, когда пришёл он жаловаться Анне Петровне на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со всего дому не давать ему покою, и что сверх того чертёнок повадился вить гнёзда в его колпаке. Прочие французы не могли ужиться с Анной Петровной, которая не давала им вина за обедом, лошадей по воскре-

сеньям. Сверх того, им платили очень неисправно». Учителем отца Пелымова (от лица которого даны «записки» в указанном романе) был «m-r Дерори, простой и добрый старичок, очень хорошо знавший французскую орфографию». Ср. образ мосьё Бопре в «Капитанской дочке», Дефоржа в «Дубровском» и



Решётка Летнего сада.
Рисунок П. Свиньина, грав. Галактионова, 1816.

мосьё Трике, из Тамбова перекочевавшего к Харликовым (глава V).

Monsieur l'Abbé — указание на то, что воспитателем Евгения было лицо духовного звания, один из тех иезуитов-аббатов, которые массой хлынули в дворянскую Россию после французской революции 1789—1793 гг. В «Лицейских записках» Пушкин вспоминает: «Меня везут в Петербург. Иезуиты... Лицей». О степени распространённости этого рода воспитателей в дворянских семьях свидетельствует Д. П. Горчаков в сатирическом послании С. Н. Долгорукому (рукопись 1807—1810 гг.): «Там Вральман... а здесь учит Аббе...»

Типичность картинки первоначального воспитания Евгения подтверждается Ф. Ф. Вигелем, который, рассказывая о воспитании князей Голицыных под руководством шевалье де-Ролен де-Бельвиля, писал: «Развитие их умственных способностей

оставлено было на произвол судьбы; никаких наставлений они не получали, никаких правил об обязанностях человека им преподаваемо не было. Гувернёр ими очень мало занимался и только изредка, как Онегина, слегка бранил...»[12] П. А. Вяземский, питомец иезуитского коллегиума, вспоминал, что его и товарищей «водили в Летний сад».

IV

Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский, одет;
И наконец увидел свет.

К слову дэнди Пушкин сделал примечание: франт.

Несмотря на французоманию русского дворянства (Евгений «по-французски совершенно мог изъясняться и писал»), реально-экономические интересы землевладельческого класса тянули в первые годы XIX в. к Англии; после победы Священного союза в передовых слоях дворянства интерес к английским политическим учреждениям усилился; поэзия Байрона возбуждающе действовала на либералистов 20-х годов. Одновременно устанавливалась мода на английскую манеру одеваться, на внешние повадки, детали домашнего обихода и пр.



Тип дэнди 20-х годов.

Князь Григорий в комедии Грибоедова — «чудак единственный»...

Век с англичанами, вся английская складка,
И так же он сквозь зубы говорит,
И так же коротко обстрижен для порядка.

Русский франт, усвоивший «всю английскую складку», с обилием характеристических способностей был зарисован Тургеневым в «Дворянском гнезде» в лице Ивана Петровича Лаврецкого, вернувшегося из-за границы в 1820 г.

Тургенев по преданиям, по историческим документам и по наблюдениям над живыми представителями английского дэндизма набросал портрет исключительной яркости и исторической точности. Современник Онегина, Иван Лаврецкий, был «англоманом»: «Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук

со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну — всё в нём так и веяло Великобританией; весь он казался пропитан её духом... Иван Петрович привёз с собою несколько рукописных планов, касавшихся до устройства и улучшения государства; он очень был недоволен всем, что видел, — отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь» («Дворянское гнездо», гл. X).

III — VI

Характер воспитания столичной дворянской молодёжи метко схвачен поэтом, что́ подтверждается свидетельством одного из современников Пушкина, А. А. Бестужева, писавшего в 1825 г.: «Мы учимся припеваючи, и оттого навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли, но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придёт истинный возраст ума и учения, он уже в службе, уж он деловой — и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остаётся гордым учеником, от того что учеником в своё время не был. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом своё отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролётная тень облака. Да и что в прозаическом нашем быту, на безлюдьи сильных характеров, может разбудить душу? Что заставит себя почувствовать? Наша жизнь — бестенная китайская живопись; наш свет — гроб повапленный!» [13]

В статье «О народном воспитании» (1826) Пушкин резко отзывался по этому же вопросу: «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребёнок окружён одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трёх иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах немногим лучше; здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника». (Ср. вариант к III строфе: «И лет шестнадцати мой друг окончил курс своих наук».)

В шутливой форме обличение тогдашней системы домашнего образования и воспитания было выражено в словах:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.

Но эта ставшая классической формула не должна рассматриваться без учёта изменений и индивидуальных различий в общественной среде, порождавшей Онегиных.

Онегин преодолевал недостатки домашнего воспитания, пополняя свои знания, пытаясь идти с веком наравне.

Он не был жертвой «пагубной роскоши полупознаний», его не характеризуют «праздность ума» и «недостаток твёрдых познаний» [14]. Его несчастье заключалось в том, что его развивавшееся сознание упиралось в косное бытие «гнусной расейской действительности» и в то же время, вступая в противоречие с господствовавшим строем понятий, не могло освободиться от «предрассуждений» близкой ему классовой среды.

V

Онегин был, по мненью многих
(Судей решительных и строгих),
Учёный малый, но педант.

Слово п е д а н т имело в 20-х годах признаки, впоследствии выветрившиеся в обиходном языке, и применялось в дворянском кругу к людям, которые отличались своим взглядом на жизнь, своими привычками от обычной толпы «большого света». В. Ф. Одоевский, один из тех немногочисленных представителей культурного дворянства, которые испытывали «досаду», «скуку» и одиночество среди фамусовского общества, получивший за свои «странности» от крёстного отца, князя Львова, прозвище «педант», неоднократно останавливался в своих сочинениях на образе молодого человека, «чудака», «педанта», по мнению «стариков» разных возрастов из «класса людей, кто пешком ходит редко».

В майской книжке (№ 9) «Вестника Европы» 1823 г. в очерке «Дни досад» он дал следующую характеристику своему любимому герою Аристу: «Он, право, добрый малый, но неуменье жить в свете, упорство во мнениях, педантство — погубили его... [Он] говорит, что большой свет (который Арист сравнивает с мексиканским храмом, с верха до низа украшенным безмозглыми головами) мешает его любимой привычке — открывать всё, что у него есть на сердце, словом — педантствовать» (стр. 35—36).

Арист, обращаясь к «людям модного света», с грустью думал: «О люди, люди модного света! вы засмеётесь, когда кто скажет вам..., что и так называемые вами знакомство, приязнь провидение поставило средством к той высокой цели, к которой человек должен стремить и свои мысли, и желания, и малейшие действия — к совершенствованию! — Вы не верите мне; рассуждать боитесь и отвечаете насмешливой улыбкой; называете меня именем — именем страшным, при произнесении которого, как от волшебства, трепещет самая истина, именем, которого, однако, значения не понимаете, одним словом, — *педантом*»[15].

Критикуя современное ему воспитание, оставляющее «почти без внимания *нехлебные* стихии нашей души, без коих многие весьма легко обходятся в жизни, как то: совестливость, откровенность, простосердечие, смирение», В. Ф. Одоевский заявляет, что тех людей, у которых преобладают «нехлебные стихии», в обществе величают именем «педантов». «Горе тому молодому человеку, — восклицает Одоевский, — которого взрослые негодяи не называли педантом; лишь тот, кто юношею был педантом, будет честным человеком в своей будущей жизни (NB. — Подьячие называют педантом, кто не берёт взяток). Отсутствие педантизма в юноше показывает отсутствие характера, порочную холодность души, которая с ранних лет заражена расчётом и убийственным эгоизмом»[16].

Онегин — юноша-педант — принадлежит к тому же типу людей, что и Арист. Не тождественный герою Одоевского, он имеет сходные с ним черты. Пушкин, применив к Онегину прозвание педанта — приговор «судей решительных и строгих», даёт ключ к раскрытию некоторых особенностей характера, мировоззрения Евгения и его положения в обществе.

В комедии Шаховского «Урок кокеткам или Липецкие воды» (1815) один из героев так отзывается о своём двоюродном брате графе Ольгине: «Он всё ругает, остр, куплеты дерзкие и вольнодумный вздор — его единственный учёный разговор», причём оказывается — в светском обществе «дельное зовут педантством бесполезным».

Только поняв педантство Онегина путём сравнения пушкинского героя с Аристом и Ольгиным, можно уяснить, почему Евгений разошёлся по целому ряду пунктов с «благоразумной» толпой, с общепринятыми, традиционными воззрениями, почему Пушкиным были отмечены у Онегина его «мечтам невольная преданность», «роптанье вечное души», критическое отношение к «судьям», прорывавшееся «огнём нежданных эпиграмм» — черты, столь близкие самому поэту и всем тем, кому было не по себе «в мертвящем упоеньи света». Только тогда можно понять, почему этот «философ в осьмна-

дцать лет» «условий света свергнул бремя», в то время как большинство людей его круга продолжало вести «однообразную и пёструю» жизнь «среди досадной пустоты расчётов душ и разговоров».

Педантом назвали его «строгие судьи». Как и Чацкий, Онегин мог бы спросить: «А судьи кто?» Пушкин в том же романе дал этим судьям великолепную оценку: тупые, привязчивые, они же злодеи, и смешные и скучные (XLVII строфа, выпущенная позднее Пушкиным, глава VI). Ту же оценку мы найдём у Грибоедова, в монологах Чацкого, осмеявшего за «непримиримую вражду к свободной жизни» различных «Несторов негодяев знатных», которые бросали по адресу Чацких клички: «карбонари», «опасный человек», «мечтатель». По мнению провинциальных помещиков, Онегин — также «опаснейший чудак» [17].

Так, прозвище педанта в 20-х годах несло с собой не только этическую, но и политическую примесь чего-то непокорного, враждебного господствовавшему кругу в дворянском обществе.

Подобное понимание этого слова было завещано традицией XVIII в. Иванушка в комедии Фонвизина «Бригадир» говорит Советнице: «По моему мнению, кружева и блонды составляют голове наилучшее украшение. Педанты думают, что это вздор и что надобно украшать голову снутри, а не снаружи. Какая пустошь...» (д. I, явл. III). Карамзин в 1802 г., констатируя общественную реакцию после французской революции и радуясь, что «разврат» и революционные мысли заменились какой-то «благопристойностью и уважением к святыне нравов», писал: «Вольтер не мог бы ныне прославиться некоторыми насмешками, Буланже [18] педантством, Ламетри безумием» (Соч., т. IX, М. 1820, стр. 106).

Припомним ещё, что в незаконченном романе «Рославлев» Пушкин отмечал, что в заражённом галломанией дворянском обществе «любовь к отечеству казалась педантством».

В более узком, близком к современному, значении даны в романе слова педант и педантство в главе VI (строфа XXVI: «в дуэлях классик и педант»), главе VIII (строфа XXIII) и в той же I главе (строфа XXV).



Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С учёным видом знатока
Хранить молчанье в важном споре

И возбуждать улыбку дам
Огнём нежданных эпиграмм.

Онегин мог «вести приятный разговор, а иногда и жаркий, мужественный спор» (варианты к V строфе) о тех вопросах, которые его интересовали, волновали, он был в состоянии энергично отстаивать свои мнения, «бранить», т. е. резко отзываться о том, что другие собеседники защищали; но, мастер «язвительного спора» (XLVI строфа), он не участвовал в разговоре там, где слышал суждения, почерпнутые «из забытых газет времён очаковских и покоренья Крыма».

Важный спор — это спор, который вели меж собой «судьи решительные и строгие», рутинёры, защитники косной старины. Пушкин применяет слово важный именно в этом смысле. Говоря в главе IV (строфа VII) о былом разврате хладнокровном, который «наукой славился любовной», поэт указывает:

Но эта *важная* забава
Достойна старых обезьян
Хвалёных дедовских времян:
Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.

Ср. в VIII строфе IV главы:

Стараться *важно* в том уверить,
В чём все уверены давно.

Ср. в IX строфе VIII главы:

Что *важным* людям *важны* вздоры.

Ср. в LIII строфе I главы:

Покойника похоронили,
Попы и гости ели, пили,
И после *важно* разошлись,
Как будто делом занялись.

Ср. в вариантах романа:

Смешон, конечно, *важный модник* —
Систематический Фоблаз.

Грибоедов устами Чацкого также иронически отзывался о «важных людях»:

Есть люди *важные*, слыли за дураков:
Иной по армии, иной плохим поэтом,
Иной... боюсь назвать, но признаны всем светом,
Особенно в последние года,
Что стали умны хоть куда.

(Д. III, явл. I)

В. Ф. Одоевский в «Дневнике студента» (1820—1821) с возмущением писал о своей аристократической родне: «Эти люди и не могут себе вообразить, что что-нибудь за пределами корыстолюбия (всякого — например, почестей, богатства) может производить горесть, и свои презренные, пустые хлопоты величают именем важного или сурьёзного дела! О глупость глупостей!»

Онегин держал себя «в важном споре» так же, как те молодые люди 20-х годов, заражённые либерализмом, «лицейским духом», о которых доносил в 1826 г. Ф. Булгарин: «Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществах».



...Огнём нежданных эпиграмм.

Дар Онегина откликаться на злобу дня эпиграммами, колкими, злыми и мрачными (см. конец XLVI строфы)[19], был характерной особенностью тех же молодых либералистов: «Молодой вертопрах должен порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или самому быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском — знать все дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений»[20].

Необходимо иметь в виду, что жанру эпиграмм нередко придавалось тогда политическое значение. Когда в 1818 г. П. Свиньин посвятил льстивые стихи временщику Аракчееву, кн. П. А. Вяземский тотчас откликнулся эпиграммой на автора и, посылая её из Варшавы А. И. Тургеневу, писал: «Свиньин полоскается в грязи и пишет стихи — и ещё какие, — а вы ни слова, как будто не ваше дело. Да чего же смотрит Сверчок [Пушкин]... при каждом таком бесчинстве должен он крикнуть эпиграмму».



Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале...

Эпиграф — одно слово или изречение, в прозе или стихах, взятое из какого-либо известного писателя, или своё собственное,

которое помещают авторы в начале своих сочинений и тем выражают общую идею произведения или своё отношение к изображаемой действительности.

Сдавленные политической реакцией в период аракчеевщины, представители революционно-дворянской интеллигенции пользовались образами и темами античной литературы как средством для обозначения сходных положений в окружавшей их общественной жизни, как материалом для сравнения с современной практикой государственного и частного быта или для возбуждения «вольнолюбивых мечтаний».

По воспоминанию Якушкина, в 1818 г. он и его товарищи, будущие декабристы, «страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого почти настольными книгами» [21]. Образами Брута, Катона, Катилины, Сеяна и др. поэты сигнализировали о героическом, достойном подражания или о ненавистных представителях политического строя [22].

Ювенал, сатирик императорского Рима (род. в конце I в. и умер в половине II в. н. э.), читался Пушкиным ещё на лицейской скамье; в стихотворении «К Лицинию» (1815 г., переделано в 1825 г.) поэт мечтает «свой дух воспламенить Ювеналом»:

В гремящей сатире порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу [23].

Лицейский друг Пушкина В. Кюхельбекер вспоминал Ювенала в стихотворении «Поэты» (1820), в котором один из литературных доносчиков того времени видел намёк на ссылку Пушкина:

О Дельвиг, Дельвиг, что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых, вдохновенных дел
И сладостного песнопенья!..
И ты, наш юный Корифей,
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана!

Кюхельбекер восклицал в этом послании:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала!

Яркие картины разложения нравов, обеднения патрициев, продажности и наглости разбогатевшей «новой знати», нищеты и рабства; резкие характеристики императоров — Домициана и др., — всё это, видимо, читалось современниками Пушкина

в александровское время как памфлет, полный аналогий с русской действительностью.

Рим — «гордый край разврата, злодеянья», «где всё на откупе: законы, правота, и жёны, и мужья, и честь, и красота», где «под иго преклонились временщику Ветулию» — «любимец деспота сенатом слабым правит, на Рим простёр ярем, отечество бесславит... О срам! о времена!» В 20-х годах Ювенал в пушкинском стихотворении «К Лицинию» звучал живым укором современности, был полон намёков на конкретные явления (Аракчеев и т. п.).

Домициан, властолюбивый и тщеславный, в то же время скрытный и трусливый, названный в IV сатире Ювенала плешивым Нероном, мог сопоставляться с Александром I, с его характером, даже с внешним обликом: «Кочующий деспот» («Сказки», 1818), «дрожавший» в 1812 г., «властитель слабый и лукавый, плешивый щёголь» (X глава «Онегина»), — таков Александр в оценке Пушкина, не раз бравшего «Ювеналов бич» в своей борьбе с «самовластьем».

«Потолковать об Ювенале», таким образом, значило коснуться общественных язв, политического режима, беседовать о «гнёте власти роковой», о «тиране», о «холопах венчанного солдата» и пр.

Разумеется, Онегин мог толковать на подобные темы только в каком-либо кружке идейных друзей. Пушкин даёт право предполагать эту возможность:

Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.

(VII строфа)

Равнодушный к формальным элементам искусства, глухой к спорам о «звуках», Онегин предпочитал беседы на другие темы, он вступал в горячие «мужественные» споры

О Мирабо, об Мармонтеле,
О карбонарах, о Парни,
О Бейроне и Бенжамене,
Об генерале Жомини.

Пушкин изъял из окончательного текста эти стихи, но тот факт, что в вариантах к V строфе Онегин был представлен с подобного рода интересами, — надо считать показательным. Тем более, что перечень этих писателей почти полностью входил в программу чтения либеральных молодых людей 1819—1820 гг.

Мирабо (1749—1791) — крупный деятель французской буржуазной революции. «Первый декабрист» майор В. Ф. Раевский обвинялся, между прочим, в том, что в ланкастерской школе для нижних чинов он пропагандировал идеи «свободы, равенства, конституции», ссылаясь на «Квирогу, Вашингтона,

Мирабо». Пушкин не раз вспоминал автора «Essai sur le despotisme» (1774), ненавистника деспотизма, в 1825 г. называл его «пламенным трибуном, предрекшим перерождение земли», в 1836 г. писал о «колоссальном Мирабо», выдающемся ораторе, которому принадлежало известное изречение перед появлением в национальном собрании изменившего народу Людовика XVI: «молчание народов пусть послужит уроком королям!»

Мармонтель (1723—1799) — французский писатель; был близок к просветителям, переписывался с Вольтером, вращался в политических салонах, где бывали Гольбах и Дидро, д'Аламбер и Гельвеций; пользовался огромной популярностью как автор «Сказок» и романа «Велисарий»; переводы его сочинений в России были многочисленны: роман выходил в нескольких изданиях (начиная с 1768 г.); «Contes morales», посвящённые вопросам семьи, воспитания, разнообразным эпизодам в жизни людей, когда чувство любви врывается в их душевный мир, были переведены Карамзиным (1794) [24].

После его смерти вышли мемуары (1804), где Мармонтель, покинувший Париж, когда события развёртывались под знаком победы якобинцев, в рассказах о своих связях с просветителями иронизировал над былыми соучастниками политических салонов, особенно над Гельвецием. Роман «Велисарий» для Онегина мог быть интересен по аналогиям с русской современностью. Ослеплённый монархом полководец Велисарий, изгнанный по проискам придворных, обличал Тиберия и Юстиниана, выступал против придворной знати, против тирании, рассуждал о принципах верховной власти, о законах, о бедности народа и пр.

В романе находились тирады, созвучные либералистам александровской эпохи: «Тайна, которую скрывают от гордых монархов и которую государь добрый ведать достоин, есть та, что только сила законов имеет в себе власть беспредельную. А кто ищет государствовать самовластно, тот есть невольник. Закон есть согласие всех воль, совокуплённых во едину волю. Итак, могущество оного есть стечение всех сил государства. Вопреки тому воля единого, как скоро она бывает неправедна, увидит противны себе те ж самые силы, которые надобно разделять, вязать, истреблять или противоборствовать. В таком случае тираны прибежище имеют иногда к плутам, народ обманывающим... иногда к подлым меченосцам, кровь отечества своего продающим, которые с обнажёнными в руках мечами, обходя, посекают главы тех, кто выше ига восходит и естественного права отыскивать дерзают. Оттуда восстают междоусобия, в которых брат брату говорит: «умирай или покоряйся тирану, который мне платит за то, что я тебе горло перерезал» и т. д. (русский перевод в изд. 1802 г., стр. 85, 87 и 93).

Политический характер имели беседы о *карбонарах*. Тайная революционная организация так называемых угольщиков (карбонариев), начавшая действовать в Италии с 1817 г., имевшая связи с революционерами Франции, Швейцарии, Польши, была известна в определённых кругах русской молодёжи: подпоручик Измайловского полка Лаппа признался Гангеблову, члену Северного тайного общества, что он в 1817 г. был принят в братство карбонаров его наставником, итальянцем Джильи; какой-то читатель книги Н. И. Тургенева «Теория налогов», очевидно недовольный его либерализмом, написал на полях: «и видно карбонара»[25], кн. Баратов в 1819 г. пытался привлечь в орден карбонаров одного чиновника, показывая инструкции, в которых указывалось, что принятый в организацию клянётся в вечной ненависти к тиранам и их приверженцам и будет пользоваться всеми случаями для их искоренения. Декабрист Беляев в своих записках говорит: «Нашему либерализму содействовали и внешние события, как-то движение карбонариев».

Есть указания, что неаполитанское восстание 1821 г. произвело большое впечатление на либеральную часть петербургского общества: «Большая часть молодёжи в восторге от всего, что происходит, и не скрывает своих мыслей», — писал один из представителей командовавшей верхушки о событиях того времени.

На языке декабриста А. И. Якубовича *недовольный* и *карбонарий* были понятиями равнозначащими. См. в его письме 28 декабря 1825 г. Николаю I: «Недовольных, или карбонариев, в природе человека и порядке вещей нет; правительство их созидает»[26].

По поводу отставки Н. И. Тургенева А. Я. Булгаков писал брату из Москвы 26 мая 1824 г.: «Про него говорят: туда и дорога, мартинист! Пора их всех истребить! Общее мнение столь поражено карбонарами, что все секты относят к ним! По крайней мере сим обнаруживается благонамеренный дух нашей старой столицы»[27].

Имя *Байрона* не случайно стоит рядом с *карбонарами*. Мятежный индивидуалист, вступивший в Италии в орден карбонариев, волновал русскую либеральную молодёжь революционным романтизмом своих сочинений. В одной из переводных статей в «Вестнике Европы» 1818 г. о Байроне писалось как о поэте-философе, показывающем «отрицательное действие деспотизма». С 1815 г. стали появляться переводы из Байрона в русских журналах. Они, по словам М. А. Бестужева, «кружили всем головы».

11 октября 1819 г. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я всё время купаюсь в пучине поэзии, читаю и перечитываю лорда Байрона, разумеется, в бедных выписках французских». А. И. Тургенев отвечал ему 22 октября: «Ты проповедуешь нам

Байрона, которого мы всё лето читали», а в письме 6 января 1820 г. писал И. И. Дмитриеву: «Жуковский дремлет над Байроном, Вяземский им бредит». Автор гневного и резко публицистического стихотворения «Негодование» (1820), Вяземский 25 февраля 1821 г. в письме к А. И. Тургеневу указывал, что «Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими».

«Властитель дум», по известной пушкинской характеристике, Байрон казался в глазах многочисленных мракобесов самым «опасным» разрушителем общественного порядка. Один из деятелей реакционной клики Д. Рунич, возмущённый тем, что на страницах «Русского инвалида» появилась переводная статья о Байроне, обратился 23 апреля 1820 г. к издателям этого органа с письмом, в котором находим такие строчки: «Какая может заключаться польза для русских и вообще для человечества в том сведении или уведомлении, что в Англии или Америке или Австралии есть чудовища, в ожесточённом неверии сплетающие нелепые системы и поэмы, целью коих есть то, чтобы представить преступление страстью и необходимою потребностью великих душ? Что тут великого, изящного, полезного? Не философия ли это ада?.. Кто заразится бреднями Байрона, — тот погиб навеки; подобные впечатления, особенно в юных сердцах, с трудом изглаживаются. Поэзии Байронов... родят Зандов и Лувелей!..[28] Стихотворения его исполнены смертоносного яда, такой философии, которую изрыгает один только ад... Прославлять поэзию лорда Байрона есть то же, что восхвалять и превозносить убийственное орудие, изощрённое на погибель человечества»[29].

Онегин вступал в «любопытный» спор о гетерии. Национально-освободительное движение греков против Турецкой империи, в котором участвовала разноплеменная масса на Балканском полуострове, в Молдавии и Валахии (сербы, румыны, болгары, албанцы), вызывало в русском обществе в 20-х годах напряжённый интерес. Пушкин, познакомившийся в Кишинёве с вождём гетеристов А. Ипсиланти, мечтал принять участие в греческом движении, горячо обсуждал в годы южной ссылки «успех предприятия этерии» (см. Кишинёвский дневник Пушкина от 2 апреля 1821).

Бенжамен Констан (1767—1830) — публицист и романист, идеолог буржуазного либерализма, пользовался значительным авторитетом среди дворянской интеллигенции. Его сочинения, защищавшие умеренный конституционализм в эпоху реставрации феодальных порядков во Франции, были в руках у многих будущих деятелей декабризма. По словам Н. И. Тургенева, вернувшегося в Петербург в конце 1816 г., «имена зна-

менитых французских публицистов были так же популярны в России, как и на их родине, и русские офицеры сроднились с именами Бенжамена Констана и некоторых других ораторов и писателей, которые как будто взялись за политическое воспитание европейского континента».

В списке лиц, интересовавших Онегина, первоначально были Гесснер и Манюэль.

Гесснер (1730—1783) — швейцарский автор идиллий, которые были чрезвычайно популярны на Западе, переводились у нас Карамзиным, Жуковским. Руссо, Мирабо, Дидро, А. Шенье высоко ценили этого писателя, несмотря на прикрашивание действительности, умевшего найти правдивые черты в описании психологических переживаний героев. Ему принадлежит «Песня швейцарца, с оружием защищающего отечество». Декабрист Фонвизин, доказывая текстами ветхого и нового завета враждебность «самовластительного, или деспотического, правления» новым общественным потребностям, писал в 1823 г.: «Иоанн Златоуст, Гесснер, Лафатер — не были поборники самовластия» [30].

Манюэль (1775—1827) — крупный политический деятель; в палате депутатов в эпоху Ста дней выступал против деспотизма Империи, в 1818 г., избранный в палату двумя департаментами, защищал социальные завоевания Великой буржуазной французской революции и в 1822 г. заявил с трибуны, что Франция встретила приход Бурбонов «только с отвращением и беспокойством». Речи Манюэля в палате депутатов в защиту закона, против испанского короля Фердинанда и т. п. привлекали к нему внимание далеко за пределами Франции; по словам Беранже, Манюэль «всецело принадлежал народу — сердцем, рукою, умом».

Деятельность Манюэля вызывала к себе интерес среди вольнолюбивой молодёжи, — декабрист П. Г. Каховский, указывая в тюремном письме Николаю I факты реакционной политики Священного союза, заставлявшие его возмущаться, отметил: «Конституция Франции нарушена в самом своём основании: Манюэль, представитель народа, из палаты депутатов извлечён жандармами!»

Ещё читал Онегин французского поэта Парни (1753—1814). Так как этот автор стоит в ряду с карбонарами, после Байрона и Бенжамена, то «мужественные споры», очевидно, велись не из-за любовной лирики Парни, а по поводу более содержательных и значительных тем. В годы расцвета «Сионского вестника» (1817), наполненного переводами мистиков Бема, Эккартсгаузена и пр.; в годы разгула церковной «инквизиции», когда в 1816 г. подвергались сожжению труды харьковского профессора Шада за подрыв «основ св. писания»; когда светская знать увлекалась (с 1817 г.) радениями Кондратия Селиванова

(«Горный Сион») и «Братством во Христе» Татариновой; когда сановные ханжи приветствовали мероприятия Магницкого по реорганизации Казанского университета, чтоб «тень Брутов исчезла в житиях святых»; когда учинялся разгром Петербургского университета, из которого выгонялись профессора, якобы сеявшие «лжемудрие германской и английской философии»; когда цензура всюду видела дух «вольнодумства, неверия и неблагочестия», — в эту мрачную пору деятельности Рунича и Магницкого, Фотия и Стурдзы поэт Парни читался как автор антирелигиозных поэм, насыщенных вольтеровским смехом и сарказмом против католицизма, всяческой поповщины и предрассудков. «Война древних и новых богов», «Библейские приключения», «Потерянный рай» отвечали интересам и характеру Евгения, любившего «шутку с желчью пополам».

Религиозное вольнодумство шло рядом с политическим вольномыслием.

Молодой человек 20-х годов в характеристике верноподданного той эпохи «должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах, казаться неверующим христианским догматам». Бенжамен Констан с его «Курсом конституционной политики» (1818—1820) или «Рассуждением о конституциях и об их гарантиях» (1814), с одной стороны, кощунственные поэмы Парни, — с другой, давали тот терпкий «лицейский дух», следы которого обнаруживаются на умственном облике пушкинского героя [31].

Круг интересов «жарких спорщиков» Пушкин заключил именем г е н е р а л а Ж о м и н и. Автор специальных работ по военному искусству, барон Жомини (1779—1869) вызывал внимание к себе в военной среде как своей жизненной судьбой, так и некоторыми темами своих трудов: бывший офицер французской армии, губернатор Вильны и Смоленска в кампанию двенадцатого года, он перешёл в стан союзников, в 1813 г. был принят на русскую службу, изменив Наполеону, которому помогал при отступлении через Березину. В ранних сочинениях Жомини превозносил военный гений Наполеона, а к низложенному французскому императору в годы торжества Священного союза вернулись симпатии многих, увидевших, что «самовластие (в Европе) стало ещё тягостней» (Р ы л е е в). Образ Наполеона в трудах Жомини вызывал сравнение с Александром I, далеко не лестное для «главы царей», интересовавшегося «фрунтоманией, солдатской вытяжкой, единичным учением и проч., несмотря на то, что опыты двухлетней жестокой войны с неприятелем, самым искусным, могли бы, кажется, убедить Александра, что не от этих мелочей зависит победа» (М. А. Ф о н в и з и н — декабрист).

Имя Жомини в 1817 г. попало в «Песню старого гусара» Д. Давыдова:

А теперь что вижу? — Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!
Говорят, умней они...
Но что слышим от любова?
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова!

Имя этого военно-исторического писателя как будто врывается в строфу излишним, неожиданным, но Пушкин, вообще скупой на биографические подробности, строя первую главу без точной хронологизации жизни своего героя, однако отметил один любопытный факт, бросающий свет на интерес Онегина к имени военного специалиста:

И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.

Эти строки в XXXVII строфе, сочетание б р а н и (ср. «Послание к Юдину»: «Трепещет б р а н ь ю грудь моя... лечу на гибель супостата»), с а б л и (ср. там же: «Нашед на поле битв и чести одни болезни, костыли, навек оставил с а б л ю м е с т и») и с в и н ц а характеризуют военную обстановку, военную среду.

Евгений вступил в свет лет 16—17 (см. варианты к III и IV строфам), в эпоху Отечественной войны. Подобно Чацкому, Евгений мог увлечься «расшитым и красивым мундиром» и даже носить его некоторое время, как это было в жизни Грибоедова и др., не встречаясь с «свинцом» «на поле битв» (на поле брани). Но так как в биографии пушкинского героя нет точного указания на его военную службу, то признание, что Онегин когда-то любил «брань, саблю и свинец», может быть истолковано как указание на связи статского молодого человека с военными, на его тяготение к кружку военной молодёжи.

Отрывок неоконченной пьесы Пушкина 1821 г. (так называемой «Комедии об игроке») превосходно комментирует XXXVII строфу: брат отвечает на вопрос сестры, почему она не видит его в свете:

...мы жить привыкли на свободе,
Не ездим в общество, не знаем наших дам,
Мы вас оставили на жертву [старикам],
Любезным баловням осьмнадцатого века...
А впрочем, не найдёшь живого человека
В отборном обществе...

Далее из их диалога мы узнаём, в чьём обществе проводили время те, кому надоели «важны вздоры»:

— Хвалиться есть ли чем!
Что тут хорошего. Ну, я прощаю тем,
Которые, пустясь в пятнадцать лет на волю,
Привыкли — как же быть? — лишь к пороху [да к] полю.
Казармы нравятся им больше наших зал —
Но ты, который век в биваках не живал,
Который не видал походной пыли сроду, —
Зачем перенимать у них пустую моду?
Какая нужда в том?
— В кругу своём они
О дельном говорят, читают Жомини.

Артель передовой офицерской молодёжи, той, которая входила в состав Союза спасения, не была чуждой Онегину. Известно, какие изменения произошли после европейских походов «в укладе жизни, в речах и даже в поступках» гвардейских офицеров, которые «обращали на себя внимание свободой своих суждений и смелостью, с которой они высказывали их, мало заботясь о том, говорили ли они в публичном месте или в частной гостиной, слушали ли их сторонники или противники их воззрений» [32]. Но Онегин разлюбил «и брань, и саблю, и свинец», т. е. перестал бывать и на собраниях военной молодёжи. Причины этого перелома указаны в романе: в Онегине «чувства остыли», он «к жизни вовсе охладел» (XXXVIII строфа).

Совершенно очевидно, что рассказ о том, как Евгений, «томясь душевной пустотой, читал, читал, а всё без толку» (XLIV строфа), относится к иному периоду, чем тот, когда он участвовал в «жарком споре» о Жомини, толковал об Ювенале и т. п. Эти разговоры Онегин вёл не тотчас по окончании курса своих наук, а позже, когда политические интересы стали преобладающими в среде дворянской молодёжи, пришедшей к выводу о необходимости преобразований в крепостнической стране. Если бы Пушкин оставил в основном тексте V строфу в её первоначальном виде, то перед читателем романа предстала бы та картина оживлённой умственной работы, которая велась на собраниях у Н. И. Тургенева, среди участников Союза спасения, «Зелёной лампы» [33].

В первой главе романа на переднем плане, особенно в начальных строфах, выступает светское времяпровождение Онегина, кружение в вихре разнообразных развлечений. Но «наука страсти нежной», которой отдавался с таким усердием молодой Евгений, соединялась у него и с театральными влечениями, и с чтением знаменитой книги английского экономиста, и с любовью к сатирическим сочинениям в стиле Ювенала. Сравнение Онегина с Кавериным, Чаадаевым заставляет видеть в пушкинском герое портрет тех молодых людей, которые были, по выра-

жению историка В. О. Ключевского, типическим исключением в дворянском обществе, которые были охвачены идеологическим движением, приведшим многих из них к декабризму.

Первая глава романа рисует формирование молодого человека между 1812 и 1819 годами, т. е. в то время, когда, по позднейшей характеристике Пушкина (в сожжённой главе романа), «не входила глубоко в сердца мятежная наука», когда «дружеские споры» велись «между лафитом и клико», когда брожение мысли выливалось в «разговоры»:

[Всё это было только] скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.

«Тоскующая лень» Онегина в соединении с его «учёными спорами» — это как раз те краски, которые Пушкин собирался в 1830 г. положить на картину преддекабрьских настроений дворянского либерализма, которые он помнил по личным петербургским впечатлениям, по заседаниям «Зелёной лампы», где собирались «рыцари лихие любви, свободы и вина»; эти настроения он сильно затушевал в первой главе романа, но сохранил настолько, что читателю, если бы роман закончился десятой главой, было бы понятно, почему Онегин мог вступить в общество декабристов.

Собрания «лампистов» изображались Пушкиным как вечера, где «своенравный произвол»

Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна;
И разгорались наши споры
От искр и шуток и вина.

(«Стансы Я. Толстому», 1821)

«Льются пунш и эпиграммы»... В этих спорах члены филиала Союза благоденствия касались злободневных политических вопросов, вели разговоры

Насчёт... вельможи злого,
Насчёт небесного царя,
А иногда насчёт земного.

А среди песен могла звучать петая в обществе офицеров:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!

Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.

«Энеида» — поэма из 12 песен, рассказывающая легендарную историю Энея, который после падения Трои прибыл в Италию и утвердился там после упорной борьбы с туземными племенами. Автором поэмы был Вергилий Марон (70—9 гг. до н. э.).



Но дней минувших анекдоты,
От Ромула до наших дней,
Хранил он в памяти своей.

Во времена Пушкина анекдот был особым литературным жанром. Это была краткая «прозаическая повесть» о малоизвестном историческом явлении, сообщающая какую-либо характерную, своеобразную черту исторического деятеля. Исторические труды в Европе и у нас нередко представляли собою собрания анекдотов.

В 1790 г. вышла книжка под названием «Анекдоты любопытные». В предисловии к ней читаем: «Сии две повести были в начале сего века. Чтение их может быть любопытно и полезно: любопытно — по особенности случаев; полезно — в рассуждении чувствительных примеров, которые здесь представляются и которые пронзают душу. Впрочем, истина действий даёт им право преимущества пред романами». Таким образом, термин «анекдот» ранее имел другой смысл, чем в наше время (ср. рассуждения Белкина в «Истории села Горюхина»). В библиотеке Пушкина были книги С. Н. Глинки — «Русские анекдоты военные и гражданские, или Повествование о народных добродетелях россиян древних и новых» (1822) и Якова Штелина — «Подлинные анекдоты о Петре Великом» (изд. 3-е, 1830).

Онегин, хранивший в памяти огромный запас исторических анекдотов, вероятно, знал анекдоты из современной жизни, подобно декабристу Завалишину, который, как показывал на следствии по делу 14 декабря лейтенант Арбузов, «при каждом свидании рассказывал новости: то новая республика в Америке образовалась или какой-нибудь анекдот из Испании или Греции» [34]. В варианте к VI строфе Пушкин указал, что Онегин «знал, что значит Рубикон». Из романа исчез, из-за цензурных опасений автора, намёк на политическое применение либеральной молодёжью знаменитого эпизода из жизни Цезаря, с русским осмыслением латинского слова Рубикон.

А. Бестужев на следственной комиссии сообщил: «Я сам при многих, перешагнув через порог Рылеева кабинета, сказал,

смеясь: «Переступаю через Рубикон, а Рубикон значит руби кон, т. е. всё, что попадётся, но я никак не разумел под сим царствующей фамилии» [35].

VII

Бранил Гомера, Феокрита,
Зато читал Адама Смита...

Как мы видели, Онегин интересовался современными по тому времени проблемами; политическая публицистика и экономические трактаты эпохи победы буржуазии над феодализмом прежде всего привлекали его внимание. Поэтому его критический, «резкий охлаждённый ум» видел в «Одиссее» и в «Илиаде» — поэмах легендарного греческого поэта Гомера — картины рабовладельческого общества, того строя, который напоминал порядки в некоторых отсталых странах XIX в. Купля и продажа людей; цари, всю жизнь воюющие и грабящие мирное население; примитивные формы хозяйства — всё это было не по душе молодому смитианцу. Идиллические зарисовки пастухов и пастушек с «козочками» и «овечками» на лоне природы, чувствительные картинки греческого поэта Феокрита также шли вразрез с представлениями горожанина Онегина, которого лишь два дня могли занимать

Уединённые поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья.

(LIV строфа) [36]

Адам Смит (1723—1790) — английский экономист, ранний идеолог промышленного капитализма, авторитетный в передовых слоях дворянства, считавших очередной задачей в России ломку крепостничества. Он подсказывал Онегину на многочисленных примерах экономической жизни в прошлом и настоящем критику хозяйственной культуры древней, «гомеровской» Греции. Вот что Евгений мог прочесть в классическом труде Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776), впервые переведённого на русский язык в 1802—1806 гг.: «Политика древних республик Греции и политика Рима, хотя она более ценила земледелие, чем мануфактурную промышленность или внешнюю торговлю, всё же, повидимому, скорее затрудняла эти последние занятия, чем непосредственно или сознательно поощряла первое. В некоторых из древних государств Греции внешняя торговля была совершенно запрещена, а в некоторых других промысел ремесленников и мануфактури-

стов считался вредным для силы и ловкости человеческого тела, поскольку он делал его неспособным воспринимать те навыки, которые старались развить в нём при помощи военных и гимнастических упражнений, а потому и неспособным в большей или меньшей степени переносить утомление и опасности войны. Эти промыслы считались пригодными только для рабов, а свободным гражданам государства запрещалось заниматься ими. Даже в тех государствах, где не существовало такого запрещения, как, например, в Риме и Афинах, масса народа фактически была отстранена от всех тех промыслов, какими в настоящее время занимаются обычно низшие слои населения городов. Всеми этими промыслами в Афинах и Риме занимались рабы богачей, причём занимались они ими в пользу своих хозяев, которые своим богатством, могуществом и влиянием делали почти невозможным для свободного бедняка найти рынок для продукта своего труда, когда последнему приходилось конкурировать с продуктами труда рабов богатого человека. Но рабы редко проявляют изобретательность; все более важные улучшения в орудиях труда или в порядке и распределении работы, которые облегчают и уменьшают труд, являлись открытиями свободных людей. Если бы даже раб предложил какое-либо улучшение подобного рода, его хозяин был бы склонен счесть это предложение внушённым ленностью и желанием раба сократить свой труд за счёт хозяина. Бедный раб вместо награды получил бы, вероятно, на свою долю град ругательств, а может быть, и подвергся бы наказанию. Поэтому в мануфактурах, в которых работают рабы, обычно требуется больше труда для выполнения того же количества работы, чем в предприятиях, где применяется труд свободных рабочих. Труд первых должен в виду этого обходиться дороже, чем труд последних» [37].

Некоторые герои гомеровской «Илиады» могли давать повод к гневным сопоставлениям с политической жизнью тогдашней России.

В 1818—1823 гг., когда «исчезли юные забавы», когда царь Александр, разъезжая по конгрессам европейских дипломатов, обнаружил подлинное нутро «кочующего деспота», в разговорах молодёжи, ожидавшей «минуты вольности святой», гомеровский Агамемнон мог рассматриваться как прообраз ненавистного душителя свободы на русском престоле.

Греческий царь был типичным деспотом. Этот «пастырь народов» был зол и мстителен, надменен и не терпел противоречий, он яростно прогнал жреца Храза, любимца Аполлона; мудрый Калхас говорит о нём: «Слишком могуществен царь, на мужа подвластного гневный: вспыхнувший гнев он на первую

пору хотя и смиряет, но скрытную злобу, доколе её не исполнит, в сердце хранит».

Молодым либералистам, мечтавшим на месте деспота видеть конституционного монарха, ограниченного законом и управляющего страною во имя просвещённой свободы, прославленный Гомером герой должен был казаться заслуживающим уничтожения, а не преклонения.

О том, что какие-то критические голоса раздавались в 20-х годах о Гомере, его мировоззрении, картинах быта в его поэмах и пр., можно судить по следующим фактам.

В «Московском телеграфе» 1829 г. по поводу второго издания I главы «Евгения Онегина» писалось, что у Пушкина — классического писателя — «для русского читателя нравственности более, нежели во всех поэтах Греции и Рима, у которых везде или языческие причуды, или сладострастные и часто безнравственные картины, или, наконец, резня наповал. Вспомните о Гомере... у него герои — драчуны, и вся «Илиада» — настоящая бойня, в сравнении с которою наши романтические кровавые сцены — бой петухов» [38].



Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живёт, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

Н. В. Святловский указывает, что «по точному смыслу стихов Пушкина перед нами характеристика физиократизма, а не смитианства, придававшего значение «свободе», а не «простому продукту» земли» [39]. Это указание не совсем точно.

В рассуждениях Евгения, действительно, встречается терминология физиократов. Французские экономисты-физиократы [40] (Кене, Тюрго, писавшие перед французской буржуазной революцией XVIII в.), выражавшие идеологию дворян-землевладельцев, мечтавших путём насаждения крупнокапиталистической культуры предотвратить агонию сельского хозяйства, учили, что единственным источником богатства является земля, что только земля даёт чистый продукт (produit net), «только земля доставила все капиталы, которые образуют общую массу всех затрат на обработку и на промыслы» (Тюрго), только труд в сельском хозяйстве даёт избыток цен-

ности, которым землевладелец может свободно распоряжаться. В поисках накопления чистого дохода физиократы выдвигали теорию вложения капиталов не в промышленность, а в земледелие: «Единственным источником доходов земледельческих стран являются земли и капиталы предпринимателей», но необходимо «сочетать браком денежные богатства, сами по себе бесплодные, с земельными».

Теоретики аграрного капитализма считали, что деньги, золото, сами по себе не представляют особенного богатства, наоборот, из всех видов капитала деньги отличаются наибольшим бесплодием, представляют из себя лишь знаки употребления для продажи и покупки. «Вы могли бы, — писал Кене, — без большого усилия воображения представить себе эти кусочки металла наподобие билетов, которые обозначают часть, какую каждый может иметь в ежегодном распределении произведений, так как производительный класс регулярно возвращает те же самые билеты, чтобы снова обеспечить распределение следующего года» [41].

Итак, Онегин, на первый взгляд, как будто развивает в своём кругу основы учения физиократов, учения, классово близкого той части русского дворянства, которое искало «спасения» и «благоденствия» в борьбе с трудностями помещичьего хозяйствования после наполеоновских войн. Но дело в том, что Адам Смит разделял многие положения школы физиократов, и Пушкин был прав, характеризуя рассуждения своего героя как смитианство. По словам проф. В. М. Штейна, несмотря на то, что «источником богатства у Смита является труд» («годичный труд каждой нации»), «это не мешает ему быть сторонником физиократического мнения об особой производительности земледельческого труда, благодаря способности почвы давать чистый избыток» [42]. К. Маркс, касаясь этой стороны в учении Смита, утверждал, что А. Смит впадает в «иллюзию физиократов, будто земельная рента вырастает из земли, а не из общества» («Капитал», кн. 1) [43].

Что касается смитовской теории денег, то, по мнению А. Смита, деньги — мёртвый капитал, ничего не производящий, они составляют ничтожную часть народного капитала: «Армии и флоты содержатся предметами потребления, а не золотом и серебром»; «если мы нередко выражаем доход какого-нибудь человека числом получаемой им ежегодно металлической монеты, то это потому, что количеством последней определяются размеры возможности для него покупать или ценность ежегодно потребляемых им товаров. Однако мы тем не менее оцениваем его доход этою возможностью для него покупать или потреблять, а не монетою, которая служит только орудием этой способности» [44].

А. Смит — пламенный защитник бережливости, накопления, подлинно буржуазных добродетелей в феодальном обществе — и русский дворянин, «порядка враг и расточитель», «забав и роскоши дитя», убивающий свою «тоскующую лень» на всяческие забавы, требующие денег и денег, — трудно придумать большее несоответствие между шотландским экономистом и петербургским «глубоким экономом». Но придёт черёд — Евгений забудет физиократа маркиза Мирабо, запрещавшего «вместе со скупостью и аскетизмом сбережения и умеренность в потреблении», и сделает опыт применения хозяйствования в духе буржуазной экономии Адама Смита: «бережливый хозяин становится идеалом даже для богачей с тех пор, как они превратились в буржуа» [45].

Учение А. Смита было известно Пушкину по лицейским лекциям проф. Куницына, по книге хорошо знакомого ему Н. И. Тургенева «Опыт теории налогов» [46].

Н. Тургенев, в предисловии к «Опыту» отметив, что «в нашем отечестве сведения по части политической экономии начали распространяться с очевидным успехом», выступил горячим пропагандистом «изучения науки государственного хозяйства», «благотворной в своих действиях на нравственность политическую». Чтобы понять, как воспринимали передовые дворяне различные системы буржуазных экономистов, что вычитывали они из трактатов по политэкономии, как применяли усвоенные идеи к политическому и хозяйственному строю в феодально-крепостнической России, достаточно привести страничку из тургеневского предисловия: «Занимающийся политическою экономиею, рассматривая систему меркантилистов, невольно привыкает ненавидеть всякое насилие, самовольство и, в особенности, методы физиократов, он приучается любить правоту, свободу, уважать класс земледельцев, — столь достойный уважения сограждан и особенной попечительности правительства, — и потом, видя пользу, принесённую сею, впрочем, неосновательною, системою, убеждается, что, при самых великих заблуждениях, действия людей могут быть благодетельны, когда имеют источником желание добра, чистоту намерений и благоволение к ближнему. Система физиократов и происхождением и духом своим принадлежит XVIII веку. Тогда каждая идея о свободе принималась с восхищением и быстро проникала в умы людей, особенно во Франции. К несчастию, такой энтузиазм не допускал строгого разбора, и вредное редко было различаемо от полезного. Физиократы одним из главных правил представляли свободу совместничества в промышленности народной: система их необходимо долженствовала пленить современников, утомлённых игом меркантилизма. Наконец, занимающийся политическою экономиею,

проходя систему, называемую смитовою, или критическою, научается верить одним только исследованиям и соображениям рассудка, простому здравому смыслу и всему, что естественно, не принуждённо. Он и здесь увидит, что всё благое основывается на свободе, а злое происходит от того, что некоторые из людей, обманываясь в своём предназначении, берут на себя дерзкую обязанность за других смотреть, думать, за других действовать и прилагать о них самое мелочное и всегда тщетное попечение. Вместе с сим изыскивающему причины и свойства богатств народных представится неотрицаемый опыт времён протекших, и он удовлетворится, что свобода новейших народов рождалась и укреплялась вместе с их благоденствием и основывалась на внутреннем устройстве, на финансах и что сии финансы, служа основанием свободе, бывали также и орудием оной».

В «Отрывках из романа в письмах» (1829) герой, Владимир Z., вспоминает об этих годах: «. . . умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг: нам было неприлично танцовать и некогда заниматься дамами. . . Это всё переменилось: французская кадриль заменила Адама Смита. . .»

О Пушкине и об его отношении к Адаму Смиту по VII строфе романа упоминают К. Маркс — в своих записях и письмах и Ф. Энгельс — в письме к русскому корреспонденту Н. Ф. Даниэльсону 29—31 октября 1891 г. К. Маркс привёл цитату из этой же строфы об отношении Онегина к теории Смита в одном из примечаний «К критике политической экономии». Говоря, что у Рикардо «смехотворным образом обнаруживается смешение денег и товара», Маркс писал: «В поэме Пушкина отец героя никак не может понять, что товар — деньги. Но что деньги представляют собою товар, это русские поняли уже давно, что доказывается. . . всей историей их торговли».

В указанном письме Ф. Энгельса читаем: «Когда мы изучаем. . . реальные экономические отношения в различных странах и на различных ступенях цивилизации, то какими странно ошибочными и недостаточными кажутся нам рационалистические обобщения XVIII века — хотя бы, например, доброго старого Адама Смита, который принимал условия, господствовавшие в Эдинбурге и в окрестных шотландских графствах, за нормальные для целой вселенной. Впрочем, Пушкин уже знал это, как и то,

. . .и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог [47].

VIII

...Наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.

Овидий Назон — римский поэт, живший во второй половине I в. до нашей эры и в начале новой эры, автор книг «Искусство любви» («Ars amatoria»), «Метаморфозы» и др., был сослан императором Августом в Томы при устье Дуная (в Добрудже). Пушкин в декабре 1821 г. ездил к Дунаю, посещал Измаил и Аккерман, где искал следов пребывания Овидия.

В ссылке Пушкин сравнивал свою судьбу с судьбой Овидия (см. письма к Гнедичу от 24 марта 1821 г.; эпизод об Овидии встречаем в рассказе старика в поэме «Цыганы», 1824).

В. Ф. Раевский называл Пушкина «Овидиевым племянником»; в беседах они не раз возвращались к вопросу о месте ссылки римского поэта. В примечаниях к первому изданию Пушкин полемизировал с Вольтером по поводу его мнения о причинах ссылки Овидия. Словом, тема Овидия сильно занимала поэта. «Блестящий и мятежный век» автора «Искусства любви» и «Метаморфоз» — превосходная характеристика, основанная на изучении биографии Овидия и его эпохи. Овидию рано выпала слава первоклассного мастера: ещё учеником он уже был знаменит, память о его импровизациях долго сохранялась среди риторов. 20-летний юноша, он уже соперничал с Горацием и Вергилием; римский свет внимательно следил за новым поэтом. «Мне посчастливилось, — говорит сам Овидий, — приобрести при жизни ту славу, которая обыкновенно выпадает на долю лишь мертвецов». «Мужчины и женщины искали знакомства со мною», признавался автор прославленных «Amores» («Любовных песен»). Внучка Августа Юлия и знатный Силан искали дружбы с поэтом. Внезапная ссылка лишила Овидия всех благ. Император Август в последние годы и его преемник Тиверий вызывали недовольство своей политикой, что давало право называть век пострадавшего Овидия «мятежным».

Пушкин упоминанием о римском поэте, попавшем в ссылку за стихи, неугодные Августу, бросал читателю намёк из Бессарабии о себе, о своей судьбе: в стихотворении «К Овидию» (1821), уже известном поклонникам пушкинской музы, он заявлял:

Как часто, увлечён унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою...

. . . .
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой, участью я равен был тебе.

Пушкин, находясь в той же стране, где «грустный век некогда влачил» Овидий, писавший «песни робкие» Октавию, — гордо заявлял о своей независимости:

В стране, где Юлией венчанный
И хитрым Августом изгнанный,
Овидий мрачно дни влачил;
Где элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Он малодушно посвятил...
. . . .
Всё тот же я, как был и прежде,
С поклоном не хожу к невежде...
Октавию[43], в слепой надежде,
Молебнов лести не пою...

(«Послание к Гнедичу», 1821)

XII

Фобласа давний ученик.

Фоблас — герой французского романа «Похождения кавалера Фобласа» Луве-де-Кувре (1760—1796). В предисловии автора (русский перевод романа 1792—1796 гг.) дана следующая характеристика героя, типичного для дворянской молодёжи второй половины XVIII в.: «Я старался, чтоб Фоблас, ветреной и влюбчивой, как и нация, для коей и у которой он на свет вышел, имел бы, так сказать, французскую личину. Я старался, чтоб при всех его недостатках можно было узнать поступки, наречие и развращённые нравы молодых людей моего отечества. Во Франции, в одной только Франции, должно искать подобных подлинников, коих столь слабые представил я копии...»[49]

XV

Покамест, в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар,
И там гуляет на просторе...

Примечание Пушкина: «Шляпа à la Bolivar». Либерализм Онегина подчёркнут этой деталью в его наряде: шляпа (с боль-



Невский проспект.
Худ. Горностаев, грав. Гоберт, 1834.

шими полями, кверху расширявшийся цилиндр) в честь деятеля национально-освободительного движения в Южной Америке, Симона Боливара (1783—1830), была модной в той среде, которая следила за политическими событиями, которая сочувствовала борьбе за независимость маленького народа. Когда молодые либералы 20-х годов в интимных записочках клялись «во имя Боливара, и Вашингтона, и Лафайэта», когда Н. Полевой и его приятель С. Полторацкий в издававшейся ими рукописной газете помещали эпиграф: «Боливар — великий человек», то на этом фоне, а также на фоне газетных и журнальных заметок, восхвалявших Боливара и «старания его правительства о благоденствии жителей» [50], шляпа à la Bolivar означала не просто головной убор, — она указывала на определённые общественные настроения её владельца, получала в известном смысле тот же характер, какой придавали тогдашние либералисты фригийскому колпаку патриотов французской революции [51].

В «Московском телеграфе» 1825 г., в отделе «Летописи мод», я нашёл заметку: «Чёрные атласные шляпы, называемые Боливарами, выходят из употребления» (№ 2, 5 января, стр. 37), но о Боливаре печаталось в журнале в 1825 г., № 19 и в 1828 г., № 16.

Онегин едет на бульвар...

Онегин гулял и катался в санках (см. строфу XVI) по Невскому проспекту, в то время по середине обсаженному рядами деревьев («тощими липами») для удобств пешеходов. В мае 1820 г., по свидетельству П. Свиньина в «Отечественных записках» того же года, «исчез высокий бульвар, разделявший его [Невский проспект] на две равные половины, и теперь уже на месте сем разъезжают экипажи по гладкой мостовой. С бульваром исчезнет любопытная отличительность сей улицы, нередко случавшаяся весной, т. е. что по одной стороне катались ещё в санках, а по другой неслась пыль столбом от карет и дрожек» [52].

XVI

К Talon помчался: он уверен,
*Что там уж ждёт его *** [Каверин]...*

В примечании к слову Talon Пушкин отметил: известный ресторатор.

Примечание было вызвано тем, что к моменту выхода в свет первой главы ресторан Талона уже не существовал. Он находился на Невском проспекте в б. Куракинском доме (ныне дом № 15). Весной 1825 г. в газетах появилась публикация о предстоящем отъезде за границу «Петра Талона, повара, французского подданного из Парижа» [53].



П. П. Каверин.

В рукописи романа было К. В новых изданиях обычно восстанавливается полностью фамилия Каверина. П. П. Каверин (1794—1855) был в 1816—1823 гг. офицером лейб-гусарского полка; Пушкин сблизился с ним, ещё будучи лицеистом. В 1817 г. поэт посвятил ему два стихотворения: «К портрету Каверина» («В нём пунша и войны кипит

всегдашний жар») и «К П. П. Каверину», в котором находятся строки, характеризующие его «любезного» приятеля, в 1810—1812 гг. слушавшего лекции в Геттингенском университете:

Пока живётся нам, живи,
Гуляй в моё воспоминанье;
Усердствуй Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой [54], с Портиком [55], и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под лёгким покрывалом [56].



Вошёл: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток...

Выражение «вина кометы брызнул ток» находит объяснение в следующем: в 1811 г. был необычайный урожай винограда на юге Франции, осенью того же года появилась исключительной яркости комета. По народному поверью, хорошее качество виноградного вина урожая 1811 г. приписывалось влиянию этой кометы. Вот почему в эпоху Пушкина славились вина 1811 г., известные под названием vins de la comète. Ср. ещё в послании Я. Н. Толстому (1822):

Налейте мне вина кометы...

Выражение «вина кометы» является в языке Пушкина галлицизмом (см. заметку Н. Н. Кузнецова в XXXVIII—XXXIX вып. «Пушкин и его современники»).



Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым [57].

Все эти яства особенно ценились гастрономами и долго были в ходу. В № 15 «Московского телеграфа» 1832 г. расска-

зывается, что для денежных людей дельцы «мелкой торговли и промышленности» мигом доставят «пироги из Страсбурга, сыр из Лимбурга», «горы ананасов»; «с благодарных полей Шампани польются реками вина» — и «всё дадут вам напрокат; угощение... будет вам стоить только то, что надобно заплатить за лист вексельной бумаги — если вы бесспорный наследник дядюшки, который еле дышит» [58].

XVII

Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почётный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру...

В характеристике Онегина-театрала обращает внимание то, что он назван: «театра злой законодатель». Онегин не из числа рядовых зрителей, которые лишь «обшикивают» иль «охлопывают» в театрах. Он и не только «почётный гражданин кулис», т. е. постоянный завсегдатай театра, из тех, кто был на короткой ноге с актёрским цехом и, пользуясь связями с дирекцией, имел право свободного входа за кулисы. Дворянская молодёжь любила в те годы театр и в лице членов «Зелёной лампы», Я. Толстого, Н. Всеволожского и других театралов дружила с драматургами, бывала на вечерах у кн. Шаховского, участвовала в составлении «куплетов», водевилей, в домашних спектаклях, одновременно по-барски расценивая «очаровательных актрис» как наложниц, с беспечным цинизмом мечтая об амурных похождениях с воспитанницами Театрального училища.

В этой среде некоторые выделялись своей театральной культурой, критическим вкусом, эрудицией в вопросах театрального мастерства. Тогда шли горячие споры об актёрской технике, системах декламации; приёмы игры заезжих иностранных артистов вызывали сравнение с местными корифеями сцены; среди русских актёров пробивалась яркая струя сценического реализма, перебиваемая напевной, классической школой времён Дмитревского, ученика Сумарокова. На заседаниях «Зелёной лампы» читались доклады Д. Баркова о театральных постановках (за апрель — май 1819 г.). Пушкин писал критические заметки о театре («Мои замечания» 1819—1820 гг.), полные тонких соображений о различных методах актёрской игры. Никита Всеволожский, «амфитрион весёлый», был страстным театралом, знатоком драматической литературы. Офицер П. Катенин славился своими суждениями о театре; перевидавший в 1814 г.



Каменный Большой театр в Петербурге.
Из собрания гравюр изд. 1834.

в Париже всех знаменитостей того времени: Тальма, Марс, Дюшенуа и других, сам драматург и декламатор, этот полковник Преображенского полка, злой и резкий на язык, проявлял себя в театре как авторитетный театральный рецензент, шёл иногда наперекор мнениям толпы. По словам генерал-губернатора Милорадовича, Катенин — «дерзок и подбирает в партере партии, дабы господствовать в оном и заставлять актёров и актрис искать его покровительства».

Онегин среди зрителей кресел занимал эту своеобразную «катенинскую» позицию. Не случайно в черновом наброске послания «Я. Н. Толстому» (1822) Пушкин обратился к одному из «лампистов» с теми же строками, какими он охарактеризовал Онегина:

Приди, [счастливый царь] кулис,
Театра злой летописатель,
Очаровательных
[Младых трагических] актрис
Непостоянный обожатель!

. . . Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,

Готов охлопать entrechat,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

Онегину с друзьями звон брегета доносит, «что новый начался балет». Но конец строфы и следующая, XVIII, строфа, посвящённая театру вообще, дают право предполагать, что Федра — героиня из оперы Штейбельта (на сюжет трагедии Расина), шедшей в 1819 г.,[59] Клеопатра — имя героини из пьесы, до сих пор не установленной. Моина — героиня трагедии Озерова «Фингал», впервые поставленной с шумным успехом в Петербурге 18 декабря 1805 г. В этой роли в пушкинскую пору славилась артистка А. М. Колосова, которую Пушкин называл «Моиной нашей сцены» (1820). О её первом выступлении в театре Пушкин сохранил заметки (1819 г.): «В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомены. Семнадцати лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно — частая приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надёжной наследницей Семёновой. Во всё продолжение игры её рукоплесканья не прерывались. По окончании трегедии она была вызвана криками исступления»[60]. В дальнейших строках этой заметки Пушкин подвергает игру Колосовой в новых ролях строгой критике. В том же 1819 г. он написал на артистку эпиграмму:



Александра Михайловна Колосова в роли Гермионы.

Всё пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,

Поступь важная в порфире,
Кудри чёрные до плеч;
Голос нежный, взор любови...
Набелённая рука,
Размалёванные брови
И широкая нога!

Впоследствии Пушкин признал свою неправоту перед А. М. Колосовой и в послании к П. Катенину (1821) писал:

Талантов обожатель страстный,
Я прежде был её поэт.
С досады, может быть, неправой,
Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единый,
Погибни лиры ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Селименой и Моиной...

XVIII

Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слёз, рукоплесканий
С младой Семёновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой;
Там и Дидло венчался славой;
Там, там, под сению кулис,
Младые дни мои неслись.

Д. И. Фонвизин (1745—1792) — автор комедий «Бригадир» (1766) и «Недоросль» (1782), сатирически изображавший быт и нравы помещиков XVIII века. «Другом свободы» назван за критику рабства в «Недоросле», за смелые выпады против самовластья в «Вопросах автору «Былей и Небылиц» (т. е. Екатерине II). Эти «вопросы» вызвали недовольство Екатерины за вольнодумство. См., например, его размышления о вольности: «Вольность есть первое право человека, право повиноваться единым законам и кроме них ничего не бояться. Горе рабу, стра-

щащемуся произносить её имя! Горе той стране, где изречение его вменяется в преступление!» и пр. (переводное с французского языка «Похвальное слово Марку Аврелию», 1777).

Я. Б. Княжнин (1742—1791) — автор трагедий («Дидона», «Росслав», «Вадим») и комедий («Хвастун», «Чудаки»), в которых много заимствованного из европейской драматургии. «Переимчивый» Княжнин в одной комедии И. А. Крылова был назван «Рифмокрадовым».

В. А. Озеров (1770—1816) — автор трагедий («Дмитрий Донской», «Эдип в Афинах», «Фингал» и др.), имевших шумный успех у тогдашней театральной публики (главным образом высшей знати и людей со «средним состоянием») благодаря консервативно-патриотическому и сентиментальному содержанию.

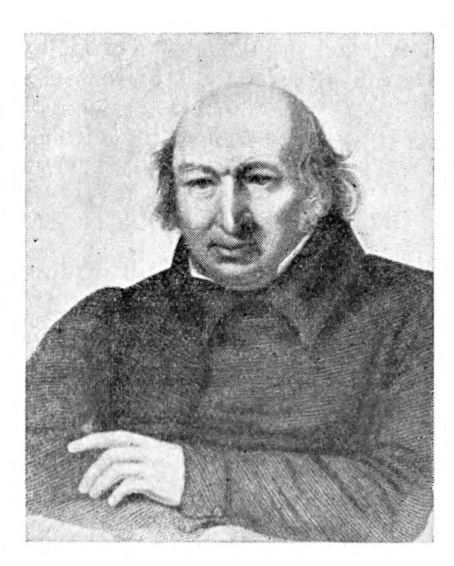


Екатерина Семёновна Семёнова.
С портрета К. Брюллова.

Е. С. Семёнова (1786—1849) — знаменитая трагическая актриса, дочь крепостной; о ней восторженно писал Пушкин в 1819 г. в статье «Мои замечания об русском театре»: «Говоря об русской трагедии, говоришь о Семёновой — и, может быть, только об ней. Одарённая талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семёнова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души... Семенова не имеет соперницы. Пристрастные толки и минутные жертвы, принесённые новости прекратились, она осталась единодержавною царицею трагической сцены» (т. VI, стр. 9—10).

Когда в начале 20-х годов Пушкин получил известие об уходе Семёновой из театра, он набросал начальные строки стихотворения:

Ужель умолк волшебный глас
Семёновой, сей чудной музы,
И славы русской луч угас?.



А. А. Шаховской.

А. А. Шаховской (1777—1846)—плодовитый драматург, осмеивавший в своих комедиях разнообразные бытовые явления и отдельных лиц (например, Карамзина в «Новом Стерне», Жуковского в образе Фиалкина в комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды»). Пушкин нередко бывал в кружке Шаховского, где собирались актёры и многочисленные почитатели театра, драматургии.

П. А. Катенин (1792—1853) перевёл в 1822 г. стихами трагедию Корнеля «Сид» (1636 г.). До этого он перевёл также трагедию Корнеля «Аркадия». 19 июля 1822 г. Пушкин писал ему из Кишинёва: «Ты перевёл Сида; поздравляю тебя и старого моего Корнеля. Сид кажется мне лучшею его трагедиею». Переведённая Катениным трагедия французского драматурга была представлена в Петербурге 14 декабря 1822 г. в бенефис В. А. Каратыгина и в том же году издана. Комплимент по адресу Катенина:

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый —

был у Пушкина готовой стиховой формулой. В 1821 г. (24 марта) Пушкин (как отметил Ю. Тынянов) точно такой же комплимент преподнёс Н. И. Гнедичу, переводчику «Илиады»:

О ты, который воскресил
Ахилла призрак величавый.

Катенин, член Союза спасения, был известен своим вольнодумством, числился в списке «неблагонамеренных людей»; по словам доносчика, офицеры считали его гением — так он выделялся своим блестящим умом, познаниями в разнообразных областях; «он был вреден своим влиянием и распространением вольтерианства».

Вынужденный оставить военную службу в сентябре 1820 г., Катенин вскоре из-за демонстративного поведения в театре, когда он вызывал Каратыгина (в трагедии «Поликсена») в то время, как публика хлопала Семёновой и Азаревичевой (послед-

ней покровительствовал Милорадович), на основании официального рапорта генерал-губернатора был подвергнут суровой каре. Александр I воспользовался случаем наказать бывшего офицера, который «неоднократно замечен был с невыгодной стороны» (Катенина, между прочим, подозревали в причастности к делу о прокламациях, появившихся осенью 1820 г. среди солдат в казармах Прсображенского полка), и приказал выслать его из Петербурга «с запрещением въезжать в обе столицы без высочайшего на то разрешения». В 1822 г. Катенин покинул столицу и на много лет засел в глуши костромской усадьбы.

Пушкин познакомился с Катениным в июле 1817 г. Как относился юноша-Пушкин к этому офицеру-литератору, красноречиво говорит описание первой встречи поэта с Катениным в казармах Преображенского полка: Пушкин «встретил меня в дверях (рассказывает Катенин в своих воспоминаниях), подавая в руки толстым концом свою палку и говоря: «Я пришёл к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи». — «Учёного учить — портить», отвечал я, взял его за руку и повёл в комнаты. . .» [61]

Пушкин на юге, с запозданием узнав о высылке Катенина, тревожно запрашивал своих друзей о его судьбе:

«Правда ли, что говорят о Катенине? мне никто ничего не пишет — Москва, Петербург и Арзамас совершенно забыли меня. . .» (Письмо Вяземскому, 5 апреля 1823 г.)

Эмоциональная окраска в упоминании о Катенине в этой строфе *(наш Катенин)* вполне объяснима: ссыльный Пушкин публично выражал своё сочувствие также пострадавшему от «кочующего деспота» Александра I.

Бессарабский ссыльный, неуимчивый Пушкин, оказался «бесом арабским» и тогда, когда в XLVIII строфе упомянул о Мильонной улице:

Всё было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожек отдалённый стук
С Мильонной раздавался вдруг.

Казармы Преображенского полка, где проживал Катенин, находились на углу Мильонной улицы (теперь ул. Халтурина). Здесь Пушкин впервые познакомился с Катениным, здесь он проводил вечера в литературных беседах и спорах с учёным-архаистом. Катенин, прочитав в 1825 г. первую главу «Онегина», понял намёк Пушкина и благодарно откликнулся: «Кроме прелестных стихов, я нашёл тут тебя самого, твой разговор, твою весёлость и вспомнил наши казармы в Мильонной» (письмо Катенина Пушкину от 9 мая 1825 г.).



К. Дидло.

К. Дидло (1767—1837) — знаменитый балетмейстер: о нём Пушкин в примечаниях в XXI строфе по поводу слов Онегина «но и Дидло мне надоел» отметил: «Балеты Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной». Дидло поставил два балета по произведениям Пушкина: «Кавказский пленник» (15 января 1823 г.) и «Руслан и Людмила» (8 декабря 1824 г.). 30 янв. 1823 г. Пушкин просил своего брата Льва Сергеевича (из Кишинёва): «Пиши мне о Дидло».

Последние две строчки XVIII строфы, свидетельствующие о театральных увлечениях Пушкина, находят комментарий в его письмах: «Мы не забыли тебя (пишет он П. Б. Мансурову 27 октября 1819 г.) и в 7 часов с $1/2$ каждый день поминаем в театре рукоплесканиями»; «Что Катенин? что Шаховской? .. Что Семёнова? .. Что весь театр?» — спрашивал он Я. Н. Толстого в кишинёвском письме от 26 сентября 1822 г.

Гоголь в числе особенностей художественного таланта Пушкина отмечал его «необыкновенное искусство немногими чертами означить весь предмет: эпитет [Пушкина] так отчётист и смел, что иногда один заменяет целое описание».

Эпитеты к встречающимся в этой строфе писателям именно таковы: одним-двумя словами характеризуется Фонвизин, Княжнин, Шаховской, Корнель. Присоединим сюда Гомера, Руссо, Гримма, Бейля, Байрона, Парни; героев из романов Ричардсона, Руссо, Нодье; Жуковского, Дмитриева, Баратынского, Языкова и других, о которых в разных местах романа поведал автор, — перед нами в эпитетах своеобразная история мировой литературы. Гениальный умница и глубокий знаток искусства наглядно проступает через эту манеру в сжатой словесной форме очертить большое явление, схватить существенное в творческом облике мастеров поэзии.

XX—XXI

Зрительный зал театра пушкинской поры отвечал сословно-классовым отношениям: за оркестром шло несколько рядов кресел, затем была обширная площадь партера, где могло раз-

меститься свыше тысячи зрителей; над партером возвышались ложи (три или четыре яруса); верхний этаж — раёк (галерея). В креслах сидела знать, аристократия (Онегин «идёт меж кресел по ногам»); в партере, где публика стояла (ср. par terre — в европейских театрах XV—XVI вв. зритель победней стоял на земле, под открытым небом), преимущественно находилась та часть общества, которую можно назвать «средним состоянием», буржуазной интеллигенцией; ложи предназначались для женщин и их спутников (Онегин «двойной лорнет, скосясь, наводит на ложи незнакомых дам»), в райке — демократическая публика, «чернь». Спектакли обычно шли между шестью и девятью часами вечера.

Пушкин оставил нам характеристику современных ему зрителей. В уже цитированных его замечаниях об русском театре он намечал разные типы театральных любителей.

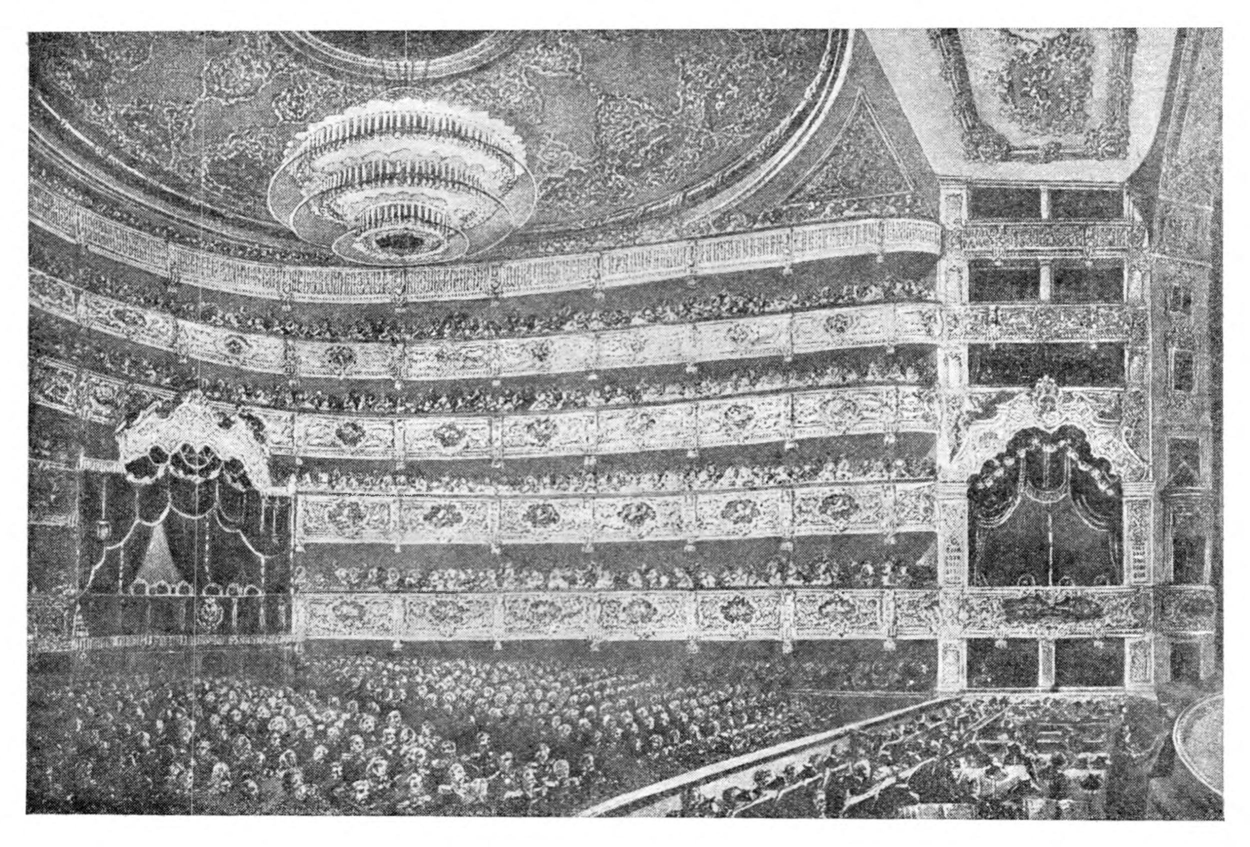
«Что такое наша публика? Перед началом оперы, трагедии, балета молодой человек гуляет по всем десяти рядам кресел, ходит по всем ногам, разговаривает со всеми знакомыми и незнакомыми. «Откуда ты?» — «От Семёновой, от Сосницкой, от Колосовой, от Истоминой». — «Как ты счастлив!» — Сегодня она играет — она танцует — похлопаем ей — вызовем её! она так мила! У ней такие глаза! такая ножка! такой талант!!! — Занавес подымается. Молодой человек, его приятели, переходя с места на место, восхищаются и хлопают [62]. Не хочу здесь обвинять пылкую, ветреную молодость, знаю, что она требует снисходительности. Но можно ли полагаться на мнения таковых судей?

Часто певец или певица, заслужившие любовь нашей публики, фальшиво дотягивают арию Боэльдьэ или della Maria. Знатоки примечают, любители чувствуют, они молчат из уважения к таланту. Прочие хлопают из доверенности и кричат форо [63] из приличия.

Трагический актёр заревёт громче, сильнее обыкновенного; оглушённый раёк приходит в исступление, театр трещит от рукоплесканий.

Актриса... Но довольно будет, если скажу, что невозможно ценить таланты наших актёров по шумным одобрениям нашей публики.

Ещё замечание. Значительная часть нашего партера (т. е. кресел) слишком занята судьбою Европы и отечества, слишком утомлена трудами, слишком глубокомысленна, слишком важна, слишком осторожна в изъявлении душевных движений, дабы принимать какое-нибудь участие в достоинстве драматического искусства (к тому же русского). И если в половине седьмого часу одни и те же лица являются из казарм и совета занять первые ряды абонированных кресел, то это более для них условный этикет, нежели приятное отдохновение. Ни в каком случае не-



Общий вид зрительного зала петербургского Большого театра.
С рисунка худ. Садовникова, 1830.

возможно требовать от холодной их рассеянности здравых понятий и суждений и того менее движения какого-нибудь чувства. Следовательно, они служат только почтенным украшением Большого каменного театра, но вовсе не принадлежат ни к толпе любителей, ни к числу просвещённых или пристрастных судей.

Ещё одно замечание. Сии великие люди нашего времени, носящие на лице своём однообразную печать скуки, спеси, забот и глупости, неразлучных с образом их занятий, сии всегдашние передовые зрители, нахмуренные в комедиях, зевающие в трагедиях, дремлющие в операх, внимательные, может быть, в одних только балетах, не должны ль необходимо охлаждать игру самых ревностных наших артистов и наводить лень и томность на их души, если природа одарила их душою?» (т. VI, стр. 7—9).

XX

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина...

Бутафория балетов пушкинской поры насыщена была фантастикой античной мифологии; балетмейстер Дидло славился постановкой «мифологических балетов» («Амур и Психея», «Ацис и Галатея», «Зефир и Флора»). Нимфы и амуры (см. XXII строфу) — воспитанницы театральной школы, одетые в трико и газовые туники, пленяли воображение зрительного зала, где в пушкинскую пору ещё сидели «погружены умом в зефирах и амурах» владельцы крепостных балетов, вынужденные иногда «распродавать поодиночке» своих амуров и зефиров (см. «Горе от ума»).

А. И. Истомина (1799—1848) — знаменитая балерина. Между прочим, исполняла роль черкешенки в балете Дидло «Кавказский пленник, или Тень невесты», представленном в Петербурге 15 января 1823 г. 30 января того же года Пушкин в письме к брату Л. С. назвал её «Черкешенкой-Истоминой».

Эпизод дуэли из-за неё между двумя представителями петербургской «золотой» молодёжи, дуэли, кончившейся трагически для одного из них, Пушкин вспомнил в работе над романом «Русский Пелам».

XXIII

Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам

За лес и сало возит нам,
Всё, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, —
Всё украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

В поэтической форме изложен экскурс из истории русской промышленности и торговли начала XIX в.



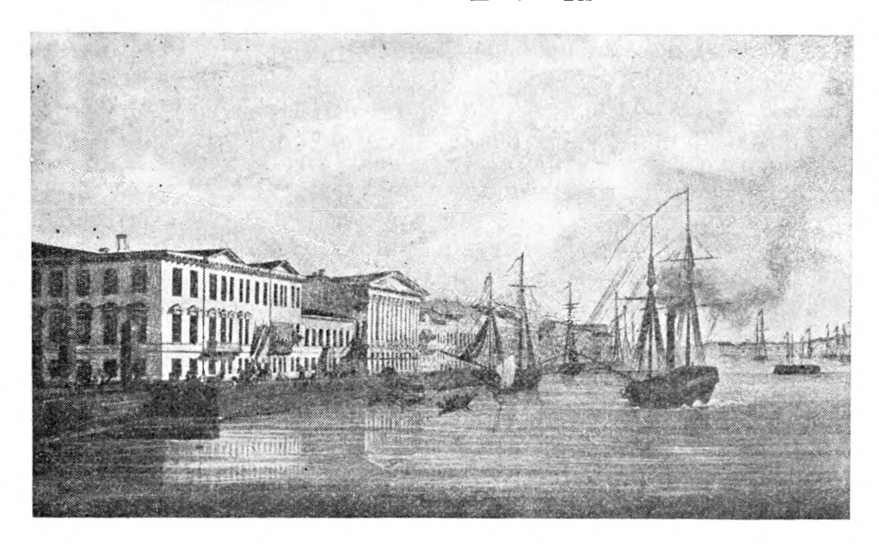
А. И. Истомина в роли Флоры (балет «Зефир и Флора»).

С гравюры Ф. Иордана, 1825.

Слово *щепетильный* введено было в русскую литературу писателем Вл. Лукиным в 1768 г. Этим словом он перевёл французский термин «Bijoutier» и пояснил следующим образом: «Невзирая на то, что подвергнуся хуле несметному числу мнимых в нашем языке знатоков, взял я к тому старинное слово «щепетильник», потому что все наши купцы, торгующие перстнями, серьгами, кольцами, запонками и прочим мелочным товаром, называются «щепетильниками». Очевидно, слово это в эпоху Пушкина, как предполагает Б. Томашевский, не потеряло ещё того оттенка, который ныне связывается с понятием «галантерейный»[64]. Действительно, А. А. Бестужев в письме к царю 1826 г. говорил: «У нас мещане кочуют, как цыгане, занимаясь щепетильною перепродажею»[65].

Онегин — «философ в осьмнадцать лет». Пушкин в «Послании к Юдину» (1815), описывая своё житьё-бытьё в сельце Захарове, писал:

...Живу с природной простотой,
С философической забавой
И с музой резвой и младой...
. . . .
...И снова я, философ скромный,
Укрылся в милый мне приют...[66]



Английская набережная в Петербурге.
С рисунка худ. Садовникова, 1833.

К лицейскому товарищу А. М. Горчакову Пушкин обращается в послании 1819 г.:

О ты, харит любовник своевольный,
Приятный льстец, язвительный болтун,
Попрежнему остряк небогомольный,
Попрежнему философ и шалун.

Я. Толстому, «ламписту», в «Стансах» 1819 г. он пишет:

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни...

Назвав Онегина философом, автор романа ничуть не иронизировал, а лишь отметил в этом дэнди наряду с его светскими забавами привычку размышлять и рассыпать блёстки ума в стиле салонного острословия, которым отличались многие из дворянского круга той эпохи. Любопытно признание В. Ф. Одоевского (в «Мнемозине»): «До сих пор философа не могут себе представить иначе, как бы в образе французского говоруна XVIII века, посему-то мы для отличия и называем истинных философов любомудрами».

XXIII—XXIV

Кабинет Онегина описан приёмом каталога вещей. Эпитет *чувств изнеженных отрада* характеризует «духи в гранёном хрустале» в отношении к ним человека. Такой эмоциональный при-

вкус вообще присущ пушкинским образам-вещам. Рассыпанные в романе простые определения: *пилочки стальные; прямые ножницы, кривые; пол дубовый; кровать, покрытая ковром; манежный хлыстик, лаковые доски, мраморные ступени* и т. п. не обнаруживают в авторе стремления к натуралистическим подробностям: вещи только обрамляют человека, привлекаются поэтому постольку, поскольку помогают уяснить психологический образ их владельца, привычки жизни или мимолётные настроения их собственников. Тафта, которой Онегин задёрнул полку пыльных книг, названа *траурной* (XLIV). Размышления героя по поводу содержания книг мрачные, мертвящие душу:

Там скука, там обман и бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.

Найдённое Пушкиным определение своей внутренней качественностью делает более ярким в воображении читателя образ того, кто «к жизни вовсе охладел» (XXXVIII). Диван *пуховый* (гл. II) — метко определяет старика, дядю Евгения, деревенского старожила обломовской складки; *душистый* чай, бегущий тёмною струёю по чашкам из китайского чайника (гл. III, строфа XXXVII), — рисует идиллическую обстановку в помещичьем гнезде («простая, русская семья») летним вечером; *услужливые* кости профессионального игрока на ярмарке; утихнувший в Новгороде Великом *мятежный* колокол; *величавые* парики — все эпитеты, каждый по-своему, подчёркивают в предмете психологическую насыщенность, обусловленную бытием общественного человека. В том же направлении толкают воображение, осложняя его характерными подробностями, другие описания, встречающиеся в романе (например, «модная келья» Евгения, глава VII, строфа XIX). Пушкин иногда употребляет картинные определения, но они не имеют самодовлеющего живописного назначения: они исключительно смыслового характера (*жёлтая шаль* семинариста, *красные каблуки* вельможи XVIII в., *красный кушак* ямщика и т. д.). Пушкинский эпитет в образах-вещах обычно эмоционален; в вещи отражается психологическая настроенность человека в данное мгновение: *благословенное* вино; бордо *благоразумный; высокопарный,* но *голодный* прейскурант; *молчаливый* кабинет; лорнет — *разочарованный, ревнивый, невнимательный, неотвязчивый, разыскательный;* дрожки *удалые; послушная* кукла; ящик *боевой;* памятник *унылый, смиренный; забвенью брошенный* возок; *дерзостные* своды; *неутомимы* наши тройки и т. д.

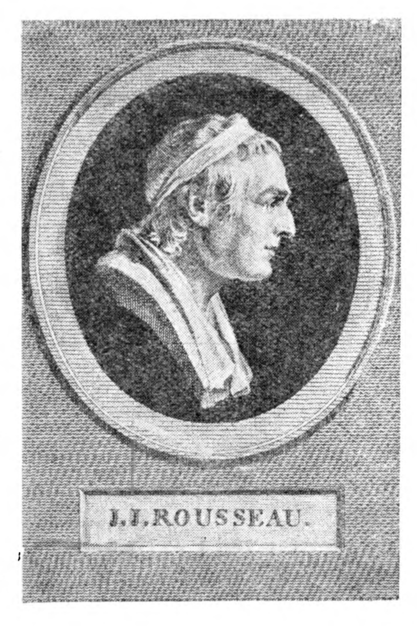
В романе заметно сказывается, как отражение бытовой обстановки разных классов, различие в количественном соотноше-

нии предметов материальной культуры: *пёстрый лапоть* пахаря, *звонкие кувшины* женщин, *рожок пастуший, лучинка* — зимний друг ночей в крестьянской избушке, *салазки* дворового мальчика, *бумажный колпак* немца-хлебника — совершенно тонут среди *фарфора* и *бронзы, янтаря* на *трубках Цареграда, гранёного хрусталя, зеркал, штофных обоев, портретов* на стенах *модных* и *старинных зал, каминов, биллиарда, канапе, манежного хлыстика, окованных позолоченным серебром альбомов, лорнетов, золотых серёг, пушистого боа, малинового берета, бобрового воротника* на шубе, *мягких ковров, шёлковых занавесей* и прочей собственности, принадлежавшей владельцам дворянских гнёзд (в городе и усадьбе).

XXIV

Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

Жан-Жак Руссо (1712—1778) — французский писатель и мыслитель, представитель демократического радикализма «эпохи просвещения», автор романа «Новая Элоиза» (см. упоминание о нём в III главе, строфы IX и X), многих трактатов общественного и педагогического содержания, оказавших мощное воздействие на разнообразные социальные группы. «Защитник вольности и прав» Руссо в «Общественном договоре» (1762) выставил знаменитое положение: «Человек родится на свет свободным, а между тем он везде в оковах». Этот трактат, сожжённый в Женеве, с энтузиазмом читался на улицах Парижа перед революционно настроенной массой «другом народа» Маратом. Председатель Национального собрания Броми ука-



Ж.-Ж. Руссо.
С гравюры Обен, из изд. 1801 г.

зывал, что «французы сознают, чем они обязаны тому, кто в своём «Общественном договоре» вернул людям равенство прав, а народам — узурпированный у них суверенитет» (см. комментарий к VI строфе II главы). Пушкин рано познакомился с сочинениями Руссо и упоминает о нём в стих. «К сестре» (1814), в «Первом послании к цензору» (1822) и т. д. В этой строфе он имеет в виду эпизод, рассказанный Руссо в «Исповеди» (см. 6-е примечание Пушкина): «Войдя однажды утром в комнату [Гримма], я застал его за чисткой ногтей щёточкой, нарочно для того сделанной — труд, который он гордо продолжал передо мною».

Пушкин называет Руссо «красноречивым сумасбродом» за его ошибочные взгляды, подобные следующим: «Вечно рассуждать — это мания мелких умов»; «науки и искусства совершенствуются, а люди становятся хуже... Люди порочны, они были бы ещё хуже, если бы они, по несчастью, родились учёными» и пр.

Фредерик-Мельхиор Гримм (1723—1807) — участник «Большой Энциклопедии», идейного органа французской предреволюционной буржуазии; литературный корреспондент европейских монархов (в частности, Екатерины II).

XXV

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.

К этим стихам сохранился черновой набросок:

Во всей Европе в наше время
Между воспитанных людей
Не почитается за бремя
Отделка нежная ногтей.
И ныне воин и придворный,
[Поэт] и либерал задорный,
И сладкогласный дипломат —
Готовы . . . .

А. Ф. Вельтман, встречавшийся с Пушкиным в 20-х годах в Кишинёве, вспоминал об одной «странности» поэта: он носил ногти длиннее ногтей «китайских учёных». Ту же черту отметил В. Даль в 1833 г. (в Оренбурге): «Пушкин носил ногти необыкновенной длины: это была причуда его» [67]. К. Полевой описал встречу с Пушкиным в Петербурге в 1828 г.: «Он жил в гостинице Демута. Когда к нему приходил гость, он... усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обык-

новенно чистил, обтачивал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями» [68].

XV—XXVIII, XXXV—XXXVI

Образ жизни Онегина зарисован, как это было уже указано Б. Л. Модзалевским [69], сходно с описанием времяпровождения петербургского щёголя в «Послании к петербургскому жителю» Я. Н. Толстого (автора сборника «Моё праздное время», СПБ 1821); Толстой был приятелем Пушкина по кружку «Зелёная лампа», в котором собиралась богатая светская молодёжь (Всеволожский, Щербинин, Юрьев, Энгельгардт, Каверин) для «сладкого безделья» и для разговоров о театральных, литературных и политических вопросах.

«Евгений Онегин»	«Послание» Я. Толстого
Бывало он ещё в постеле: К нему записочки несут. Что? Приглашенья? В самом деле, Три дома на вечер зовут...	Проснувшись поутру с обедней, К полудню кончишь туалет; Меж тем лежит уже в передней Зазывный на вечер билет.
...Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед.	Спешишь, как будто приневолен, Шагами мерить булевар. . . . . Прогулку кончивши, в карикле На званый завтрак ты спешишь, Но час обеденный уж близок.
...Но звон брегета им доносит, Что новый начался балет. . . . . Онегин полетел к театру... . . . . Двойной лорнет, скосясь, наводит На ложи незнакомых дам...	Пора, однакоже, карету Тебе закладывать велеть; Пора в театр: туда к балету, Я знаю, хочешь ты поспеть. И вот, чрез пять минут в спектакле Ты в ложах лорнируешь дам.
А уж Онегин вышел вон; Домой одеться едет он. . . . . Мы лучше поспешим на бал, Куда стремглав в ямской карете Уж мой Онегин поскакал. . . . . Вошёл. Полна народу зала... Музыка уж греметь устала; Толпа мазуркой занята...	Тебя зовут уже на танцы, И ты приехать слово дал; На лицах нежные румянцы Тебе сулят весёлый бал. Домой заехавши, фигурке Своей ты придал лучший тон, — И вот уж прыгаешь в мазурке...

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он...
. . . .
Но, шумом бала утомленный,
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши дитя.
Проснётся зá-полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра,
И завтра то же, что вчера.

С восходом солнца кончишь день,
Живя по модному уставу,
Тогда усталость, скука, лень,
Снесут в карету полумертва, —
И ты до полдня крепко спишь,
На завтра ж снова, моды жертва,
Веселью в сретенье летишь,
И снова начинаешь то же,
И так проходит круглый год.

Пушкин идёт по следам автора «Послания», повторяя подробности, их порядок, но, виртуозно играя планом Я. Толстого, даёт блестящий показательный урок, как одинаковый материал в руках двух стихотворцев может жить разной жизнью. Пушкин намеренно применил этот приём литературной игры и блестяще выиграл победу. Когда-то Я. Толстой просил Пушкина написать ему послание, чтоб новое творение «владыки рифмы и размера» помогло ему освободиться от недостатков его Музы:

Открой искусство мне столь сладко
Писать, как вечно пишешь ты,
Чтоб мог изображать я кратко
И сохранял бы красоты,
Чтоб нежность, вкус, витийства сила,
Что от богов тебе даны
И коими Руслан, Людмила
Удачно так облечены,
В моих стихах являлись с блеском
Таким же точно, как в твоих.

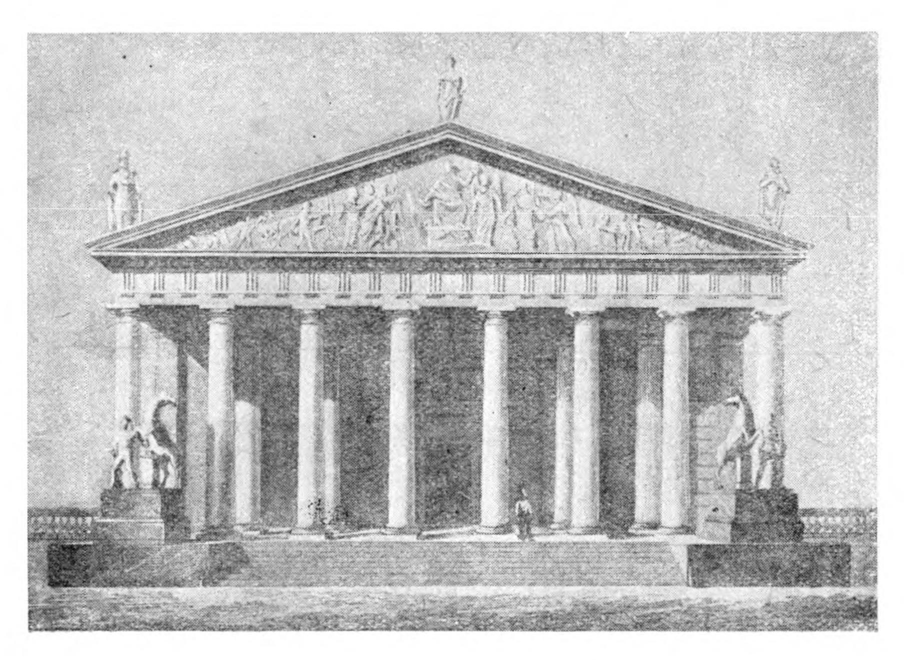
Пушкин, стилизуя и преобразовывая «Послание» Я. Толстого, демонстрировал товарищу по «Зелёной лампе» свою поэтическую манеру, которой тот хотел подражать:

Во вкусе медленном немецком.
Отвадь меня низать мой стих,
В моих строфах излишство слога
Резцом своим ты отколи
И от таланта хоть немного
Ты своего мне удели!

«Послание» Я. Толстого характеризовало светскую жизнь петербургского щёголя 20-х годов. Евгений отдавался ей с 16—17 лет со всем пылом юности:

Большого света блеск и шум
Давно пленяли юный ум.

Пушкин, до ссылки вращаясь в этом свете, имел перед собою множество живых людей, припомнившихся ему при создании романа. В Онегине — светском дэнди — должны были узнать себя многочисленные представители дворянской молодёжи. Необходимо, однако, отметить, что эта шумная и пёстрая жизнь не



Фасад манежа в Петербурге.
Худ. Горностаев, грав. Гоберт, 1834.

мешала известным слоям дворянства соединять её с умственной работой, с книжными увлечениями, с участием в беседах на серьёзные темы общественного содержания. А. И. Одоевский, которому постоянно читал нотации за его светское круженье его двоюродный брат, шеллингианец-любомудр В. Ф. Одоевский; А. А. Бестужев, «беззаботная жизнь которого, — по словам его биографа, — неслась среди смотров, учений, дежурств, балов, салонных разговоров, театральных зрелищ, обедов, уединённых занятий, а также и шумных бесед о вопросах и делах, которые сами же спорящие называли «тайными» [70] — вот два исторических лица, которые некоторый период своей жизни жили по-онегински.

Наиболее близкой к пушкинскому дэнди была фигура П. Я. Чаадаева (1794—1856), друга Пушкина, автора «Философических писем». Пушкин создал его знаменитый портрет: «мудрец, мечтатель и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель», гусарский офицер, который «в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес» и который в то же время по внешнему облику, стилю жизни, проявлениям характерных особенностей натуры в первом периоде его жизни был родственным онегинскому типу. Можно

с уверенностью предполагать, что овеянный легендарной славой «неподражательного» дэнди П. Я. Чаадаев дал немало материала Пушкину для зарисовки светского молодого человека 1819—1820 годов [71].

XXV

Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.

П. Я. Чаадаев славился своим дэндизмом. М. Жихарев, вспоминая о «необычайном изяществе одежды» Чаадаева, рассказывал: «Одевался он, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога (хотя разным портным, сапожникам, изящных дел мастерам и тому подобным лицам он платил очень много и гораздо больше, нежели следовало, беспрестанно меняя платье, а иногда и просто по привычке без всякого толка тратить деньги); напротив того, никаких драгоценностей, всего того, что зовут «bijou», на нём никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видел никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы с таким достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. Я не знаю, как одевались мистер Бреммель и ему подобные, и потому удержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дэндизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвёл почти на степень исторического значения» [72].

До какой щепетильности доходил Чаадаев, требовательный в соблюдении «правил» туалета и в этом смысле педант, показывает следующий факт из биографии пушкинского друга: «Грибоедов, уже назначенный в Персию, перед тем как идти к министру иностранных дел, вабежал к Чаадаеву в усах и на его вопрос, «не сошёл ли он с ума, собираясь к графу Нессельроде в таком виде?» отвечал:

— Что же тут удивительного? В Персии все носят усы.

— Ну, так ты в Персии их и отпустишь, а теперь сбрей: дипломаты в усах не ходят» [73].

Но Чаадаев не только этой стороной своей личности послужил натурой литературному портрету героя пушкинского романа, «примерному воспитаннику мод». Петербургское знакомство с блестящим офицером оставило в Пушкине память о психологи-


П. Я. Чаадаев. С портрета 1818 г.

ческом недомогании, разочарованности и скучающей пресыщенности этого светского франта и «милого домоседа». 6 февраля 1823 г. Пушкин писал Вяземскому: «Видишь ли ты иногда Чаадаева? Он вымыл мне голову за пленника. Он находит, что он недовольно blasé [74], Чаадаев, по несчастью, знаток по этой части; оживи его прекрасную душу, поэт!»

Брат Чаадаева, получив от него известие о радости, которую он испытал по приезде в Англию (в 1823 г.), встретил это известие, как неожиданное, непривычное: «С тобой это редко бывает, может быть, несколько лет этого с тобой не было. Гипохондрия! Меланхолия! Почему, прочитав, что ты [возликовал], и я с радости [возликовал]. Стало быть, ты ожил или начинаешь оживать к радостям земным... Если ты из чужих краёв сюда приедешь такой же больной и горький, как был, то тебя надо будет послать уж не в Англию, а в Сибирь» [75].

XXVI

...Я мог бы пред учёным светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать моё же дело:
Но п а н т а л о н ы, ф р а к, ж и л е т,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше б мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.

Пушкин указывает, что он встарь заглядывал в А к а д е м и ч е с к и й С л о в а р ь. Там, действительно, этих слов нет.

Шеститомный «Словарь Академии российской» 1789—1794 гг. не включал иностранных слов, отражая тенденции консервативных кругов дворянства, настроенных против языковых нововведений.

Автор романа стоял за обогащение языка, за расширение «иноплеменными словами» разговорной и книжной речи, если не было соответственных слов в коренном русском языке. Ирония заключалась в том, что ревнители отечественного языка употребляли названные слова на французском диалекте и находили их непристойными при разговоре на русском языке. Эти важные судьи-пуристы походили на институток, которые были в восторге, когда преподаватель Плетнёв читал им «Евгения Онегина», но когда он сказал: «Панталоны, фрак, жилет», они решили: «Какой, однако, Пушкин, индеса́» (от французского слова indécent — непристойный») [76].

Подчёркнутые Пушкиным слова давно уже вошли в печатный обиход: в стихотворении И. И. Дмитриева «Путешествие NN в Париж и Лондон» (1808), написанном с шутливыми намёками на дядю поэта, племянник В. Л. Пушкина, конечно, знавший эту шалость пера, читал:

Я в Лондоне, друзья...
Я вне себя от восхищенья.
В каких явлюсь я сапогах!
Какие фраки, панталоны!
Всему новейшие фасоны.

Отсутствовавшие в Академическом словаре эти три слова задолго до романа были включены в трёхтомный «Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту» (СПБ. 1803, 1804, 1806).



И рёвом скрыпок заглушён
Ревнивый шопот модных жён.

Выражение *модная жена* уже в XVIII в. получило определённую окраску, применялось к замужним женщинам, ветреным и развращённым. В сатирическом журнале Новикова «Трутень» (1769 г., ч. 1, лист 29) есть небольшое стихотворение под названием «Быль. Модная жена».

Любя, супругу муж избаловал потачкой,
Хотя и не был трус;
Однако им жена играет, как собачкой:
Страдает муж горячкой —

Жена о сем ничуть не дует в ус,
Имея с малых лет она в амурах вкус.
В болезни стонет муж: жена хохочет,
Вдовой быть хочет
И мужу говорит: «Когда, мой свет, умрёшь?»... и т. д.

В 1792 г. в «Московском журнале» появилась сказка И. И. Дмитриева «Модная жена», в которой в стиле новелл Боккаччо рассказан был эпизод, как «пригожая, умная и ловкая» молодая женщина сделала рогоносцем своего мужа, «старика с кривым глазом» Пролаза, который «в течение полвека всё полз да полз, да бил челом и, наконец, таким невинным ремеслом дополз до степени известна человека, то-есть стал с именем — я говорю ведь так, как говорится в свете, то-есть стал ездить он шестёркою в карете», и который

...хотя пролаз, но муж, как и другой,
И так же, как и все, ценою дорогой
Платил жене за нежны ласки.

Бегло брошенным образом «модной жены» Пушкин подчеркнул разложение семейных устоев в том светском кругу, где «рогоносцы величавые», «блаженные мужья» оставались друзьями любовников их жён, «кокеток записных» (XII строфа), где «суровое поведение» причудниц, «самолюбиво-равнодушных для вздохов страстных и похвал», оказывалось маской, приёмом игры в любовной авантюре (строфа XXIII главы III) [77].

XXX

Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость...

У Пушкина с младостью обычно было связано представление о радости, о сладости. Рифмы: *младость — радость — сладость* в его поэзии часты. В главе II (строфа XIX) встречаем:

Зато и пламенная младость
Не может ничего скрывать:
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.

Глава IV, строфа XXIII:

Здоровье, жизни цвет и сладость,
Улыбки, девственный покой,
Пропало всё, что звук пустой,
И меркнет милой Тани младость.

См. ещё в главе V, строфа VII.

В VI главе (строфа XLIV) Пушкин, прощаясь с своей молодостью («ужель мне скоро тридцать лет?»), воскликнул:

Мечты, мечты, где ваша сладость?
Где вечная к ней рифма — *младость*?

Здесь поэт вспомнил своё стихотворение «Пробуждение» (1816):

Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?

Изменялись настроения поэта, изменялось и отношение к «вечной» рифме: она ещё раз будет употреблена в романе, но уже в другом применении: старуху, тётку Татьяны, при встрече с родственниками поэт заставит рифмовать:

Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость...
Под старость жизнь такая гадость...

Рифма *младость-радость* была традиционной у поэтов XVIII в. и у современников Пушкина (Жуковский, Дельвиг, Вяземский и др.).

XXXII

Люблю её, мой друг Эльвина...

Эльвина — одно из условных поэтических имён, которые часто встречались в произведениях поэтов конца XVIII — начала XIX в. Имя это можно найти в ряде стихотворений Пушкина («К ней», 1816; «Наездники», 1816); чаще всего оно применялось поэтом к тем, к кому он обращался в XLIII строфе:

И вы, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой.

XXXIII

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою,
С любовью лечь к её ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!..

Мария Николаевна Раевская-Волконская, дочь генерала Н. Н. Раевского, в семействе которого Пушкин провёл время на Кавказе и в Крыму летом 1820 г., в своих «Записках» оставила признание, что эта строфа навеяна ею: «Пушкин был принят моим отцом в то время, когда его преследовал император Александр I за стихотворения, считавшиеся революционными. Отец когда-то принял участие в этом бедном молодом человеке с таким огромным талантом и взял его с собою на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно подорвано. Пушкин никогда этого не забывал; связанный дружбою с моими братьями, он питал ко всем нам чувство глубокой преданности.



М. Н. Раевская-Волконская.

Как поэт, он считал своим долгом быть влюблённым во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. Мне вспоминается, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей [сестра М. Н. Раевской], нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами и, не подозревая, что поэт шёл за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от неё; кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашёл, что эта картина была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет.

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к её ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Позже в поэме «Бахчисарайский фонтан» он сказал:

...её очи
яснее дня, темнее ночи.

В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал всё, что видел» [78].



Лобзать уста младых Армид...

Армида — имя героини поэмы Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим»: красавица-сарацинка полюбила христианского рыцаря-крестоносца Ринальдо и увезла его на далёкий остров, откуда тот бежал, но после долгих странствий признался Армиде в своей любви и объявил себя её рыцарем. Имя Армиды применялось в поэтическом языке современников Пушкина; см. у Батюшкова «Ответ А. И. Тургеневу» (1813), «К Д. В. Дашкову» (1812):

А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость...
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных Цирцей.

«Младые Армиды» упомянуты Пушкиным в стихотворении «Осень» (1830); в послании «К вельможе» (1830) Армидой названа королева Мария-Антуанетта.

XXXIV

Опять кипит воображенье,
Опять её прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь...

В поэтическом языке Пушкина для изображения процессов душевной жизни обычны метафоры из области кипения, горения или растительного мира.

Примеры в романе:

...Средь пылких дней
Кипящей младости моей (гл. I, строфа XXXIII).
Кипящий Ленский (гл. VI).
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом (гл. VII).
Ревнивым оживим *огнём* (гл. III).
Горел досадой взор его (гл. VII из рукописных вариантов).
Как *пламенно* красноречив (гл. I).
Погасший пепел уж не вспыхнет (гл. I).
Зато и *пламенная* младость (гл. II).
Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяне сердце *жгла* (гл. VI).
Кто знает, *пламенной* тоскою
Сгорите, может быть, и вы (гл. III из рукописных вариантов).

Питая *жар* чистейшей страсти (гл. III).
Когда страстей *угаснет* пламя (гл. II).
Нас *пыл* сердечный рано мучит (гл. I из рукописных вариантов).
Поэт *в жару* своих суждений (гл. II).
Не *вспыхнет* мысли в целы сутки (гл. VII).

К жизни вовсе *охладел* (гл. I).
Рано чувства в нём *остыли* (гл. I).
И резкий, *охлаждённый* ум (гл. I).
В обоих сердца жар *погас* (гл. I).

Ср. в «Руслане и Людмиле»:

Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир.

Поэтика романа сходна с поэтикой лирических стихотворений и поэм Пушкина. В «Кавказском пленнике» встречаем выражения: «*пламенная* младость», «*увядшее* сердце», «*охолодев* к мечтам и лире», «*погас* печальной жизни *пламень*», «*угасший* взор», «не вдруг *увянет* наша младость», «я *вяну* жертвою страстей», «моей души *печальный хлад*», «*и гасну* я, как пламень дымный» и др.

Весь этот метафорический словарь вырастал на почве поэтической традиции русской лирики. Достаточно указать на предшественника Пушкина, Батюшкова, чтоб убедиться, что поэтика романа в указанном выше отношении не была оригинальным завоеванием Пушкина.

Уже до Пушкина в лирике Батюшкова встречались подобные речения:

И в *пламенной* душе навеки начерталась...
Ещё в душе его *огонь*...
Но сердца тихий *жар*...
Я *вяну*, но ещё так *пламенно* люблю...
Тебя, младый Ринальд, *кипящий*, как Ахилл...
Изнемогает жизнь в груди моей *остылой*...
Хладные сердца...

XXXV

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробуждён.
Встаёт купец, идёт разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит...





Пирожник (слева); разносчик с книгами и сочинитель (справа).
С офортов из «Волшебного фонаря», изд. 1817 г.

Образ «неугомонного Петербурга» на фоне предшествующих строф (рисующих «забавы» модных чудаков и модных жён большого света) и следующей XXXVI строфы выступает в тех противоречиях, которые присущи были крупному городскому центру того времени: автор романа рано утром замечает купца, разносчика, извозчика, охтенку - молочницу, немца-хлебника,— представителей городского труда, в то время как «забав и роскоши дитя», «шумом бала утомленный» Онегин «спокойно спит в тени блаженной».



Кучер и блинник.
С офорта из того же издания.

XXXVII—XXXVIII; XLIII—XLV

В этих строфах образ Онегина раскрывается с тем комплексом идей, чувств, переживаний, который тянется к герою «Кавказского пленника» (1822) и поэтическому образу в пушкинской лирике до написания романа. Сам автор в предисловии к первому изданию романа указывал, что «дальновидные критики... станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского пленника, также некоторые строфы, писанные в утомительном роде новейших элегий, в коих чувство уныния поглотило все прочие». Сопоставляя образы Онегина и пленника, можно установить, что происхождение, образ жизни и душевный мир обоих вскрывают в какой-то мере единый социальный тип, обрисованный однородными приёмами:

«Евгений Онегин»	«Кавказский пленник»
Страстей игру мы знали оба... Он в первой юности своей Был *жертвой бурных заблуждений* И *необузданных страстей*.	*Страстями* сердце погубя... Я вяну *жертвою страстей*... Где *бурной жизнью* погубил Надежду, радость и желанье...
Отступник бурных наслаждений... Ему наскучил света шум...	*Отступник света*... . . . .
Мечтам невольная преданность...	В те дни, как верил я надежде И упоительным *мечтам*...
Красавицы не долго были Предмет его привычных дум; Измены утомить успели; Друзья и дружба надоели...	Людей и свет изведал он И знал неверной жизни цену. В сердцах друзей нашед измену, В мечтах любви безумный сон...
И хоть он был повеса пылкой, Но разлюбил он наконец И брань, и саблю, и свинец.	Любил он прежде игры славы И жаждой гибели горел. Невольник чести беспощадной, Вблизи видал он свой конец, На поединках твёрдый, хладный Встречая гибельный свинец.
Как он, отстал от *суеты*... Нет: рано чувства в нём *остыли*... Но к жизни вовсе *охладел*... В обоих сердца *жар погас*...	Наскуча жертвой быть привычной Давно презренной *суеты*... Моей души печальный *хлад*... Но поздно: умер я для счастья. Для нежных чувств *окаменел*. Уснув *бесчувственной* душою... И гасну я, как *пламень дымный*... *Погас* печальной *жизни пламень*...

Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.

Таил в молчаньи он глубоком
Движенья сердца своего,
И на челе его высоком
Не изменялось ничего.

Тот же круг переживаний, которому Пушкин дал в романе название «русской хандры», встречается в лирике поэта до ссылки и на юге. См. особенно «Погасло днéвное светило» (1820), «Ты прав, мой друг» (1821).

Выражение в XLIV строфе:

Томясь душевной пустотой —

заставляет вспомнить стихотворения «К моей чернильнице» (1821) и «Элегию» (1822):

Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты [79].

XXXVIII

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу...

«Хандра», «скука» и «тоска» — типичное для Онегина душевное состояние. Восемь лет, проведённых им в свете «среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений», наполненных разнообразными впечатлениями жизни, сменились годами однотонной скуки, ставшей его спутником на протяжении всего романа:

Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

Скука преследовала его везде — в столице и в деревне, среди «громад Кавказских» и на «брегах Каспийских вод».

Это душевное состояние, заставившее Онегина покинуть свет, вести уединённую жизнь, не было внезапным, оно подготовлялось постепенно: «хандра им овладела понемногу». Пушкин указал сложный клубок причин, приведших его героя к этому горькому чувству охлаждения к жизни, отметив даже случайные, временные причины («не всегда же мог [Онегин]... сыпать острые слова, когда болела голова») и не придавая последним,

разумеется, существенного значения. Внешне праздная жизнь, «безделье», привычка жить без труда («труд упорный ему был тошен»), весь этот груз векового барства, питавшегося общественным строем крепостничества, обеспеченной и беззаботной жизни за счёт барщинного и оброчного крестьянства, должны были создавать предпосылки для ощущения «душевной пустоты», для онегинской «зевоты». Но ведь какое же множество было разных NN среди «черни светской» —

Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат... и т. д. —

кто не испытывал ни в малейшей степени того «сплина», который преследовал Онегина!

Творческий труд писателя в известной мере мог бы освободить Евгения от его тоскливого недомогания, но, во-первых, его попытка заняться писательским делом кончилась неудачей из-за очевидного отсутствия призвания к литературному труду, а, во-вторых, как увидим ниже, онегинские настроения не были чужды и некоторым замечательным писателям этой эпохи; следовательно, если бы Онегин и попал в «цех задорный», к которому принадлежал Пушкин, его, как и автора романа, по каким-то причинам посещала бы та же «скука».

Попытка чтением заполнить чувство «душевной пустоты» была явно несостоятельной; то, что читал Онегин, лишь углубляло его переживания; в тех книгах, какие попадались ему, он находил «обман и бред; в том совести, в том смысла нет; на всех различные вериги». Пропагандист Адама Смита, он не мог удовлетворяться «стариной» («и устарела старина»); читая «новизну», приходил к выводу, что «старым бредит новизна», что сменяют одна другую различные идейные системы и в этом вечном круговороте бред старины прорывается через «новизну», создавая впечатление безвыходности, бесцельности жизни. Чтение не давало Онегину «толку», не выводило его из круга привычных настроений с к у к и и х а н д р ы. Он «из опалы исключил» нескольких авторов, но в их творениях он читал свою собственную исповедь, встречал своё лицо, свои раздумья и чувства.

Характеризуя того литературного героя, который был близок Евгению, Пушкин среди других черт отмечает в нём безмерную склонность к мечтанью и озлобленный ум, кипящий в действии пустом (XXII строфа главы VII).

Мы приблизились к отгадке главной причины онегинской «скуки». То, что он видел в жизни, не соответствовало его мечтам; его ум озлоблялся и охлаждался, анализируя окружавщую действительность; кипенью сил мешала та же действительность, ставя преграды, превращая личную жизнь в нечто пустое. «О н е-

гин мог быть счастлив или несчастлив только в действительности и через действительность» — так понял Белинский причину онегинского недуга как следствия «некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств» (1844).

Недугом, подобным английскому сплину, онегинством, поражены были многие из дворянского круга, близкого Пушкину. К. Н. Батюшков в 1811—1812 гг. в отрывке «Прогулка по Москве» рисовал почти автобиографический портрет героя,

Который посреди рассеянной столицы
Тихонько замечал характеры и лицы
Забавных москвичей;
Который с год зевал на балах богачей,
Зевал в концерте и в собранье,
Зевал на скачке, на гулянье,
Везде равно зевал...

В. Ф. Одоевский в «Дневнике студента» признавался: «Жизнь мне снова становилась скучною, тягостною».

О М. А. Щербинине, участнике «Зелёной лампы», приятеле Пушкина, его мать писала вскоре после выхода его в отставку (1821): «От души желаю, чтобы он свою хандру оставил бы в Москве»; приехав в деревню, он продолжал скучать: «Мне здесь скучно...» [80]

Если эти меланхолические признания вырывались у людей, не обнаруживавших склонности к общественному делу, пассивно выражавших лишь своё отвращение к пошлости обыденной жизни, то та же объективная жизнь в её косной стихии вызывала более обострённое, более едкое чувство скуки, хандры в той среде, которая мечтала о сдвигах и переменах в общественной жизни, которая иногда попадала в страдающее положение, слышала окрик чиновных Скалозубов, ощущала тяжёлую и давящую лапу деспотического строя.

У Пушкина в политической ссылке то и дело прорывались стоны: «мне скучно»; «у меня хандра»; «скука смертная везде»; «тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне»; «скучно — вот и всё»; «часто бываю подвержен так называемой хандре»; «скука есть одна из принадлежностей мыслящего человека».

Н. И. Тургенев в 1814 г. завёл «Книгу скуки», и когда в 1820 г. закончилась неудачей его попытка обратиться к правительству с предложением начать освобождение страны от рабства, он писал в дневнике 1 июня: «Безнадёжность моя достигла высочайшей степени... Скучная, мрачная будущность, одинокая старость, морозы, эгоисты и бедствия непрерывные отечества — вот что для меня остаётся!» Его брат С. И. Тургенев в связи с той же

неудачей писал 15 июля 1820 г.: «Теперь всё веселье моё исчезло. Наши противники обдали меня холодной водой, их любимым элементом, и я проснулся поневоле».

П. А. Вяземский, подписавший вместе с Тургеневым записку к царю (см. ниже), в конце июня того же 1820 г. писал С. И. Тургеневу: «Нельзя жить для пользы, то хотя жить надобно на радость и перенести то, что живого есть в душе, в какое-нибудь бытие поэтическое, а не то совсем протухнешь. Пока ещё воображение не увяло и сердце не обветшало, есть где уйти от скуки. Но что предстоит, когда баснословная эпоха жизни издержится и придёт время, что надоест ходить по облакам, а рассудком и душою потребуется поверять очевидностью следы, означенные по дороге перешедшей? Тогда-то русская жизнь во всей своей худощавой наготе, во всей своей плоской безобразности представится взору, и длинный ряд нулей окажется в итоге бытия промотанного». И вновь возвращаясь к этой теме бессилия что-либо сделать среди «злобы, глупости и гнусности», Вяземский приходил к мрачной оценке русской жизни. «На нас от рождения нашёл убийственный столбняк: ни век Екатерины, со всей уродливостью своею, век, многообещавший, ни 1812 год, — ничто не могло нас расшевелить. Пошатнуло немного, а тут опять эта проклятая Медузина голова, т. е. невежество гражданское и политическое, окаменило то, что начинало согреваться чувством».

Пушкин тонкими намёками показал, что именно эта Медузина голова была главной причиной онегинской скуки как факта общественной психологии в известных кругах дворянского класса. Его прозвали «опаснейшим человеком». Мы знаем, какое содержание вкладывали в эти слова хозяева положения в городе и в усадьбе: точно так же прокламировали в 1820 г. всю группу молодых либералистов петербургские крепостники-вельможи, соединяя с «опасным человеком» представление о «якобинцах» (см. комментарий к II главе).

Онегин не служил, и это было его фрондёрством, своеобразной формой дворянской оппозиции против режима, где надо было «прислуживаться», как отвечал Чацкий Фамусову. Так же поступили Вяземский и Чаадаев; так сделал Батюшков, сказавший: «К службе вовсе не гожусь»; так сделали Я. И. Сабуров, «избалованный светским воспитанием и лёгкими успехами», потом бросивший службу в гусарском полку и светский блеск для чтения книг и изучения русской жизни, и В. А. Ушаков, из гвардейского офицера, «самого щеголеватого и притом мечтателя, «романической головы», превратившийся в обложенного книгами деревенского анахорета» [81].

Пушкин не раз отмечал в своём герое честь и гордость, качества, считавшиеся поэтом обязательными для независимого

дворянина. Но мы знаем от того же Пушкина, как «без гордости спесивые» баре ценили больше «почести», чем «честь», как всё трепетало перед тем, кто «полон злобы, полон мести», был «без ума, без чувств, без чести», как вельможи вроде Воронцова-«полуподлеца» третировали поэта. Честь Онегина приходилась не ко двору там, где главенствовали «почётные подлецы» и «холопья добровольные»[82].

Онегин жил без дел, «ничем заняться не умел». Быть офицером, чиновником, деловым помещиком, — эти три единственные возможные формы деятельности в то время не могли прельстить его. На обвинения в лени, в бездействии со стороны тех, кто занимал вышеуказанные места и должности, Онегин мог бы повторить слова Батюшкова: «Что значит моя лень? лень человека, который читает или рассуждает! Нет... если бы я строил мельницы, пивоварни, обманывал и исповедывал, то верно б прослыл честным и притом деятельным человеком».

Вяземский в 1824 г. на упрёк в лени ответил, что скука скоро осадит «усталого зрителя людских проказ»:

Поспешно отворотишь взоры
От наших былей-небылиц,
Кляня действительные вздоры
Несчастных действующих лиц;
Тогда раскаешься в упрёке,
Прибегнешь к праздности моей...[83]

Да и самый ум Онегина, который нравился поэту своим «резким, охлаждённым» характером, разве не был причиной «мильона терзаний» у некоторых его современников? «Горе от ума» выпало на долю Чацкого, ум доводил иных до безумия, безумным прославили в 20-х годах героя пьесы Грибоедова его враги, несколько позже безумным прозвали пушкинского друга Чаадаева, сам автор «Онегина», почти всю жизнь «гонимый самовластьем», должен был с горечью воскликнуть: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!» «Ум, любя простор, теснит», — говорил Пушкин в той строфе, где защищал своего героя от «неблагосклонных» отзывов о нём всяческих NN. Эти многочисленные представители «посредственности» дружным хором говорили о «странностях» Онегина. «Пасмурный чудак» мог бы их спросить, как Чацкий Софью:

Я странен? А не странен кто ж?
Тот, кто на всех глупцов похож,
Молчалин, например?..

Есть в романе ещё один намёк на гнетущее воздействие социально-политической действительности как фактора, создавшего недуг онегинства. Этот намёк мельком брошен, но смысл

его на фоне общественных явлений того времени легко раскрывается:

Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

(XLV строфа)

Ф о р т у н а, р о к, с у д ь б а — в пушкинской поэтике обычный символ косной стихии объективного мира, символ зла, насилия, гнёта, анчаровского начала в исторической жизни народа.

Мы знаем, как «роковая власть» царской деспотии расправилась с автором романа, но нам неизвестны факты проявления злобы с л е п о й Ф о р т у н ы в биографии его друга, его доброго приятеля. Остаётся предположить, что, по замыслу Пушкина, злобные проявления политического порядка или ожидали Онегина или, во всяком случае, отравляюще и охлаждающе действовали на мечтательного юношу, способствовали его «угрюмости». Вспомним, кстати, булгаринскую аттестацию молодых либералов с «лицейским духом»: «какая-то насмешливая угрюмость (morgue) вечно затемняет чело сих юношей, и оно проясняется только в часы буйной весёлости» [84].

У г р ю м о с т ь так въелась в Онегина с той поры, как он «к жизни вовсе охладел», что он появлялся у г р ю м ы й и в гостиных, «не замечая ничего», и даже тогда, когда встречался с замужнею Татьяной:

...*угрюмый,*
Неловкий, он едва-едва
Ей отвечает...

(Гл. VIII, строфа XXII)

З л о б а л ю д е й по адресу молодого Онегина осталась в романе нераскрытой. Пушкин подменил воздействие людей, власть имущих (см. факты в биографии Чацкого), бытовым воздействием среды, что, конечно, затушевало в читательском восприятии мрачный образ «Медузиной головы»; но это в конце концов не снимает вопроса о существенном влиянии на развитие онегинства общественных отношений [85]. В воспоминаниях Онегина об его ранних впечатлениях от большого света главное место занимает именно общественная среда, её специфические формы проявления:

То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных...

(Гл. VIII, строфа XXXVII) [86]

«Медузина голова» политического строя, давшего торжество «изношенным глупцам, святым невеждам, почётным подлецам», должна была окаменять (по выражению Вяземского) особенно тех, в чьих жилах текла «холодная, ленивая» кровь, кому в удел был дан не восторженный энтузиазм стремления к подвигу борьбы, а скептицизм, склонность к желчным выходкам, кто в холоде жизни приобретал привычку «презирать людей».

Онегин — сложная и противоречивая натура; в приёмах обрисовки его мы должны видеть одно из первых применений в художественной литературе того творческого метода, который впоследствии так мощно развернулся у Л. Толстого и который Чернышевским был определён как уменье художника показать «диалектику души».

Евгений — мечтатель с резким умом, пылкий и охлаждённый, чувствительный и угрюмый, снисходительный и злой, томный и проворный, «одним на время очарован, разочарованный другим»; «в нём души прямое благородство» и мстительное чувство, побуждавшее шептать Ольге «какой-то пошлый мадригал»; «он презирал вообще людей» и в то же время «иных он очень отличал и вчуже чувство уважал» — и вся эта амальгама различных настроений и наклонностей преломляется (особенно в ранней молодости) через своеобразную форму аристократизма — капризного эгоцентризма, небрежной повадки дэнди, барственной пренебрежительности к тому, что требовало серьёзного и внимательного отношения; именно так, барственно, глядя на всё сверху вниз, Онегин «задумал порядок новый (в деревне) учредить» — чтоб только время проводить; играя чувствами, страшась по-светски «ложного стыда», оказался рабом общественного мнения им же презираемых людей и убил друга, которого любил.

В этом противоречивом характере, развивавшемся в малоподвижном общественном быту (в сравнительно узкой социальной прослойке) без заметных потрясений и угроз близкой катастрофы — черты холодности, «души ленивой» в соединении с «резким охлаждённым умом» играли большую роль в развитии того недуга, которым был поражён Онегин. Он «застрелиться, слава богу, попробовать не захотел», но среди Онегиных были люди, которые находили выход из своего недомогания в самоубийстве: так, один молодой офицер оставил письмо, в котором заявляет, что «застрелился потому, что надоело ему жить» [87]. Автор «Горя от ума», испытавший «мильон терзаний» от того политического строя, в котором обречены были на онегинство многие передовые дворяне, обращался к своему другу со словами, полными предчувствия страшного конца. «Я с некоторых пор мрачен до крайности, — писал 12 сентября 1825 г. Грибоедов С. Бегичеву. — Мой бесценный Степан... сделай одол-

жение, подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди!» Скука, хандра упорно преследовали этого «пламенного мечтателя в краю вечных снегов» (см. письмо к Бегичеву от 9 декабря 1826 г.). В переписке Грибоедова, как и у многих его современников, то и дело встречаются признания: «К моей скуке я умел примешать разнообразие... скучаю попеременно то с деловыми безделиями, то в разговорах с товарищами. Весёлость утрачена» (1820, февраль); «Налегла на меня необъяснимая мрачность» (1823, январь); «Со временем у тебя поищу прибежища не от бурь, не от угрызающих скорбей, но решительно от пустоты душевной» (из письма С. Н. Бегичеву, 4 января 1825 г.); «Мне невесело, скучно, отвратительно, несносно» (9 сентября 1825 г.); «Так скучно! Так грустно! Думал помочь тебе, взялся за перо, но пишется нехотя... Скажи мне что-нибудь в отраду... Представь себе, со мной повторилась ипохондрия, но теперь в такой усиленной степени, как ещё никогда не было» (12 сентября 1825 г.) [88].

Пушкин закончил первую и вторую главы романа в 1823 г.; Онегин был представлен в них вполне сложившимся характером.

Пушкину на юге оставались неизвестными те обстоятельства, которые привели к перестройке в рядах членов Союза благоденствия, к организации Северного и Южного обществ; в ссылке он хотя и вращался среди будущих декабристов, но внешне он слышал одни лишь разговоры своих «демократических друзей»; конспирация южан, закрывавшая перед непосвящённым неясные, но революционные перспективы будущего, вызывала у Пушкина горький осадок политического одиночества:

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты...
. . . .
Живу печальный, одинокий,
И жду: придёт ли мой конец? [89]

Внутренняя политика в стране в годы реакции усиливала среди тех, кто не был связан с тайной организацией, тоскливые настроения. На Западе, который привлекал пристальное внимание дворянской интеллигенции, потерпели поражение революционные попытки в ряде стран (в Испании, Италии и др.), раздавленные Священным союзом монархов, что также возбуждало среди русских либералов безнадёжные чувства: «Народы Европы вместо обещанной свободы увидали себя утеснёнными, просвещение — сжатым. Тюрьмы Пьемонта, Сардинии, Неаполя, вообще всей Италии, Германии наполнились скованными гражданами.

И судьба народов стала столь тягостной, что они пожалели время прошлое и благословляют память завоевателя Наполеона!.. Некая тишина лежит теперь на пространстве твёрдой земли просвещённой Европы...» Так характеризовал П. Каховский то положение дел на Западе в эпоху реставрации, которое вызвало у Пушкина в конце ноября 1823 г. трагедийное стихотворение «Свободы сеятель пустынный».

В такой атмосфере начат был роман на тему о молодом человеке 20-х годов. Онегин первых глав отражал один из моментов общественной жизни этой эпохи, когда ещё не настала пора для выхода на историческую сцену общественного героя из лагеря декабристов с рылеевским пафосом революционного действия, хотя бы и обречённого на гибель.

Но если скептицизм холодного ума Онегина не тянул его к активным людям, даже идейно близким ему (впрочем, его другом был тот, кому поэт пророчил судьбу Рылеева на виселице), то это не значит, что типом того времени был декабрист, а не Онегин, как думал в 60-х годах Герцен, в статье «Ещё раз Базаров».

Именно Онегин был типичной фигурой того времени. Александр Раевский, пушкинский «демон», один из прототипов Евгения, был в этом смысле характерной, далеко не единственной фигурой среди «охлаждённых» дворян 20-х годов (ср. Чаадаева, Вяземского, Грибоедова). Но Онегин, как правильно было указано Белинским, лучше всего познаётся через действительность. Мы должны сказать, что при известных обстоятельствах перед Онегиным его же ум и «роптанье вечное души» могут поставить на очередь необходимость перестроить его обычную жизнь, могут выдвинуть то чувство долга, когда личное, доселе эгоистическое, будет понято им, как личное, связанное с общественным делом. Пушкин так и собирался кончить биографию Онегина. Но для того, чтобы возник план включить Евгения в ряды декабристов, требовались предпосылки в самом интеллекте и мировоззрении пушкинского героя. В пушкинском понимании Онегина они, очевидно, были. Это авторское понимание мы не должны сбрасывать со счетов при суждении об общественном типе Онегина, при суждении об общественном значении онегинской скуки в преддекабрьскую эпоху.

XLII

Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама,
Но вообще их разговор —
Несносный, хоть невинный вздор.

Сэй (Say) — французский либеральный буржуазный экономист (1767—1832). Некоторые его сочинения были изданы в русском переводе, в их числе «Сокращённое учение о государственном хозяйстве», 1816 (на французское издание «Traité d'économie politique», 1803, дважды ссылался NN в статье «О деньгах» в «Вестнике Европы», 1824, № 2).

С именем Сэя в русских читательских кругах были связаны факты, о которых, действительно, могли знать «иные дамы». Сэй вскоре после вступления русских войск в Париж (1814) выпустил 2-е издание своего «Трактата политической экономии» (1-е изд. — 1803 г.), не пропущенное наполеоновской цензурой, с посвящением Александру I. Несколько лет спустя между тем же Сэем и немцем Шторхом, преподававшим политическую экономию великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам, разгорелась полемика по поводу парижского издания курса лекций Шторха с примечаниями Сэя, где издатели указали на все заимствования автора из сочинений Сэя, Смита, Бентама и других экономистов. Шторх выступил против Сэя, обвиняя его в краже литературной собственности; Сэй в свою очередь в особом письме в редакцию французского журнала (январь 1825 г.) доказывал, что $^{3}/_{4}$ сочинений Шторха — «текстуальная копия» других авторов, в частности «Трактата» Сэя [90].

Бентам (1748—1832) — английский учёный-юрист, теоретик промышленной буржуазии, её морали — главенства личного интереса, в оценке К. Маркса, «педантически-трезвый, болтливый оракул ограниченного сознания буржуа».

Оба писателя были популярны среди будущих декабристов; Розен в своих записках писал: «С 1822 года между офицерами всё чаще слышны были суждения о политической экономии Сэя». Пестель советовал читать Сэя, Адама Смита; в Южном обществе, по словам А. Поджио, многие читали Сэя и Бентама, причём один из них, Н. Крюков, начал переводить Сэя и выписал из его сочинения следующее: «Революции нового времени, разрушив известные предрассудки, изощрив умы и опрокинув неудобные преграды, повидимому, были скорее благоприятны, чем вредны, для успехов развития богатства»; в библиотеке декабриста Шаховского были сочинения Сэя, Бентама, А. Смита [91].

XLV—XLVI

Образ Онегина и характеристика взаимоотношений между ним и автором романа заставляют припомнить стихотворение Пушкина «Демон» (1823). Сходство содержания ещё более усиливается при сопоставлении черновых набросков «Демона» с вариантами к XLV строфе:

«Демон» (черновики)

Таков он был...
Моё спокойное [беспечное] незнанье
Он [размышленьем] возмущал,
И я его существованье
С своим, невинным, сочетал.
Я видел мир его глазами...
Непостижимое волненье
Меня к лукавому влекло...
Я стал взирать его глазами,
Мне жизни дался бедный клад,
С его неясными словами
Моя душа звучала в лад.

Наброски из черновиков I главы «Евгения Онегина»

Мне было грустно, тяжко, больно,
Но, одолев [мой ум] в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе.
Я стал взирать его очами,
С его печальными речами
Мои слова звучали в лад...
Мою задумчивую младость
Он для мечтаний охладил —
Я неописанную сладость
В его беседах находил.
Я стал взирать его очами,
[Открыл] я жизни бедный клад
В замену прежних заблуждений,
В замену веры и надежд
Для легкомысленных невежд.

Таким образом, Демон как бы объединяется с Онегиным (см. ещё XII строфу VIII главы). Современники Пушкина узнавали в Демоне Александра Николаевича Раевского, с которым поэт путешествовал в 20-х годах по Кавказу и встречался в Одессе. Один из знакомых Раевского говорил о нем: «Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании». Пушкин собирался печатно возразить против подобного отождествления его Демона с реальной личностью: «Иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своём странном стихотворении, но, кажется, они неправы; по крайней мере я вижу в Демоне, — читаем мы в его заметке, — цель иную, более нравственную...» Близость содержания «Демона» с данными строфами романа привела одних исследователей к заключению, что в числе прототипов Онегина мог быть А. Н. Раевский; другие указывали, что «демоническое» настроение, в котором сам Пушкин видел отражение характерных особенностей дворянской моло-



А. Н. Раевский.

дёжи его времени, представляет собой один из моментов в развитии мировоззрения поэта.

Если припомнить признание В. Ф. Одоевского в связи с «Демоном» Пушкина: «С каким сумрачным наслаждением читал я произведение, где поэт России так живо олицетворил те непонятные чувствования, которые холодят нашу душу посреди восторгов самых пламенных» [92], если присоединить признание Пушкина в связи с «Кавказским пленником», что «равнодушие к жизни и к её наслаждениям, преждевременная старость души сделались отличительными чертами молодёжи XIX века», то следует признать, что в «демонизме» Онегина Пушкин отразил одну из особенностей общественной психологии того круга, к которому принадлежали А. Раевский, В. Одоевский, П. Я. Чаадаев, сам автор и многие другие [93].



Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь...

«Воспомня...». Пушкин дважды употребил эту форму церковно-славянского происхождения. В романе церковно-славянизмы — один из элементов русского литературного языка — весьма заметны: 1) в лексике — употребление таких слов, как *хладный, младой, златой, драгой, власы, вежды, град, жребий, сей, на брегах, мгла древес; сени сада, гробницы; подъемлют, стократ, ныне, доле* и т. п., 2) в фонетических особенностях — *распущённые власы, запущённый сад,* — иногда отражающихся на рифменной огласовке:

Под сению смиренной
Цвела, как ландыш потаённый.

На ветви сосны преклонённой...
Над этой урною смиренной.

Эта церковно-книжная струя в языке Пушкина, как и у других его современников, перемежалась с живым говором, с обыденной речью: славянская форма *воспомня* существовала у Пушкина вместе с русской формой *вспомнил* (глава IV, стр. XI); *молодой* (глава I, стр. II и др.) и *младая* (глава I, стр. XXXIII и др.), *чувствий* (глава IV, стр. XI) и *чувств* (глава I, стр. XXIV), *змия* (стр. XLVI) и *змей* (стр. XXII) и т. д. Лексическая неустойчивость, придавая языку романа характер пестроты, смеси разнородных элементов, соответствовала состоянию литературного языка первых десятилетий XIX в.



Пушкин и Онегин на набережной Невы.
Зарисовка Пушкина в письме к брату (нач. ноября 1824 г.).

XLVIII

С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит.

Пушкин в примечании указывает на строфу из стихотворения М. Н. Муравьёва (1757—1807) «Богине Невы»:

Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.

В начале ноября 1824 г. Пушкин писал брату Льву Сергеевичу: «Брат, вот тебе картинка для «Онегина» — найди искусный и быстрый карандаш. Если и будет другая, так чтоб всё в том же местоположении. Та же сцена, слышишь ли? Это мне нужно непременно». На обороте листка начерчены карандашом: крепость, лодка на Неве, набережная и, опершись на гранит, двое мужчин. Над каждым предметом цифры, а внизу написано: «1. Хорош. 2. Должен быть — опершися на гранит. 3. Лодка. 4. Крепость Петропавловская».



Онегин и Пушкин.
С рис. А. Нотбек, гравюра Е. Гейтман, 1829.

В половине ноября 1824 г. Пушкин спрашивал брата: «Будет ли картинка у Онегина?»

Первое издание романа вышло без картинки. Она была перерисована А. Нотбеком и приложена в гравюре Е. Гейтмана к «Невскому альманаху» на 1829 г. вместе с другими рисунками к «Онегину». Рисунок Нотбека вызвал эпиграмму Пушкина:

Вот перешед чрез мост Кокушкин,
Опёршись задом о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С мосье Онегиным стоит.
Не удостоивая взглядом
Твердыню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом:
Не плюй в колодец, милый мой.

И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая.

Здесь имеется в виду роговая музыка, оркестровая забава русского дворянства, а вовсе не «мелодия пастушьего рожка», как это думает А. Грушкин, автор книжки «К вопросу о классовой сущности пушкинского творчества» (1931). Ср. «рожок пастуший», глава III, строфа XXXII и глава IV, строфа XLI.

Отличительной чертой роговой музыки было то, что каждый музыкант в оркестре мог извлекать из своего инструмента-рога звук только одного тона.



Но слаще средь ночных забав
Напев Торкватовых октав.

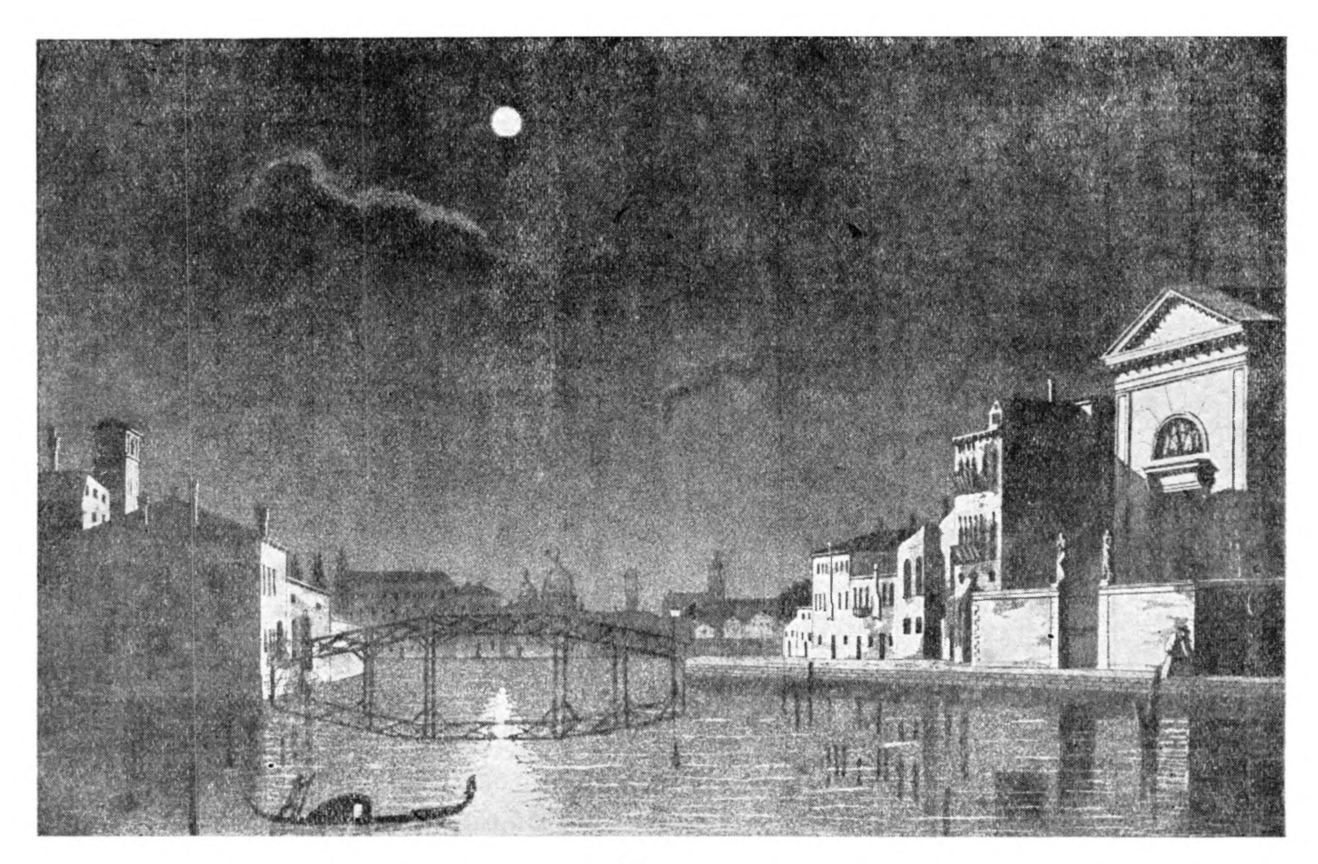
Октава — строфа из 8 стихов рифмовки abababcc. Один из современников Пушкина, С. Раич, переводчик «Освобождённого Иерусалима», так характеризовал этот размер итальянской поэзии: «Октава состоит из 8 одиннадцатисложных стихов; первый имеет рифму с третьим и пятым, второй с четвёртым и шестым, седьмой с осьмым. Стихи не подчинены строгой цезуре — она может иметь место после 4, 6 и 8 слога. Долгие слоги перемешиваются с короткими музыкально, по законам утончённого звука, или, если можно так выразиться, по такту сердца... Каждая, или почти каждая октава, разделяясь на две равновесные части, имеет какую-то округлость, симметрию, полноту, словом — это отдельно взятое небольшое сочинение, в котором есть начало, середина и конец...» (С. Раич, О переводе эпических поэм южной Европы и в особенности итальянских. «Сочинения в прозе и стихах. Труды Общества любителей Российской Словесности при Московском университете», ч. III, М. 1823, стр. 209).

У Пушкина октавами написаны «Домик в Коломне» и «Осень».

Ещё в 1814 г. в стихотворении «Городок» находим признание Пушкина о его любви к Тассо:

На полке за Вольтером
Вергилий, Тасс с Гомером,
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.

В 1827 г., припоминая переданное Байроном в одном из примечаний к IV песне «Чайльд-Гарольда» предание, что венецианские гондольеры (лодочники) поют октавы Тассо из «Освобождённого Иерусалима», Пушкин называет главных героев поэмы



Ночь в Венеции.

Худ. А. Тоссини, грав. А. Лаццари.

(стих. «Близ мест, где царствует Венеция златая»); в том же году он вновь вспомнил «волшебный край» — Италию,

Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы.

XLIX

Адриатические волны,
О Брента![94] нет, увижу вас,
И вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!

На юге у Пушкина была мысль бежать за границу. В январе 1824 г. из Одессы он писал брату, что его ходатайство об отпуске дважды было отклонено: «Осталось одно... взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь...» Есть указание, что В. Ф. Вяземская, жена приятеля Пушкина, пыталась содействовать побегу Пушкина из Одессы, «искала ему денег, гребное судно»[95].

Накануне ссылки и в первые годы жизни на юге Пушкин чувствовал временную утрату поэтического вдохновенья. Так, в эпилоге к «Руслану и Людмиле» находим следующие строки:

Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой —
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений;
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, весёлых снов,
Пора сердечных вдохновений!

В стихотворениях:

И ты, моя задумчивая лира...
Найдёшь ли вновь утраченные звуки...

(Черновой вариант стих. «Кто видел край...», 1821)

Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений.

(«Война», 1821)



По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.

Альбион — древнее наименование Англии; слово кельтского происхождения (происходит, по одной гипотезе, от слов Alb —

высокий и in, ion — остров; след., Albion — «высокий остров», «горный остров»; название сохранилось доныне у шотландцев: Albain — «горная страна»); выражение «гордый Альбион» стало господствующим во Франции с 1793 г. (см. «Meyers Lexicon», I Bd., 1924, стр. 296). Здесь Пушкин применил эпитет *гордый* к поэзии Байрона.

С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

Петрарка (1304—1374) — итальянский поэт, известный сонетами и канцонами, в которых воспел свою возлюбленную Лауру. Пушкин ещё раз припомнил этого мастера любовной лирики в LVIII строфе I главы; из канцоны Петрарки он взял две строчки для эпиграфа VI главы романа.



Фр. Петрарка.
С миниатюры 1400 г.

Пушкин ценил лирику Петрарки как поэтическую исповедь «высших радостей любви». В 1830 г., перечисляя творцов сонета, Пушкин писал:

Суровый Дант не презирал сонета;
В нём жар любви Петрарка изливал...
(«Сонет»)

L

Под небом Африки моей...

В первом издании романа Пушкин давал к этому стиху примечание: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского». Надежда Осиповна, его мать, была дочерью капитана морской артиллерии Осипа Абрамовича Ганнибала (1744—1806) и М. А. Пушкиной. Очерк жизни прадеда поэта А. П. Ганнибала, полный неточностей, был приложен к первому изданию романа в 1825 г. Б. Л. Модзалевский в статье «Род Пушкиных» устанавливает, что А. П. Ганнибал родился в Абиссинии, мальчиком в качестве заложника прожил более года в Константинополе в султанском серале и по поручению Петра I был вывезен русским посланником в Москву. Пушкин пристально интересовался историей своих предков Ганнибалов и в своих сочинениях нередко вспоминал об этом («Воспоминания в Царском Селе», «Ф. Ф. Юрьеву», «Арап Петра Великого», «Моя родословная»). В послании Языкову (Михайловское, 20 сентября 1824 г.) он писал:

Услышь, поэт, моё призванье,
Моих надежд не обмани.
В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой, арап,
Где, позабыв Елизаветы
И двор и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей,
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей, —
Я жду тебя...



Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

В лирических стихотворениях за разные годы поэт часто повторял этот мотив, стилизуя итог личного опыта в форме сентиментально-романтических элегий. (См., например, в 1816 г. —

«Желание», «Элегия», «Наслажденье»; в 1819 г. — «К А. М. Горчакову»; в 1820 г. — «Мне вас не жаль, года весны моей», «Элегия», «Погасло дневное светило»). Последнее стихотворение тематически особенно сходно с L строфой.

LI

Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.

Тема судьбы — одна из характерных в поэзии Пушкина. Обычное определение её в лирике Пушкина: *жестокая, гневная, грозная, злая, горькая, тёмная, несправедливая, завистливая.*

Так как Пушкин был сослан на юг весной 1820 г., то очевидно, что Евгений Онегин, в это же время получив известие о кончине дяди, сделался «сельским жителем» с лета 1820 г. (см. LIII, LIV строфы). С этого момента надо хронологизировать события, происшедшие в дальнейших главах; во II, III и IV главах время действия — лето 1820 г.; XL и XLI строфы IV главы — осень 1820 г.; V и VI главы — январь 1821 г.; VII глава начинается описанием весны того же года (см. далее комментарий к «Отрывкам из путешествия Онегина»).

LV

Я был рождён для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.

Начальные строки обнаруживают мотив, сходный с стихотворением «Деревня» (1819):

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединеньи величавом
Слышнее ваш отрадный глас;
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне,
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине.

Поэзия «жизни мирной», «деревенской тишины» — один из наиболее повторных мотивов в творчестве Пушкина. О «деревенской свободе» в «отдалённой сени» «от суеты столицы праздной», «под сенью дедовских лесов», «с цевницей, негой и природой», о

«поместье мирном» в «наследственной сени» с особым чувством умиленья говорит в своей лирике Пушкин (см., например, «Уединение», «В. В. Энгельгардту», «А. Орлову», «Домовому» — стихотворения только за один 1819 г.); и позже поэт мечтал спасти Болдинское поместье, бездоходное и перезаложенное.

Il far niente — мой закон.

Il far niente — итальянское выражение, обозначает ничегонеделание. Образ жизни, далее изображённый, был свойственен той классовой группе, которая имела возможность жить «для сладкой неги и свободы». Вот картинка одного дня жизни близкого поэту человека (из письма К. Н. Батюшкова Н. И. Гнедичу, 30 сент. 1810 г.):

«. . .Праздность и бездействие есть мать всего, и между тем и прочим, болезней». Вот что ты мне пишешь, трудолюбивая пчела. . . Смысл грешит против истины, первое — потому, что я пребываю не празден.

В сутках 24 часа.

Из оных 10 или 12 пребываю в постели и занят сном и снами.

1 час курю табак.

1 — одеваюсь.

3 часа упражняюсь в искусстве убивать время, называемом il dolce far niente. [96]

1 — обедаю.

1 — варит желудок.

$^1/_4$ часа смотрю на закат солнечный. Это время, скажешь ты, потерянное? Неправда! Озеров всегда провожал солнце за горизонт, а лучше моего пишет стихи, а он деятельнее и меня и тебя.

$^3/_4$ часа в сутках должно вычесть на некоторые естественные нужды, которые г-жа природа, как будто в наказание за излишнюю деятельность героям, врагам человечества, бездельникам, судьям и дурным писателям, для блага человечества присудила провождать в прогулке вперёд и назад по лестнице, в гардеробе и проч. О, humanité! [97]

1 час употребляю на воспоминание друзей, из которых $^1/_2$ помышляю о тебе.

1 час занимаюсь собаками, а они суть живая практическая дружба, а их у меня, по милости небес, три: две белых, одна чёрная.

$^1/_2$ часа читаю Тасса.

$^1/_2$ — раскаиваюсь, что его переводил.

3 часа зеваю в ожидании ночи.

Заметь, о мой друг, что все люди ожидают ночи, как блага, все вообще, а я — человек!

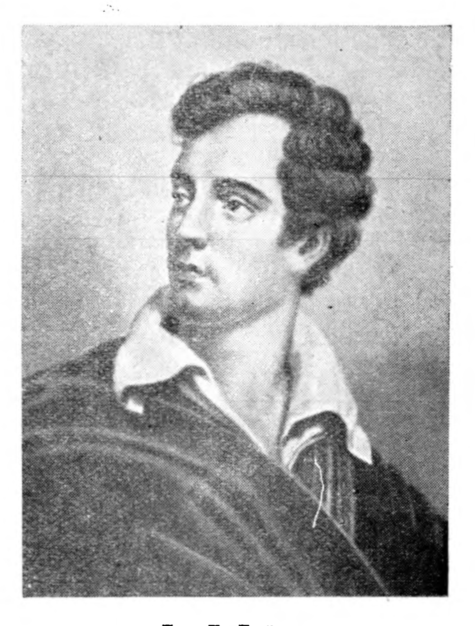
Итого 24 часа.

Из всего следует, что я не празден...» [98]

LVI

Как Байрон, гордости поэт...

Байрон (1788—1824) — в оценке Пушкина «властитель дум» современного ему поколения либеральной дворянской молодёжи. Пушкин познакомился с его сочинениями ещё до ссылки и особенно на юге (1820), при посредстве Н. Н. Раевского, и, по словам поэта, «сошёл с ума от Байрона...»



Дж.-Г. Байрон.

С литографии Жюльен, принадлежавшей А. С. Пушкину.

В Байроне и его героях поэта привлекли черты независимости, образы людей, дорожащих честью и личным достоинством. Гордость Онегина и Ленского (см. в вариантах: гордый Ленский) выделяет их из круга «холопьев добровольных», каких было большинство. Пушкин в мае — июне 1825 г. писал Бестужеву: «Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы... Подлец Воронцов... воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою — а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин. Дьявольская разница!..» Когда Рылеев указал Пушкину, что ему не к лицу чваниться 600-летним дворянством, Пушкин вновь стал защищать своё право на независимость: «Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость etc.».

А. М. Горький превосходно разъяснил причины, побуждавшие Пушкина гордиться своим «древним происхождением»: «Очень

вероятно, что частые указания Пушкина на своё дворянство вызывались следующими причинами:

1. В ту пору Александр, постепенно отдаляя от себя русских, заменял их немцами — во главе государства становились люди с именами Клейнмихель, Адлерберг, Бенкендорф и т. д. По свидетельству Якушкина и других декабристов, это явление тревожило дворян и сливалось с общим оппозиционным настроением молодёжи.

Вспомните: они смотрели на себя, как на победителей Европы, а их ставили под команду немцев.

2. Не менее вероятно и то, что лично Пушкин вкладывал в понятие дворянства чувство собственного достоинства, сознание своей человеческой ценности и внутренней свободы». [99]

В романе, помимо I главы, упоминания о Байроне и его сочинениях в главе III, строфа XII; главе IV, строфы XXXVI, XXXVII; главе V, строфа XXII; главе VII, строфы XXII, XXIV; главе VIII, строфа VIII.

Эти нередкие упоминания о Байроне в романе — черта, характерная для читательских интересов современников поэта. Но необходимо отметить, что Пушкин и по своему мировоззрению и творческому методу ложно понимался теми его почитателями, которые видели в нём «северного Байрона». Автор романа «Евгений Онегин» исторически правильно был оценен Белинским, который в восьмой пушкинской статье писал: «При сравнении «Онегина» Пушкина с «Дон-Хуаном», «Чайльд-Гарольдом» и «Беппо» Байрона нельзя найти ничего общего, кроме формы и манеры. Не только содержание, но и дух поэм Байрона уничтожает всякую возможность существенного сходства между ими и «Онегиным» Пушкина. Байрон писал о Европе для Европы... Пушкин писал о России для России, — и мы видим признак его самобытного и гениального таланта в том, что, верный своей натуре, совершенно противоположной натуре Байрона, и своему художническому инстинкту, он далёк был от того, чтобы соблазниться создать что-нибудь в байроновском роде, пиша русский роман... Он заботился не о том, чтоб походить на Байрона, а о том, чтоб быть самим собою и быть верным той действительности, до него ещё непочатой и нетронутой, которая просилась под перо его...» Добавим к этому признанию оригинальности, народности русского гения, данному Белинским, столь же ценное в историческом плане суждение другого революционного демократа — Герцена, который чётко вскрыл основное различие между Пушкиным и Байроном: «Пушкин знал все страдания цивилизованного человека, но у него была вера в будущее, которой человек Запада уже лишился. Байрон, великая свободная личность, человек, уединяющийся в своей независимости и всё более и более закутывающийся в своё

высокомерие, в свою гордую скептическую философию, становится всё более мрачным и непримиримым. Он не видел никакого близкого будущего...»

XVII

Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.

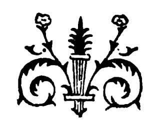
Пушкин имеет в виду свои поэмы «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан»: «дева гор» — черкешенка, «пленницы берегов Салгира» — Мария и Зарема. Салгир — в пушкинском словаре означал крымскую реку вообще [100].

Один из современников поэта, В. И. Туманский, передавая свои впечатления от знакомства с семейством Раевских, с которыми Пушкин путешествовал в Крыму и на Кавказе, писал 5 декабря 1823 г. своей сестре: «Мария [Раевская] — идеал пушкинской черкешенки [собственное выражение поэта]» [101].

LIX

Перо, забывшись, не рисует
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов...

Черновые тетради Пушкина испещрены такими рисунками. I глава романа оканчивалась в Одессе; по наблюдению П. В. Анненкова, первого исследователя пушкинских рукописей, «многочисленные профили прекрасной женской головы, спокойного, благородного, величавого типа, идут почти по всем бумагам из одесского периода жизни [Пушкина]». Предполагают, что это профили жены новороссийского генерал-губернатора Воронцова Е. К. Воронцовой, которой Пушкин был увлечён в годы пребывания в Одессе.





ГЛАВА ВТОРАЯ

O rus!
Hor.
О Русь!

O rus! буквально — «О деревня!» Выражение взято из VI сатиры римского поэта Горация (65—8 гг. до н. э.) и в сопоставлении с созвучным русским словом представляет игру слов, дающую горький намёк на те впечатления, которые выносил поэт от русской жизни за годы ссылки в деревню (с 9 августа 1824 г. по 4 сентября 1826 г.). В письме от 13 августа 1824 г. кн. П. Вяземский так писал А. И. Тургеневу о ссылке Пушкина: «Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека! Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство — заточить пылкого юношу в деревне русской?.. Неужели в столицах нет людей более виновных Пушкина? Сколько вижу из них обрызганных грязью и кровью! А тут за необдуманное слово, за неосторожный стих предают человека на жертву... Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? Должно точно быть богатырём духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина!» [1]



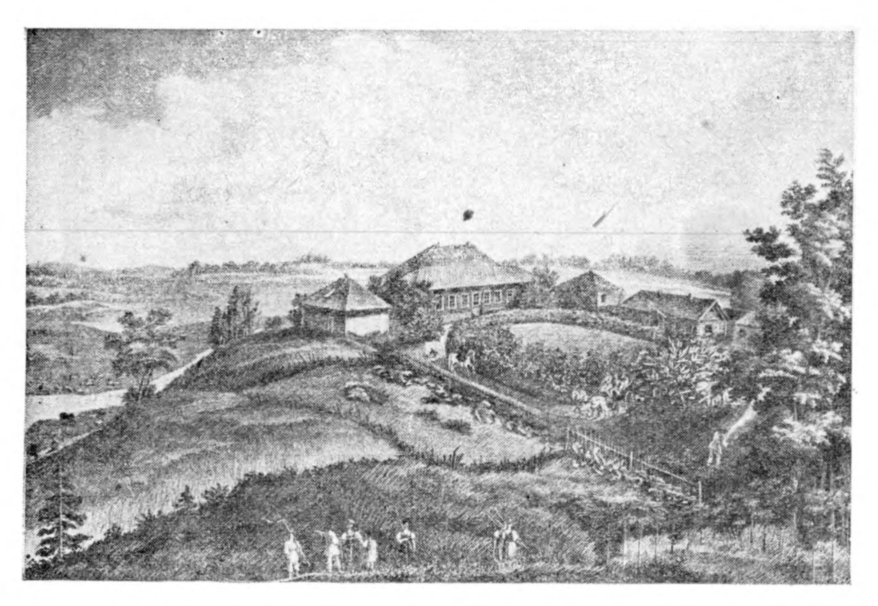
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.

Друг невинных наслаждений — опять-таки (как и в эпиграфе) ироническое отношение к сентиментально-идиллическим зарисовкам деревенской природы и жизни, характерным для дворянско-усадебной лирики конца XVIII и начала XIX века. Пушкин и сам отдал дань этим настроениям. См., например, сти-

хотворение «Дубравы, где в тиши свободы...» (1818); или послание В. В. Энгельгардту (1819):

Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клёны огорода,
Пустынной речки берега
[вариант: «Озёр пустынных берега»]
И деревенская свобода.

Ещё: «Орлову» (1819), «Домовому» (1819), «Деревня» (1819) — первая половина стихотворения.



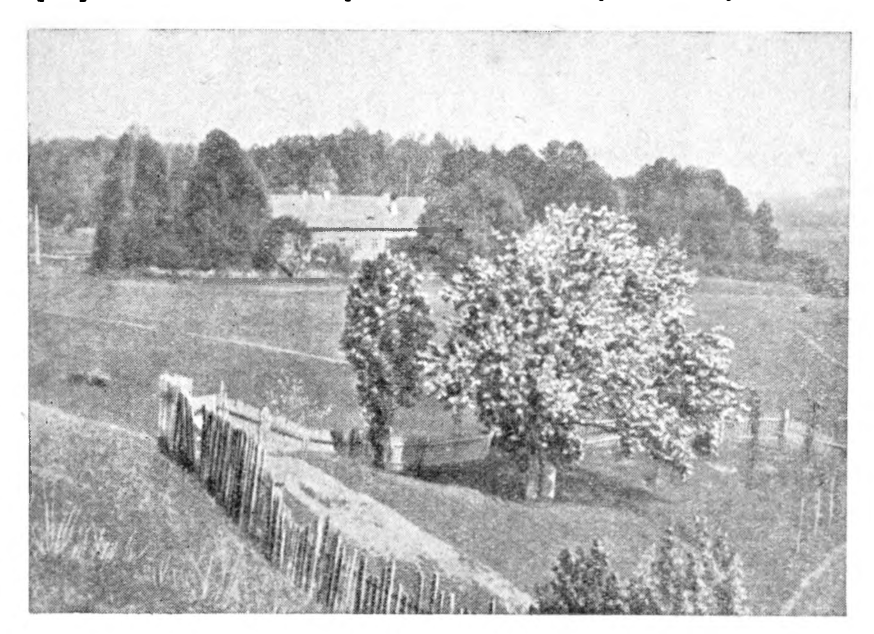
Село Михайловское.
С литографии 1837 г.

Усадебный пейзаж этой строфы несомненно отражает впечатления поэта от «владений дедовских» — с. Михайловского. Так как II глава была окончена в южной ссылке Пушкина в Одессе 8 декабря 1823 г., то это, несомненно, впечатления от посещений Михайловского в 1817 г. (лето по окончании лицея) и в 1819 г. (28 дней после горячки — тифа). Ср. пейзаж в стих. «Деревня»; сходную картину даёт Н. М. Языков в стих. «На смерть няни Пушкина» (1830):

Там, где на дол с горы отлогой
Разнообразно сходит бор
В виду реки и двух озёр
И нив с извилистой дорогой,

Где, древним садом окружён,
Господский дом уединенный
Дряхлеет, памятник почтенный
Елизаветинских времён, —
Нас полных юности и вольных
Там было трое...[2]

«С площади [где стоял прежде барский дом] открывается прекрасный вид, километров на 12, на долину, по которой вьётся



Общий вид усадьбы в селе Тригорском.
С фотографии.

серебристая лента реки... Прямо перед зрителем, на противоположном берегу Сороти, на холмах — деревня Зимари, левее на плоском месте — Дедовцы...»[3]

Пушкин очень любил свой «малый сад» (см. стих. «Домовому», где также отразились черты Михайловского пейзажа), огромный парк (10 десятин). «Замечательна въездная аллея из гигантских елей, которым в среднем 200—250 лет» (Устимович). В 1825 г. на прогулке из Тригорского в Михайловское Пушкин ведёт А. П. Керн, не входя в дом, «прямо в старый, запущенный сад, «приют задумчивых дриад» с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетаясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника [Пушкина] вздрагивать. Тётушка [П. А. Осипова, владелица Тригорского],

приехавши туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pouchkin, faites les honneurs de votre jardin à Madame» [Милый Пушкин, будьте любезны показать ваш сад госпоже Керн]» [4].

О с. Михайловском и Тригорском см. также пропущенные строфы из «Путешествия Онегина» и стих. «Вновь я посетил...» (1835).

II

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.

В июньском письме 1825 г. Пушкин пишет П. А. Осиповой, уехавшей из своего имения Тригорского: «Вчера я посетил Тригорский замок, сад и библиотеку...» Возможно, что, описывая «почтенный замок», Пушкин имел в виду именно Тригорский барский дом, но тогда название з а м к а, применённое к деревянному дому из 10 комнат с 32 окнами [5], надо рассматривать только как отзвук феодальной фразеологии. «Господский дом» Плюшкина был назван так же: «дряхлым инвалидом глядел сей странный з а м о к, длинный непомерно» («Мёртвые души», глава VI).

III

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.

«Деревенский старожил», волей или неволей засевший в своей крепостной вотчине, после манифеста Петра III (18 февраля 1762 г.), давшего служащим дворянам право отставки по их усмотрению, становился явлением типическим, надолго сохранившимся в барской усадебной жизни (ср. Обломов-отец у Гончарова). Позднее (в 30-х годах) Пушкин выдвигал положительные стороны этого образа (старик Дубровский, Андрей Петрович Гринёв); здесь же им дана сатирическая зарисовка «скупого дяди-богача», давно бросившего чтение. Трудно сказать, какими непосредственными впечатлениями подсказывался поэту этот художественно обобщённый образ.

И календарь осьмого года...

Возможно, что это «Месяцеслов на лето от Р. Хр. 1808, которое есть высокосное, содержащее в себе 366 дней, сочинённый на знатнейшие места Российской Империи в СПБ при имп. Акад. Наук». Кроме общекалендарных сведений, содержал в себе подробный перечень «достопамятнейших происшествий в 1806 и 1807 годах». Ср. Гринёва-отца, который «по целым часам» читал «Придворный календарь» издания Академии наук; в нём печатался список кавалеров всех российских орденов.

IV

Ярем он барщины старинной[6]
Оброком лёгким заменил...

Барщина — одна из форм крепостнической организации крестьянского труда: крестьянин был обязан часть своего времени затрачивать в барском производстве, на барской «хлебной фабрике». Так как закон долгое время не определял точно ни рода работы, ни числа рабочих дней, то всё зависело от произвола помещика; даже после закона 1797 г. (о трёхдневной барщине и досуге в праздничные дни) крестьяне иногда работали на помещика целую неделю, а в страдную пору и по ночам.

При оброчной системе крестьянин обязывался вносить помещику или известное количество продуктов своего хозяйства или определённую сумму денег. При полной беззащитности крестьян перед законом («крестьянин в законе мёртв», — говорил ещё Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву») и здесь не было границ произволу барина-крепостника.

Барщина и оброк как формы эксплоатации помещиком крепостного хозяйства противопоставляются в этой строфе романа. Дядя Онегина обрабатывал землю даровым крепостным трудом в форме барщины. В конце XVIII и в начале XIX в. в помещичьих имениях барщина была господствующей формой эксплоатации земледельческого труда, как наиболее доходная сравнительно с оброчной (в последней четверти XVIII в. оброк — 7 руб. серебром, барщина — 14 руб. серебром). Но барщинное хозяйство, вызывая крестьянское малоземелье, толкает крепостных крестьян к отходу на сторону, к заведению разных промыслов, словом, обусловливает развитие другой формы — крестьянской промышленности. «С ростом барщинного хозяйства число отходящих на промыслы, по статистическим данным, непрерывно растёт. Помещик и сам это поощряет как новую доходную статью в своём хозяйстве. Оброк в крепостном хозяйстве становится формой обложения промышленной деятельности крестьянства»[7].

Дядя Онегина применял крепостной труд на своей дворянской фабрике (у него были «заводы»). Но с течением времени дворянская фабрика не могла уже конкурировать с крестьянской промышленностью; из крестьянской мастерки и крестьянского торга вырастал молодой русский капитализм, требовавший «освобождения от социальных и политических феодальных пут, искавший оформления в капиталистическом буржуазном строе» [8].

Евгений, некогда читавший Адама Смита, своей аграрной реформой осуществлял интересы нового класса, молодой буржуазии. Его «расчётливый сосед», увидевший «страшный вред» в учреждении Онегиным «нового порядка» эксплоатации крепостного труда, принадлежал к той помещичьей группе, которая защищала систему дворянского натурального хозяйства, требовала от правительства дальнейшего упрочения крепостного права, добивалась дворянского главенства в разнообразных областях экономической деятельности. Евгений был в глазах соседей-помещиков «опаснейшим чудаком», так как его реформа раскрепощения крестьянского промысла (ср. «И раб судьбу благословил»), клонившаяся к освобождению личности крестьянина, подтачивала феодальные основы помещичьего хозяйства, стояла в противоречии с крепостнически-дворянскими интересами.

Итак, дворянин Евгений Онегин осуществлял недворянскую программу? Как могло это случиться? Применяя этот вопрос к декабристам, которые, будучи дворянскими революционерами, выражали программу нарождавшегося промышленного капитализма, стали носителями как будто социально чуждой программы, Н. Рубинштейн дал ответ, объясняющий и общественное поведение Евгения в IV строфе: «В процессе хозяйственного кризиса и эволюции новых социально-экономических отношений исторически изживающий себя класс переживает процесс внутреннего разложения и распада. В этом процессе передовые группы постепенно отходят от своей классовой позиции и, подчиняясь историческому движению эпохи, начинают осуществлять программу нового, грядущего класса» [9].

По словам Пушкина, Евгений, «порядка враг и расточитель», учреждает «новый порядок», «чтоб только время проводить», но это не исключает возможности считать пушкинского героя примыкающим к либеральным течениям в дворянстве 20-х годов (см. комментарий к I и X главам).

Либеральный опыт дворянина-помещика Онегина и отношение к нему помещичьей среды находят аналогии в близком Пушкину кругу дворянской интеллигенции. Николай Тургенев, подавший в 1819 г. Александру I записку о крепостном праве «Нечто о крепостном состоянии в России», ещё в сентябре 1818 г. уничтожил у себя в имении барщину и посадил крестьян на оброк, о чём брат его, Александр, писал П. Вяземскому 18 сентября того же

года: «Брат возвратился из деревни и тебе кланяется. Он привёл там в действие либерализм свой: уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших, уменьшил через то доходы наши. Но поступил справедливо, следовательно, и согласно с нашею пользою».

В мае 1818 г. Н. И. Тургенев, посылая П. Вяземскому журнал «Сын отечества», обращал его внимание на № 17, где была напечатана статья Куницына (лицейского учителя Пушкина) против крепостного права. Вяземский «тотчас бросился на указанную статью и прочёл её с удовольствием». Поддерживаемый «судорожными порывами либеральности» передовых слоёв дворянства, Вяземский стал обдумывать план освобождения своих крестьян. В начале 1819 г. он встречается в Петербурге с Н. И. Тургеневым и заводит с ним разговор о попытке литовских дворян освободить крепостных, а в январе 1820 г. он уже сообщает брату Николая Тургенева, Сергею Ивановичу, свой план освобождения крестьян. Так в кругу Тургеневых и Вяземского возникла идея составить «общество помещиков разного мнения, но единодушного стремления к добру и пользе» и при содействии правительства приступить к «уничтожению рабства».

Чрезвычайно характерны мотивы, которые привели князя Вяземского к идее подобной организации: страх перед крестьянским восстанием, желание сохранить свои классовые привилегии в будущем, «свободном» общественном строе, реформированном «по манию царя», опирающегося на просвещённую верхушку дворянства [10]. Вот что он писал 6 февраля 1820 г. Александру Тургеневу: «Святое и великое дело было бы собраться помещикам разного мнения, но единодушного стремления к добру и пользе, и, без всякой огласки, без всяких наступательных предположений, рассмотреть и развить подробно сей важный запрос, домогаться средств к лучшему приступу к действию и тогда уже, так или сяк, обнародовать его и мысль поставить на ноги. Правительство не могло бы видеть худым оком такое намерение, ибо в состав такого общества вошли бы люди и ему приверженные, и неприметным образом имели бы мы своё правое, левое и среднее отделение. Подумайте об этом, а я взялся бы пояснить свою мысль и постановить некоторые основы, на коих должно бы утвердиться такое общество; означить грани, за кои не могло бы оно видов своих перенести, и прочее. Поверьте, если мы чего-нибудь такого не сделаем, то придётся нам отвечать перед совестью. Мы призваны, по крайней мере, слегка перебрать стихии, в коих таится наше будущее. Такое приготовление умерит стремительность и свирепость их опрокидания. Правительство не даёт ни привета, ни ответа; народ завсегда, пока не взбесится, дремлет. Кому же, как не тем, которым дано прозрение неминуемого и средства действовать в смысле этого грядущего и тем самым угладить ему дороги и

устранить препятствия, пагубные и для ездоков и для пешеходов, кому же, как не тем, приступить к делу или, по крайности, к рассмотрению дела, коего событие неотменно и, так сказать, в естественном ходе вещей? Ибо там, где учат грамоте, там от большого количества народа не скроешь, что рабство — уродливость и что свобода, коей они лишены, так же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце. Тиранство могло пустить по миру одного Велизария, но выколоть глаза целому народу — вещь невозможная... Рабство на теле государства российского нарост; не закидывая взоров вдаль, положим за истину, что нарост этот подлежит срезанию, и начнём толковать о средствах, как его срезать вернейшим образом, и так, чтобы рана затянулась скорее... Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожим его, уничтожим всякие предбудущие замыслы.

Кому же, как не нам, приступить к этому делу?.. Корысть наличная, обеспечение настоящего, польза будущего, — всё от этой меры зависит. Без сомнения, начнём разом, более пятидесяти человек, которые охотно запишутся в это общество [11].

Против молодых «либералистов» дружно восстали крепостники-помещики: «Со всех сторон все на нас вооружились, одержимые хамобесием, — записывает в дневнике Н. Тургенев 7 июня 1820 г., — публика восстаёт в особенности против наших имён. Претекст её — небогатство наше, малое число наших крестьян. Я полагал, что этого претекста недостаточно. Искал его в аристократическом образе мыслей наших богатых или знатных людей — если, впрочем, эти архи-хамы имеют что-нибудь общего с какою бы то ни было аристократией. Наконец, слышав и то, и другое, я покуда уверился, что негодование против нас происходит от того, что о нас разумеет эта публика как о людях опасных, о якобинцах. Вот, как мне теперь кажется, вся загадка» [12].

V

«Сосед наш неуч, сумасбродит;
Он фармазон; он пьёт одно
Стаканом красное вино...»

Таков был «общий глас» соседей Евгения Онегина. Ср. голоса московского дворянства о Чацком:

Что? к фармазонам в клоб? Пошёл он
в бусурманы?..
...В его лета с ума спрыгнул!..
Шампанское стаканами тянул.
— Бутылками-с — и пребольшими.
— Нет-с, бочками сороковыми...

Фармазон — искажённое франкмасон, член тайной ложи масонов. Масонство — социально-консервативное, на религиозно-мистической основе, течение среди русского барства XVIII в., слагавшееся под воздействием западноевропейских образцов и служившее своеобразным протестом против косной церковной ортодоксии и поверхностных проявлений французской просветительной мысли на русской почве. Обывательская масса соединяла в одном лице масона и вольтерьянца, а последний казался разрушителем всего священного. Графиня-бабушка так обеими кличками и называет Чацкого: «окаянный вольтерьянец», он в то же время «фармазон». В 10-х годах XIX в. либерально настроенная дворянская молодёжь пыталась использовать в своих целях масонские ложи. Многие из будущих декабристов прошли через эту форму организации собирания общественных сил. Пушкин состоял членом кишинёвской ложи Овидия, память о которой звучит в его послании к П. С. Пущину (1821):

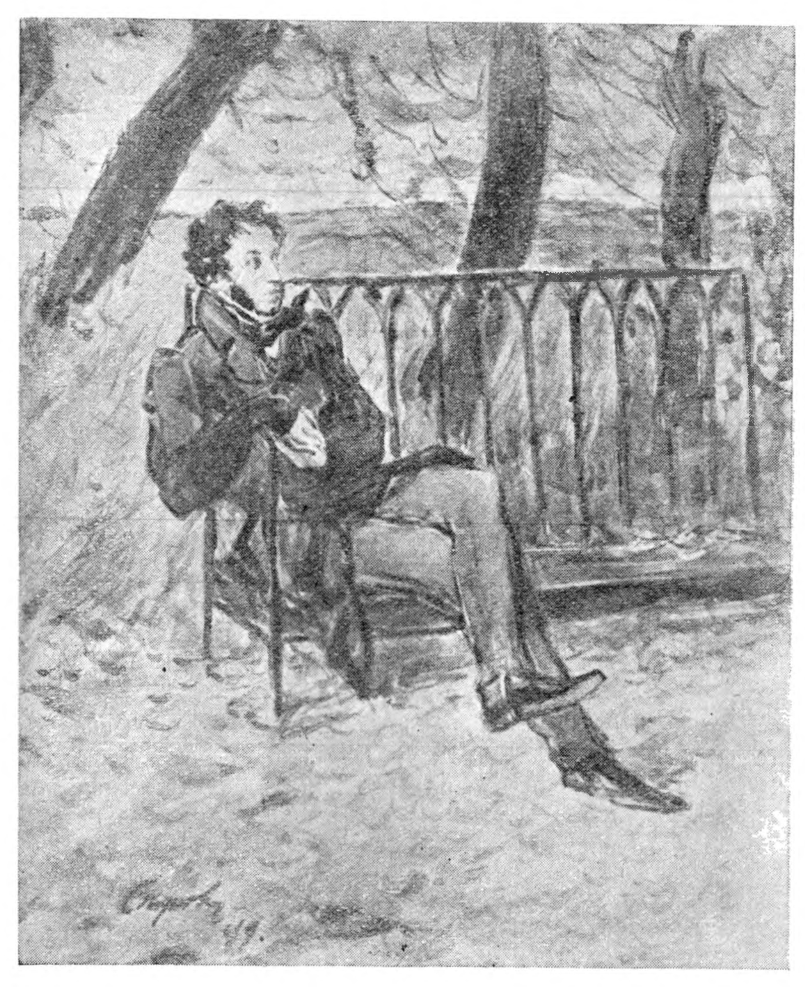
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток[13] возьмёшь во длань
И воззовёшь: «Свобода!»
Хвалю тебя, о верный брат,
О каменщик почтенный!
О Кишинёв, о тёмный град!
Ликуй, им просвещенный!

В 1821 г. масонские ложи были запрещены императором Александром.



«Он дамам к ручке не подходит;
Всё да, да нет; не скажет да-с
Иль нет-с»...

Онегин не соблюдал обычая провинциального барства и потому заслужил название неуча. В альманахе на 1832 г. «Элизиум» есть следующее примечание к одному эпизоду романа «Траурный билет», где говорится, что Трелин целовал попеременно ручки то у матери, то у дочери: «Здесь надобно заметить, что в провинциях происходит непрестанное целование дамских ручек и что мужчина, пропустивший хоть один раз сие обыкновение, почитается большим невежею. Эта строгая обязанность представляет весьма забавную картину, когда мужчина приходит в дом и находит много знакомых дам. Он обязан непременно приложиться к каждой из них, чтобы ни которую не оскорбить и не навлечь на себя упрёка в невежестве и даже грубости».



Пушкин в Михайловском.
С рисунка В. Серова, 1899 г.

Чванливое дворянство ожидало от молодого человека почтительности, угодливости, — вспомним, что речь Молчалина была уснащена речениями: «я-с», «с бумагами-с», «два-с», «нет-с», «попрежнему-с». Онегин предпочёл одиночество встречам с соседями; те в свою очередь «все дружбу прекратили с ним». Любопытно к этому добавить, что в первой половине октября 1824 г. Пушкин писал из Михайловского В. Ф. Вяземской: «Что касается моих соседей, то сперва я давал себе труд только не принимать их; они не надоедают мне; я пользуюсь среди них репутацией

Онегина...» Роман Пушкина в 1824 г. ещё не был известен в провинциальной глуши; Пушкин пользуется образом Онегина, уже знакомым его адресату, для определения отношения к нему соседей-дворян.

VI

По имени Владимир Ленский;
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри чёрные до плеч.

Геттинген — немецкий город — славился своим университетом (основан в 1737 г.).

Пушкин отметил здесь тягу русского дворянства к европейской высшей школе, послав Владимира Ленского, юношу из богатой дворянской семьи, учиться в Геттингенский университет.

Кант (1724—1804) — один из основоположников идеалистической философии в Германии, оказал влияние на профессоров Геттингенского университета, а через них был усвоен и русскими «геттингенцами».

Таким образом, Пушкин не исказил исторической перспективы, назвав Ленского «поклонником Канта». Сам Пушкин всегда был равнодушен к «туманной Германии», т. е. немецкой идеалистической философии, что и нашло отражение в иронической обрисовке «плодов учёности» Ленского в Геттингенском университете.

Один из современников Пушкина, П. А. Плетнёв, утверждал, что в Ленском мастерски обрисован лицейский друг поэта В. Кюхельбекер.

Варианты к VI строфе устанавливают колебания Пушкина в обрисовке Ленского и дают повод к этому утверждению. К строке:

Поклонник Канта и поэт...

имеются варианты:

Крикун, мятежник и поэт...
Душой мечтатель...

См. также в черновой рукописи VII строфы:

Его душа была согрета
И пылкой верою свободе...
Он ведал...
Страстей кипящих бурный мир.

В XXXIV строфе четвёртой главы:

Поклонник славы и свободы

(с вариантом в черновой рукописи:

Поклонник Славы, друг [сын] Свободы).

Эти черты биографически сходствуют с Кюхельбекером, который путешествовал в Германии и по своему характеру казался похожим на «женевского чудака» (Руссо) — таково было впечатление Баратынского; Кюхельбекера действительно отличал «дух пылкий и довольно странный». Ю. Тынянов правильно указал, что восторженный Ленский, вдруг вспыхнувший «в негодовании ревнивом» (конец V главы)и решивший только дуэлью рассчитаться с оскорбителем («кипя враждой нетерпеливой» к вчерашнему другу), имел прообразом Кюхельбекера, ещё в лицее обнаружившего «бреттёрство», вспыльчивость и обидчивость, черты и впоследствии в нём не исчезнувшие»[14].

Свидетельство Павлищева, приведённое исследователем, очень показательно: «Обидчивость Кюхельбекера порой в самом деле была невыносима... Так, например, рассердился он на мою мать за то, что она на танцовальном вечере у Трубецких выбрала в котильон не его, а Дельвига; в другой же раз на приятельской пирушке у Катенина Кюхельбекер тоже вломился в амбицию против хозяина, когда Катенин, без всякой задней мысли, налил ему бокал не первому, а четвёртому или шестому из гостей»[15].

Но внешний портрет Ленского в окончательном тексте уже не имел почти ничего общего с Кюхлей. Облик восемнадцатилетнего поэта только в некоторой степени отражал воспоминания Пушкина о лицейском друге, в основном же он наполнился типическими чертами поэта-элегика, русского романтика, антагониста Онегина и мечтательного помещика с неопределившейся жизненной дорогой.

IX

Под небом Шиллера и Гёте,
Их поэтическим огнём
Душа воспламенилась в нём.



И.-Ф. Шиллер.
Рис. Бехегель, грав. Массоль. С портрета, подаренного Пушкиным в 1833 г. сестре О. С. Павлищевой.



И.-В. Гёте.
С гравюры Райта.

В образ Ленского, воспитанного «под небом Шиллера и Гёте», Пушкин вложил характерную для немецких поэтов эпохи бури и натиска веру в сродство душ, в предустановленную гармонию:

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждёт она...

Герои романа Гёте «Избирательное сродство» (1809) Эдуард и Оттилия с непреодолимой силой тянутся друг к другу, охваченные какой-то странной силой взаимной симпатии: «Они оказывали друг на друга неописуемое, почти магическое притягательное действие; они жили под одной кровлей, но, даже не думая друг о друге, занимаясь чем-нибудь посторонним, отрываемые и отвлекаемые обществом других, невольно приближались друг к другу.

Если они находились в одной зале, то вскоре оказывались сидящими рядом. Их могла успокоить только взаимная близость, и уже одна эта близость успокаивала их вполне, не нужно было взоров, слов, движений, прикосновений; для них было достаточно быть вместе. В такие минуты они переставали быть двумя людьми и становились одним человеком, исполненным совершенного до-

вольства собой и окружающим миром. Мало того, если б одного из них удерживали на одном конце дома, то другой постепенно, сам собою, бессознательно стал бы к нему подвигаться».



Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы,
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника...

Ленский (см. в XX строфе VI главы: «При свечке Шиллера открыл») в шиллеровской балладе «Порука» (1798) читал, как Дамон, приговорённый к казни за покушение на жизнь тирана Дионисия, умолил отсрочить казнь на три дня для устройства домашних дел, уверенный, что его друг Пифиас согласится пробыть эти три дня вместо него в тюрьме. Так и случилось: Пифиас был готов «принять оковы» за честь своего друга. Разнообразные препятствия на обратном пути Дамона чуть было не привели к ужасной катастрофе. Но Дамон поспел во-время. Пифиаса уже вели на казнь. Друзья у эшафота встретились, бросились друг другу в объятия. Тиран, убедившись в исключительной силе дружбы, простил Дамона и стал просить друзей, чтоб они включили его третьим в их верный союз.

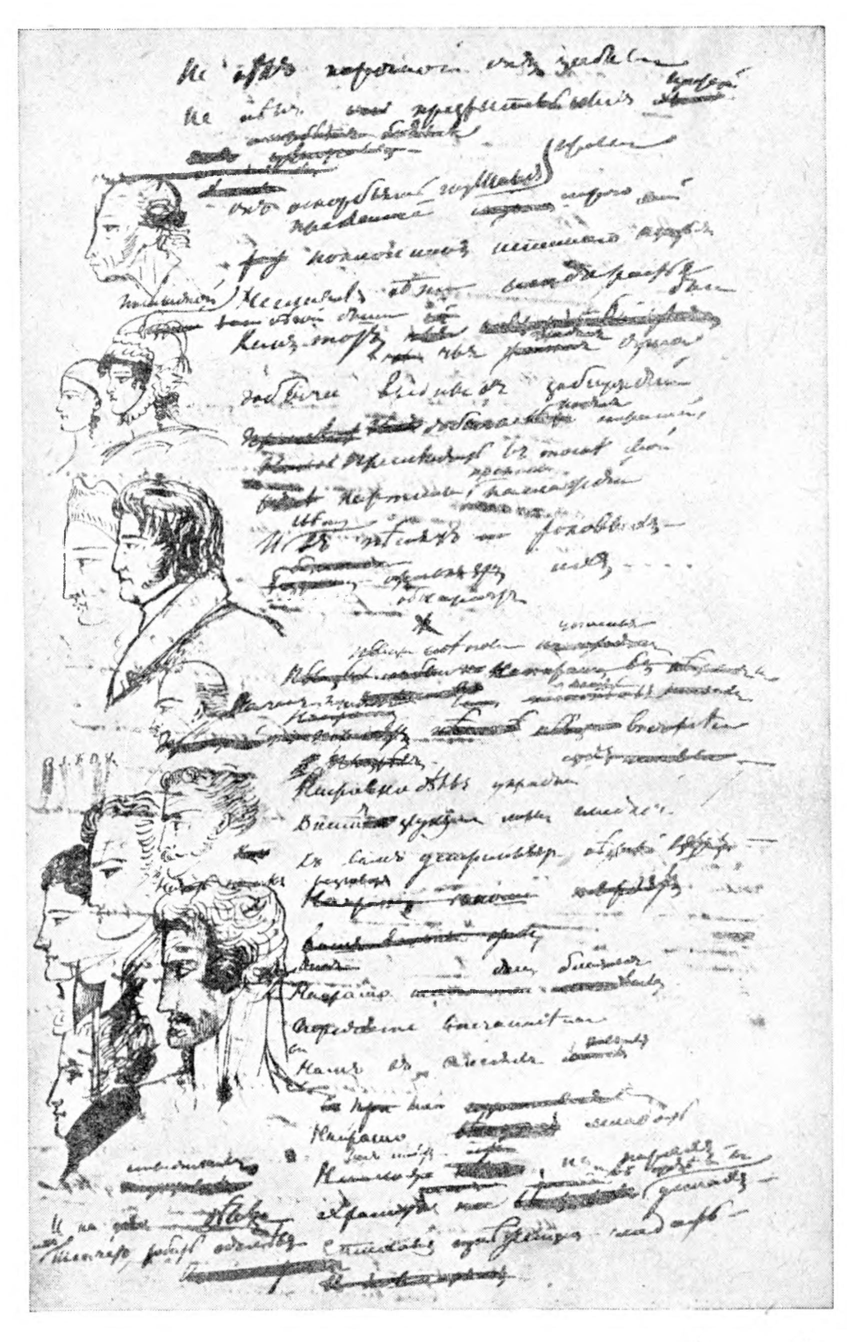


...Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья,
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

(Вариант окончания VIII строфы)

Стихотворение Кюхельбекера «Поэты» (1820) объясняет эти загадочные строки (сопоставление впервые было указано Ю. Тыняновым в статье «Пушкин и Кюхельбекер», «Литературное наследство» № 16—18, стр. 360—361). Человек был некогда счастлив и бессмертен, но, влюбившись в призрак суетного наслаждения,

...вдруг отяжелел
И смертным на землю спустился;
И ныне рвётся он, бежит
И наслажденья вечно жаждет,



Страница из черновой рукописи II главы «Евгения Онегина» (1823).

Вверху профиль Пушкина, под ним профиль М. Н. Раевской.

И в наслажденьи вечно страждет,
И в пресыщении грустит.

Кронион из жалости посылает на землю поэтов, созданных им из духов.

В страстях и радостях минутных
Для неба умер человек,
И будет дух его вовек
Раб персти, раб желаний мутных.
И только есть ему одно
От жадной гибели спасенье,
И вам во власть оно дано:
Так захотело Провиденье!
Когда избранники из вас,
С бессмертным счастьем разлучась,
Оставят жребий свой высокий,
Слетят на смертных шар далёкий
И, в тело смертных облачась,
Напомнят братьям об отчизне,
Им путь укажут к новой жизни:
Тогда, с прекрасным примирён,
Род смертных будет искуплён.

Перечисляя темы поэзии Ленского, Пушкин подбирал детали из обширного литературного материала своего и чужого: темы л ю б в и, р а з л у к и и п е ч а л и широко были разработаны в ранней лирике самого поэта; в лирике Жуковского часто можно встретить сходные с X строфой формулы:

Он пел любовь... («Певец», 1811)
Кто любит, тот душой,
Как день весенний, ясен... (1812)
Стремленье вдаль, любви тоска,
Томление разлуки...
Смотрю ль в туманну даль
Вечернею порой —
Во всём печальных дней
Конец воображаю. (1809)
Твоё блаженство там,
В туманной сей дали. (1812)

Это словосочетание (Ленский пел... «туманну даль») особенно часто встречалось в элегиях: у Батюшкова в «Воспоминании» (1809):

И ратник, опершись на копие стальное,
Смотрел в туманну даль...

в журнале «Благонамеренный» (1820, декабрь, № 23 и 24, стр. 327), в элегии «К Делии» (подражание Мильвуа):

О милом призраке мечты,
Являяся в туманной дали...

в «Московском телеграфе», 1825, № 12, в элегии «Вечер» (перевод Н. Грекова из Ламартина):

...отрадный луч
Сокрылся вдруг в дали туманной.

По поводу «нечто» в стихах Ленского напомню иронические строки Кюхельбекера о тогдашних элегиках, у которых критик «Мнемозины» постоянно встречал «всё только... нечто и что-то». Грибоедов высмеял сочинителя Удушьева, о котором Репетилов восторженно восклицал:

В журналах можешь ты однако отыскать
Его отрывок, *взгляд и нечто*.
Об чём бишь *нечто?* — обо всём...

Романтические розы. Роза была любимым сравнением романтиков.

Роза в романтической символике представлена в стихотворении Жуковского «Мечта» (1818):

Ах! если б мой милый был роза-цветок,
Его унесла бы я в свой уголок;
И там украшал бы моё он окно;
И с ним я душой бы жила заодно.
. . . .
Сильфиды бы лёгкой слетелись толпой
К нему любоваться его красотой;
И мне бы шепнули, целуя листы:
Мы любим, что мило, мы любим, как ты.
Тогда б встрепенулся мой милый цветок,
С цветка сорвался бы румяный листок,
К моей бы щеке распалённой пристал
И пурпурным жаром по ней заиграл.
Родная б спросила: что, друг мой, с тобой?
Ты вся разгорелась, как день молодой.
«Родная, родная, — сказала бы я, —
Мне в душу свой запах льёт роза моя».



Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

Эти стихи стоят в прямой связи с некоторыми мотивами в «Послании кн. А. М. Горчакову» (1816):

Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...
Моя стезя печальна и темна...
Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья...
Я слёзы лью, я трачу век напрасно,
Мучительным желанием горя...
Мне кажется: на жизненном пиру

Один, с тоской, явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь на час — и одинок умру...

Черта опять-таки не лично пушкинская, а типичная для поэтической школы, современной Пушкину. Кюхельбекер вспоминал в 1824 г. о русских поэтах-элегиках: «С семнадцати лет у нас начинают рассказывать про свою отцветшую молодость» [16].

В пору написания романа Пушкин уже пародировал эту манеру элегического кукования (см. «Соловей и кукушка», 1825), а если и писал элегии, стилистически сходные, то умные современники слышали в лирических признаниях Пушкина не сентиментальное всхлипывание и воспоминания о прошедшем, а мятежную неудовлетворённость настоящим во имя нового будущего, могучие зовы мужественной личности.

Уместно напомнить свидетельство П. Вяземского об отличии пушкинского творчества от поэзии других литераторов, тематически близких поэту. 24 января 1824 г. П. А. Вяземский писал А. А. Бестужеву по поводу альманаха «Полярная звезда»: «Стихи Пушкина прелесть! точно свежий, сочный, душистый персик! Но мало в них питательного [17]. Прочие стихотворения, признаюсь, довольно бледны, одноцветны, однозвучны. Всё один напев! Конечно, и в них можно доискаться отпечатка времени, и потому и они не без цены в глазах наблюдателя; но мало признаков искусства. Эта тоска, так сказать, тошнота в стихах, без сомнения показывает, что нам тошно: мы мечемся, чего-то ждём, и вы очень удачно намекнули об этом в своём предисловии. Но со всем тем здоровое сложение, крепость не поддаётся нравственной немочи. Смотрите на Пушкина! И его грызёт червь, но всётаки жизнь выбрасывает из него отпрыски цветущие. В других этого не вижу: ими овладевает маразм, и сетования их замирают» [18].

XII

...И запищит она (бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!..

В примечании Пушкин отметил: «Из первой части Днепровской Русалки». Дуня пела под гитару песню русалки Лесты из оперы «Днепровская русалка» (переделка Краснопольского из пьесы Генслера «Das Donauweibchen», 1792—1797), представленной в первый раз на петербургской сцене 26 октября 1803 г. и пользовавшейся шумным успехом. По словам историка русского театра, «в Петербурге только что и говорили об опере «Русалка» и пели повсюду из неё арии и куплеты: «Приди в чертог ко мне златой!»; «Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут». Перешедшая через песенники (1809, 1817 и др.) в провинциальную гущу,

эта любимая песня была убита пушкинской строфой. В книге Н. Маркевича «Украинские мелодии» (М. 1831) сохранилось любопытное свидетельство: «Днепровская русалка, которая столько лет, или десятков лет, увеселяла нашу публику, приняла бытие своё от Днепра; если устарела опера, то воспоминание удовольствий, которые она нам когда-то доставляла, придаёт ей большую цену; только недавно, благодаря А. С. Пушкину, перестали петь наши провинциальные красавицы арии из Днепровской русалки».

XIV

Но дружбы нет и той меж нами:
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех — нулями,
А единицами — себя;
Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.

За этой строфой должна была в беловой рукописи следовать строфа, крайне важная для понимания смысла приведённого отрывка, но выпущенная поэтом:

[Евгений] думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права,
Одни условные слова
[Для оды звучные слова]...

Пушкин выступил обличителем общественных нравов, подверг критическому анализу быт той дворянской молодёжи 20-х годов, которая в столицах поверхностно, «чему-нибудь и как-нибудь» училась, «однообразно и пестро» проводила время на вечерах, балах, «детских праздниках», в ресторанах, в балетных увлечениях и прочих жизненных забавах. По мнению поэта, чувство дико и смешно в этой общественной среде.

Лирика Пушкина и роман постоянно подчёркивают «измены» в отношениях между людьми дворянского круга; дружба, любовь, родство — это всё слова, потерявшие какое-либо положительное содержание: «Враги его [Евгения], друзья его (что может быть одно и то же)», — восклицает поэт, рисуя резкими штрихами образ друга, родных людей, верной подруги, скептически спрашивая: «Кого ж любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один?» — утверждая, что от молодого поколения невозможно требовать чувств глубоких и страстей (IV глава). «Но

дико светская вражда боится ложного стыда», — и те, кто ещё вчера «часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно», — вдруг превращались в своего рода «наследственных врагов». Как непрочны, минутны чувства даже между лучшими из этой молодёжи, думает автор, рисуя в дальнейшем ссору между Ленским и Онегиным, характеризуя Онегина, «с первого движенья» согласившегося на дуэль:

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь.

Изображая Ленского, «кипящего враждой нетерпеливой», Пушкин не щадит молодого поколения своего класса, отмечая в нём высокомерное презрение к людям иного социального положения:

Мы почитаем всех — нулями,
А единицами — себя.

В 1826 г. в записке «О народном воспитании» Пушкин указывал Николаю I, что молодые дворяне вследствие «самого недостаточного, самого безнравственного» домашнего воспитания не получают «никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести». Исповедь поэта в XIV строфе II главы романа подтверждает искренность этих его суждений.

Какую черту французского императора имел в виду поэт, когда бросал по адресу своего поколения:

Мы все глядим в Наполеоны?

Припомним в стихотворении «Наполеон» (1821) строки:

Ты человечество презрел...
Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил...

Пушкин саркастически применил образ Наполеона ко всем тем, кто претендовал на власть, на силу, на влияние в обществе, «в большом свете». Беспринципный аморализм, «презренный робкий эгоизм», лишённый социального пафоса просветителей XVIII в., — вот что видел Пушкин за блестящим лоском дворянской молодёжи.

Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно, —

восклицает поэт, памятуя либеральные уроки лицейского профессора Куницына, который в своём труде «Право естественное» (1818) учил обратному пониманию социальных связей между людьми: «*Человек имеет право на все деяния и состояния, при которых свобода других людей по общему закону разума сохранена быть может*. Поколику чрез нарушение свободы мы доказываем неуважение к другим людям, поступая с ними самопроизвольно против

их воли, или употребляем их как простые орудия для наших целей, то главное начало права можно также выразить отрицательным образом: Не употребляй других людей как средство для своих целей» (ч. I, стр. 34—35 [19]; «никто не имеет права употреблять кого-либо из сограждан как средство или простую вещь для себя» (ч. II, стр. 105).

Повторяя всё время «мы», «меж нами», «мы все», «для нас», «нам», Пушкин произносил приговор над молодым поколением того класса, к которому сам принадлежал по происхождению, воспитанию, образу жизни, привычкам, настроениям, взглядам. Резкость оценки свидетельствовала о кризисе сознания этого класса. Чувство недовольства, освещение теневых сторон говорило об энергичной ломке старозаветного мировоззрения, о начавшихся сдвигах в мировоззрении.

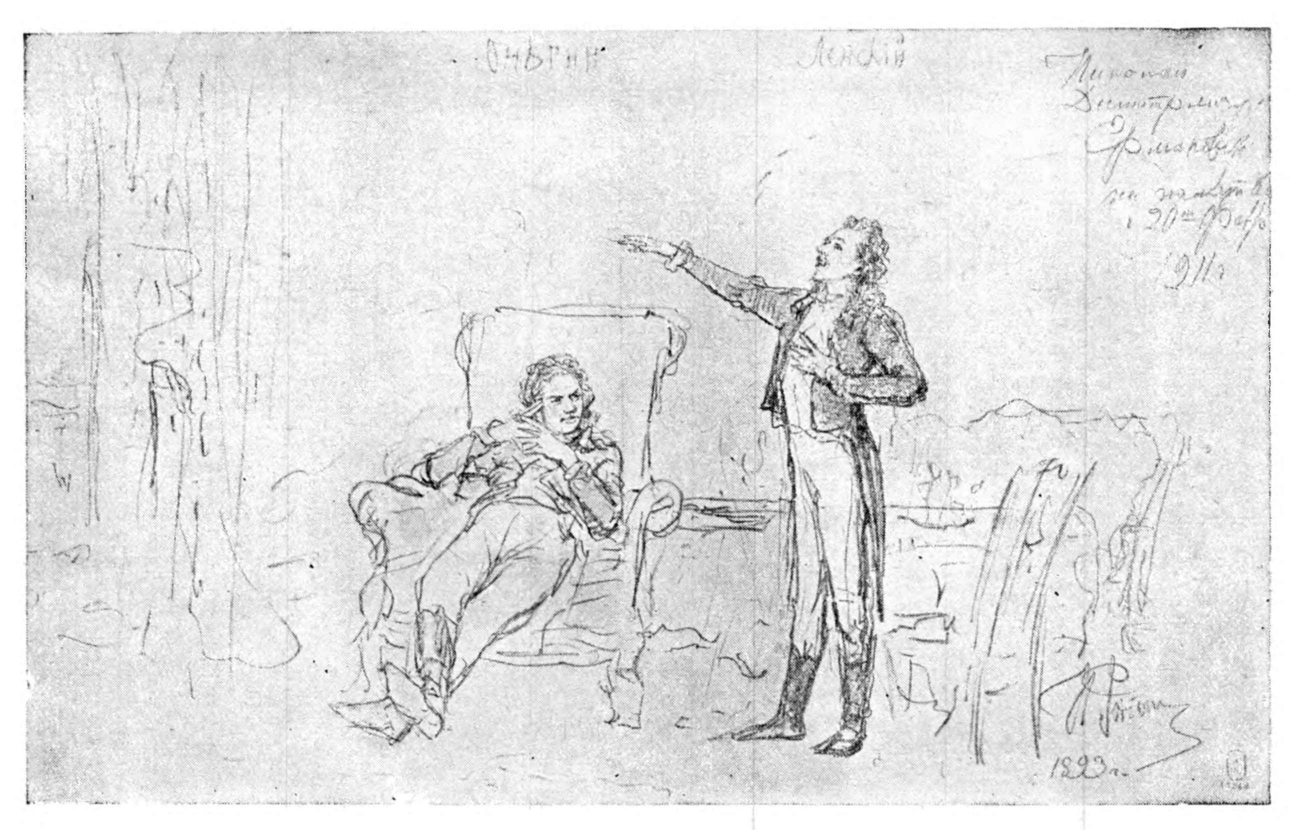
Выделяя своего героя из общей массы — «Сноснее многих был Евгений... [он] вчуже чувство уважал» [20], — автор на протяжении романа, начиная с первой главы, утверждал читателя в мысли, что все чувства, все поступки Онегина — результат тех «предрассуждений», которые он получил или от всех своих родных, или в результате воспитания, образа жизни, обусловленного состоянием общественных нравов и политического строя.

За уничтожение этих «предрассуждений» и общественных порядков, которые калечат человеческую личность, убивая в ней моральную устойчивость, крепкие социальные чувства, ратовал Пушкин, набрасывая в XIV строфе обличительную характеристику дворянской молодёжи. Право на подобную оценку подсказывало ему сознание кризиса родной ему общественной стихии, жажда найти выход в сложной ткани социальных противоречий современной ему эпохи.

XVI

Меж ими всё рождало споры
И к размышлению влекло:
Племён минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые, [21]
Судьба и жизнь в свою чреду, —
Всё подвергалось их суду.

На бытовом фоне провинциального дворянства в обществе Пустяковых и Петушковых, среди «господ соседственных селе-



Онегин и Ленский. С рисунка И. Е. Репина, 1893.

ний», которые в беседах шумных ведут «благоразумный разговор»

> О сенокосе, о вине,
> О псарне, о своей родне, —

Онегин и Ленский с их культурными интересами, с их многосторонними влечениями интеллектуального порядка должны были чувствовать себя чуждыми и одинокими. Они оба могли сказать о себе то же, что сказал Якушкин по возвращении из-за границы, присмотревшись к консервативному укладу петербургских сатрапов: «Мы ушли от них на сто лет вперёд». Пушкин подчеркнул, что его герои, рассуждая о значительных вопросах, серьёзно относятся к обсуждаемым проблемам. Тематика их бесед полностью совпадает с кругом тех вопросов, которые стояли перед наиболее передовыми людьми того времени.

Пушкин включил в роман картину тех горячих споров, которые велись в Каменке, в декабристской среде, которые он сам вёл с крупнейшими деятелями общественного движения, которые кипели в кружках тогдашней военной молодёжи, готовившейся к бою с «Медузиной головой».

Племён минувших договоры. — «Общественный договор» («Contrat sociale») Жан-Жака Руссо читался в декабристских кругах как трактат о взаимоотношениях верховной власти и народа, выдвигавший идею народовластия и признававший право народа на уничтожение правительства, если оно, долженствуя быть только посредником между народом как сувереном, и народом как подданным, нарушит договор, союз власти и общины свободных граждан. В. Ф. Раевский, с которым в Кишинёве Пушкин вёл горячие беседы по историческим и другим вопросам, признавался: «Contrat sociale» Руссо я вытвердил, как азбуку» [22]. Заслуживает внимания замечание П. Бартенева, много знавшего о Пушкине от близких лиц. На обложке «Русского Архива», 1904, № 1, рецензируя первый выпуск издания «Пушкин и его современники» (1903), он писал: «Всего важнее восстановить произведения поэта, как они были приготовлены им самим к оглашению или как он что́ написал, но не мог напечатать по условиям цензурным или каким иным. Так, например, Онегина и Ленского в их деревенских беседах занимали, конечно, не племён минувших договоры, а заговоры: тогдашнее юношество знало все подробности французской революции, а договоры политические не могли занимать молодых друзей».

Плоды наук. — Тема о практическом применении научной теоретической мысли стояла перед теми кругами дворянства, которые в 20-х годах искали выхода из тупика крепостного хозяйства, которые пытались применением машинной техники поднять собственное хозяйство [23]. Онегин, владелец заводов и вод, и «богатый» помещик Ленский должны были думать над этими во-

просами: помещики 20-х годов вводили в своих именьях усовершенствованные приёмы земледелия; опыты помещиков Полторацкого, Шелехова, Самарина и других, с успехом вводивших четырёхполье, обсуждались в земледельческих журналах [24].

Добро и зло — этические проблемы — занимали место как в разговорах Пушкина с А. Н. Раевским (см. в черновике «Демона»: «И я желал... разгадать добро и зло»), так и в беседах с Пестелем. В кишинёвском дневнике (апрель 1821 г.) Пушкин записал: «Утро провёл я с Пестелем; умный человек во всём смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч.». В ту же область философско-моральных размышлений входили

И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые.

На те же темы велись беседы в кишинёвском доме члена Союза благоденствия М. Ф. Орлова, где Пушкин бывал почти ежедневно, встречаясь с В. Ф. Раевским, Охотниковым и другими радикально настроенными людьми; о них злобно писал реакционер Ф. Вигель в своих «Записках»: «Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский, с жаром витийствовали... На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных».

Если предположить вместе с Ю. Тыняновым, что «споры» и «размышления» Онегина и Ленского окрашены воспоминаниями о лицейских беседах Пушкина и Кюхельбекера, составившего «Словарь» с выписками по философским, политическим и другим вопросам из Руссо, его ученика Вейса, Вольтера и т. д., то в понимании спорщиков добро и зло (по формуле Вейса: «Добро может быть то, что споспешествует общему благополучию... зло есть то, что вредит общему благу») — слова гражданского, точнее, якобинского смысла и значения [25]. Точно так же и тема о «предрассудках вековых», т. е. о религиозных суевериях в условиях засилья церковно-мистического мракобесия 20-х годов, приобретала политический оттенок [26].

Я не думаю, что Пушкин в этой строфе вспоминал исключительно свои лицейские споры с Кюхельбекером. Современность 20-х годов ключом бьёт в спорах обоих героев романа, и, конечно, моральные проблемы добра и зла могли ставиться в беседах Пушкина с Раевским, Пестелем как философские («метафизические») проблемы, но в объяснении их содержания и значения указывались причины политические, коренившиеся в общественном строе.

В черновике XVI строфы вместо «судьба и жизнь» была формула: «царей судьба». Цензурные опасения заставили выбросить

из рассказа о беседах молодых людей политическую тему: судьба Павла, герцога Беррийского, судьба Цезаря («Кинжал»), испанского короля Фердинанда, приговорённого к смерти и подло поступившего со своим спасителем благородным Риего, судьба Наполеона, — всё это было на памяти Пушкина, овеянного впечатлениями современности или разговорами о событиях и лицах, всплывавших по аналогии с современностью (см., например, письмо П. Каховского к Николаю I из крепости, 24 февраля 1826 г., и другие декабристские материалы).

«Всё подвергалось их суду», — заканчивает Пушкин описание многосторонних умственных интересов обоих героев, переходя после указания на литературные увлечения Ленского (которому Онегин «прилежно внимал», хотя «немного понимал» в «отрывках северных поэм»[27]) к ещё одной большой теме, также занимавшей молодых людей.

XVIII

Но чаще занимали страсти
Умы пустынников моих.

Страсти (passions). — Термин употреблён Пушкиным в его заметках о вечном мире в широком смысле; «страсть нежная» — любовь[28] входила в богатый мир человеческих, земных чувств, эмоций различного вида. Философы-просветители XVIII в. Гольбах, Мабли, Руссо трактовали о страстях и добродетельных и порочных, об их борьбе и связи, о борьбе страстей с разумом и пр., видя в страстях могучий стимул жизни по естественным законам природы. Защита земных страстей, признание физического человека с его ощущениями, органами чувств — исходным пунктом этических построений — разрушали христианскую мораль умерщвления плоти, защищали право человека на борьбу за земное счастье. Эти идеи воспринимались у нас передовыми умами в конце XVIII в. (Пнин и др.), материалистами 20-х годов из лагеря декабристов[29]. Гольбах, Руссо и Мабли находились в библиотеке Онегина.

Но противоречивый склад личности пушкинского героя тянул его и к другим сочинениям о страстях; охлаждённый опытом жизни, изведав горечь интимных страстей, Онегин мог с особым вниманием читать в книге Сталь «Страсти» («Passions»), произведшей громадное впечатление на современников, горькие размышления о том, что страсти, даже высшие, представляют «истинное препятствие к счастью как личному, так и политическому». Смысл книги сводился к словам: «Полная нравственная независимость есть порабощение всех страстей», но это невозмож-

ное дело: «От меня, — говорит Сталь, — далеки эти неосуществимые аксиомы холодных душ и посредственных умов — будто всегда можно победить себя, всегда можно владеть собой». Так, страсти в теории Сталь одновременно — источник полноты жизни и разрушительницы счастья [30]. Мы увидим ниже, как Онегин рассуждал о счастье и независимости, противополагая их друг другу, как он пытался во имя свободы, покоя уничтожить один вид страстей и как земное, чувственное начало прорвалось в нём, очистив, преобразив, толкнув в спасительные воды настоящей жизни, полной движения, борьбы, напряжения всех сил.

XVIII—XIX

Во взаимоотношениях Онегина и Ленского раскрывается тема наперсничества. Аналогичные мысли находим в стихотворении Пушкина «Алексееву» (1821), где поэт, рассказывая своему кишинёвскому приятелю, что он, «равнодушный и ленивый», уж «позабыл любви призывы», заявляет:

Оставя счастья призрак ложный,
Без упоительных страстей,
Я стал наперсник осторожный
Моих неопытных друзей.
Когда любовник исступленный
Тоскуя, плачет предо мной
И для красавицы надменной
Клянётся жертвовать собой,
Когда в жару своих желаний
С восторгом изъясняет он
Неясных, тёмных ожиданий
Обманчивый, но сладкий сон,
И, крепко руку сжав у друга,
Клянёт ревнивого супруга
Или докучливую мать, —
Его безумным увереньям
И поминутным повтореньям
Люблю с участием внимать;
Я льщу слепой его надежде,
Я молод юностью чужой
И говорю: так было прежде
Во время оно и со мной.

В том же послании первоначально было четверостишие, позднее исключённое поэтом:

...Вдали штыков и барабанов
Так точно старый инвалид
Встречает молодых уланов
И им о битвах говорит.

В переработанном виде это сравнение вошло в XVIII строфу. Стихи —

Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный —

впоследствии откликнулись в стихотворении «Наперсник» (1828):

Твоих признаний, жалоб нежных
Люблю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Так упоителен язык!

Тип Онегина с его скукой, разочарованием, уходом в уединённую жизнь вне обычных светских развлечений намечался в литературных зарисовках уже с конца XVIII в. Карамзин уже знал, что есть люди, которые «наказаны скукой, всегдашним беспокойным чувством, которое тревожит, томит, изнуряет их и которое можно назвать душевною чахоткой» («Разговор о счастии», 1797).

Эраст, герой повести «Бедная Лиза» (1792), был первым бледным наброском с кое-какими чертами, родственными Онегину: «Сей молодой человек был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вёл рассеянную жизнь, думал только о своём удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою... Он решился — по крайней мере на время — оставить большой свет...»

Н. О. Лернер указал на близкий Онегину социальный характер в герое рассказа Рылеева «Чудак», в «Невском зрителе», 1821, февраль [31].

Гораздо явственнее связь Онегина с Аристом в очерках В. Ф. Одоевского «Дни досад» («Вестник Европы», 1823, № 18, сентябрь), но эта связь лишь указывает на тождественность наблюдений обоих писателей. Арист решил покинуть Москву: «Чего мне видеть ещё более? Я прошёл все мытарства, обыкновенно встречающие молодых людей в свете! Я начал праздностию; за нею следовала головная боль, пустота головы; от нечего делать — я принуждён был глазеть на людей и отгадывать их — по наружности; от любопытства — слушать Танкреда, поющего екоссез, сопровождаемого рукоплесканиями, и слушать терпеливо; спорить с невеждою — и не доказать ему ничего; познакомиться с дамами не по сердцу; безвинно быть жертвою городских слухов и неумышленного зложелательства тётушек; от тщеславия жестоко ошибиться в людском мнении и, жертвуя оному, быть осмеянным на балах, скучать ими и невольно не пропускать ни одного из них; наконец, быть обыгранным — и кем же? отцом, желавшим меня женить на своей дочери... Когда прибавлю к тому, что все сии обстоятельства были приправлены кучею слов бессмысленных, суждений неосновательных, — то моё трёхнедельное здесь пребывание представит полный чертёж светской жизни».

При коренном различии характера сравнительно с Онегиным молодой казак в отрывке из неоконченной поэмы Рылеева «Хмельницкий» (1825) носит на себе отпечаток онегинства. Поэт-декабрист модернизировал образ гайдамака, наделив его признаками «охлаждённого» молодого человека 20-х годов. Оба поэта одновременно подошли к одной из типичных фигур их социального круга:

Непринуждённый разговор,
Движенья, поступь, гордый взор,
Черты, жупан — всё род высокий
Изобличало в пришлеце...
Но зрелся след тоски глубокой
На молодом его лице...
Был дружбы чужд, был чужд любови...
Чуждаясь всех, всегда угрюмой,
И ныне бродит, как порок,
В местах глухих он с тайной думой.
Печаль, как чёрной ночи мгла,
Его на сердце налегла.
Она, жестокая, тревожит
Его повсюду и всегда,
Ничем, нигде и никогда
Её рассеять он не может...
Давно он — по всему приметно —
Остыл бесчувственной душой... [32]

Одновременно с Пушкиным автор «Горя от ума» закончил работу над Чацким, которого многое сближает с Онегиным: характер, взгляды, положение в обществе и отношение к нему. Сопоставления обоих героев уже делались (далеко не полно) В. В. Сиповским в статье «Пушкин и романтизм» («Пушкин и его современники», выпуск XXIII—XXIV).

XXI—XXII

Среди черновиков Пушкина есть набросок стихотворения (В. Е. Якушкин относит его к 1819 г.):

...Она при мне
Красою нежной расцветала
В уединённой тишине...
В тени пленительных дубрав
Я был свидетель умиленный
Её [младенческих] забав...
Она цвела передо мною,
Её чудесной красоты
Уже отгадывал мечтою
Ещё неясные черты.
И мысль об ней одушевила
Моей цевницы первый звук...

Отдельные стихи и выражения этого наброска звучат в XXI—XXII строфах с переключением субъективно-лирической темы на Ленского.

Любовь Ленского изображается так же, как Пушкин изображал свою «поэтическую» любовь в лицейском стихотворении «Уныние» (1816):

Блеснёт ли день за синею горою,
Взойдёт ли ночь с осеннею луною,
Я всё тебя, далёкий друг, ищу;
Одну тебя везде воспоминаю,
Одну тебя в неверном вижу сне;
Задумаюсь — невольно призываю,
Заслушаюсь — твой голос слышен мне.

Таким образом, личные переживания молодого Пушкина объективировались частично в Ленском, в его отношении к Ольге, к поэзии.



И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.

Цевница, или свирель, — ряд тростниковых дудочек, одна короче другой, скреплённых поперечинами. Слово церковнославянского происхождения (ср. у Даля пример из Иеремии: «Сердце моё яко цевница звяцати будет»). Цевница, свирель — обычные принадлежности поэта в ранней лирике Пушкина, та условная — с переводом образности античной поэтики (лира) на язык славяно-русской книжности — символика, которая в числе других деталей характеризовала старинную дворянскую лирику. См. «соломенна свирель» в стих. «К сестре», 1814, «К другу стихотворцу», 1814; «цевница» вместе с «лирой» в стих. «К Батюшкову», 1814; «семиствольная цевница» в стих. «Муза», 1821, «Чаадаеву», 1821 («Цевницы брошенной уста мои коснулись»); «Городок», 1814, «Наперсница волшебной старины», 1821, и др.

XXIII

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила,
Глаза как небо голубые;
Улыбка, локоны льняные,

Движенья, голос, лёгкий стан —
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите, и найдёте верно
Её портрет...

Портрет героев в романе Пушкина отличается некоторыми особенностями: поэт почти не даёт внешних черт, наружного вида, сосредоточивая внимание на психологической характеристике, указывая с помощью эпитетов существенные стороны душевного облика. Начав описание Ольги деталями, слишком общими, лишёнными индивидуализации *(скромна, послушна, простодушна, весела, мила)*, Пушкин перешёл к её наружности: *глаза голубые, локоны льняные* и, перечислив улыбку, движенья, голос, лёгкий стан, оборвал описание, заявив, что портрет такого рода ему «надоел безмерно». Бедный внутренним содержанием, образ Ольги не требовал углублённого раскрытия. Но зато перечень внешних черт у неё разнообразнее, чем у других героев: мы узнаём, что у неё был *звонкий голос,* что она была *резвая,* что у неё *развитой* локон, что она *Авроры северной алей и легче ласточки,* что у неё румяная *свежесть,* что она *кругла, красна лицом.*

Внешняя портретность вообще отличает в романе малозаметных лиц: Трике показан *в очках и в рыжем парике,* он ложится спать *в фуфайке, в старом колпаке,* а об Онегине сказано только, что он *острижен по последней моде, как дэнди лондонский одет* [33], да вскользь брошено указание на его *широкий боливар* и *бобровый воротник.* Отсутствие внешних черт заменено богатством психологического содержания: образ Онегина в I главе целиком построен на них. «Мне нравились его черты», — говорит автор романа и рисует внутренний облик Онегина, не перечислив ни одной черты его внешности, кроме позы: ночью над Невою стоял Евгений, опершись на гранит; но и здесь автор выделяет его психологическое состояние: *с душою, полной сожалений, задумчиво* [34].

Эмоциональной насыщенностью характеризуется портрет центральных героев: Евгений, *на мертвеца похожий, с больным, угасшим взором, молящим видом* в последней встрече с Татьяной ей внятно говорит о своих страданиях, своей страсти.

Ленского мы видим только с одной внешней деталью: *кудри чёрные до плеч.* Слишком обща, мало выразительна его характеристика — *хорош собой, красавец.* Все другие подробности описания направляют внимание на его психологическую обрисовку: вечно *вдохновенный взор, всегда восторженная речь* и пр. VI, VII, VIII, IX, X и другие строфы II главы, XXXVI, XXXVII, XXXIX строфы VI главы посвящены почти исключительно психологическому облику Ленского. Куда больше внеш-

них подробностей в зарисовке мимолётного образа «горожанки молодой» (XLI строфа VI главы) или крепостного слуги в московском доме княжны Алины:

Им настежь отворяет дверь
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.

По контрасту с Ольгой, Татьяна зарисована *с бледным цветом* лица, *бледная, худая.* [35] Есть указание на ее *распущённые власы, кудри,* на её *малиновый берет.* Вот и весь запас красок для внешнего изображения девушки и позднее замужней женщины. Портрет Татьяны, которую не раз автор называл милой, по богатству психологического рисунка сравниться может только с Онегиным, побеждая его разнообразием деталей. Всякий раз, когда поэт начинает рисовать отдельные черты наружности своей «мечтательницы нежной», он прибегает к эмоциональным эпитетам: *изнеженные* пальцы, *прелестное* плечо, *прелестный* пальчик; *бесчувственная* рука (в последнем свидании с Онегиным); *своенравная* голова, *томная* головка, *томный* взор и т. д. В эпитете *темнеющих* очей [она не подымает] раскрыт признак не цвета глаз, но внутреннего волнения героини. *Милая* — в оценке поэта — Татьяна наделена многообразными и всегда эмоциональными определениями: *дика, печальна, молчалива, боязлива, доверчива, послушная влеченью чувств; одарена воображением мятежным, умом и волею живой и сердцем пламенным и нежным; девочка несмелая, влюблённая, нежная, бедная и простая; внимательная девица; в свои мечты погружена; смела, неприступная богиня роскошной, царственной Невы, величавая, небрежная законодательница зал.* Таков далеко не полный список эпитетов, характеризующих Татьяну. Автор не скрывает своего эмоционального отношения к героям: «Я так люблю Татьяну милую мою» (ср. ещё «Татьяны милой идеал»), «я сердечно люблю героя моего» (Евгения).

Мир мелкопоместного дворянства ему чужд, — поэтому для Пустякова с женою он нашёл только внешний признак: этот помещик *толстый, тяжёлый,* его жена — *тяжёлая половина* — *дородная супруга, оба храпят;* гневный тон звучит в репликах против «большого света», и сарказмом дышат портреты пожилых злых дам в *чепцах и в розах,* бального диктатора, стоявшего картинкою журнальной:

Румян, как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим.

Душевная жизнь центральных героев — Евгения, Ленского, Татьяны — при всём их различии разработана богато и много-

образно. Это лучшие люди дворянского класса, им автор отдаёт свои симпатии. В этой социальной среде, в её лучших представителях, по его убеждению, хранится огромный материал тончайших душевных настроений, сложнейших переживаний. Отсюда его пристрастие к героям, пристальное внимание к ним, любование ими, защита их. Отсюда тяготение к предельной насыщенности эмоциональным содержанием портретов наиболее значительных героев.

Какая, например, щедрость в зарисовке *взора* (взгляда, глаз): он *быстр и нежен, стыдлив и дерзок, чудно нежен, чудный, чудесный, томный, пронзительный, туманный, вечно вдохновенный, зоркий, праздный, милый, угасший, больной, усталый, унылый, пламенный, весёлый, гордый, насмешливый, влюблённый, умилённый, ясный, пристрастный, холодный, суровый.* Лирические ноты характеризуют любимые портреты, эпитет *милый* главенствует в романе: «Довольно, *милый*... Ах, *милый*... Как ты *мил! Милее* мне домашний круг» — это из лексикона Ленского; «*милая* старушка» — называет Ларину «угрюмый» Онегин; он вспомнил «Татьяны *милой* и бледный цвет и вид унылый»; Татьяна шепчет наизусть письмо для *милого* героя, где пишет: «Незримый ты мне был уж *мил», «милое* виденье»; называет *милой* свою няню и получает в ответ: *милая* моя. «*Милая!* кузина» — восклицает Ларина по адресу «княжны, простёртой на диване»; Татьяна меняет «*милый,* тихий свет на шум блистательных сует», «мечтательница *милая*... Погибнешь, *милая»,* — обращается автор к героине, предавшейся любви, как *милое* дитя; Онегин говорит Татьяне: «Мне ваша искренность *мила».* Ребёнок был резов, но *мил*... Свет решил, что он умён и очень *мил*... Портрет *милой* Ольги очень *мил*...

Милая суета, *милые* мученья, *милый* взгляд, *милая* простота, *милые* жёны, *милые* ноги (любимой), *милые* предметы, *милый* пол, «*милей* «кошурка» сердцу дев», «он сердцем *милый* был невежда», — неустанно повторяет автор; «*милый* мой», — взывает он к автору «Пиров»; «*милые* друзья», «*милые* мои», — обращается он к читателям романа, припоминая *милые,* ласковые речи друзей, признаваясь, что «теперь ему *мила* балалайка», что ему «галлицизмы будут *милы»,* убеждая читателя романа, что «очень *мило* поступил с печальной Таней наш приятель»...

XXIV

Её сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.

И что ж? оно приятно, звучно,
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей!..

В примечании Пушкин отметил, что «сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например, Агафон, Филат, Федора, Фёкла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами». С именем Татьяны у Пушкина связывалось «воспоминанье старины»: одна из московских барынь старого поколения — Татьяна Юрьевна в «Горе от ума», другая — в романе А. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного сообщества и воспитания» (1799—1801) — подтверждают это наблюдение. В годы написания романа это имя, видимо, употреблялось преимущественно «между простолюдинами», было редким в барской усадьбе (ср. в черновом варианте баллады «Жених» купеческая дочь носит имя Татьяны). Пушкин, давая своей героине это «звучное и приятное» имя, очевидно, хотел наряду с иноземной стихией в её воспитании подчеркнуть коренную особенность её личности — почвенность, связанность с простонародным бытом («русская душой»), с русским фольклором, с «мирной стариной», не уничтоженной в дворянской девушке ни «дурой английской породы, ни своенравною мамзелью».

Напомним позднейшую характеристику «уездных барышень» в повести «Барышня-крестьянка»; она полностью приложима и к Татьяне, раннему, но зато наиболее яркому образу среди дворянских девушек, которых Пушкин любил живописать в прозаических произведениях: «Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближайший город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями; но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: особенность характера, самобытность (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы».

Выросшая в обстановке усадебного быта Татьяна, однако, представлена без характерных для того времени бытовых деталей:

Её изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пяльцы,
Узором шёлковым она
Не оживляла полотна.

(XXVI строфа)

Автор романа выделяет в своей героине черты её самобытного характера, её своеобразия: ей, ребёнку, были чужды «детские проказы», «она в горелки не играла» с маленькими подругами Ольги:

Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.

Это чувство скуки — признак неудовлетворённости окружавшей средой — соединяется у неё с чувством одиночества («я здесь одна, никто меня не понимает»), которое она стремится скрасить чтением книг, европейских романов по преимуществу, и благотворительной деятельностью, помощью бедным крестьянам. Автор чрезвычайно искусно, не подчёркивая этого каким-либо особым приёмом, рисует образ девушки, сотканный из некоторых психологических особенностей, которыми отличался Онегин: её самобытность и его неподражательная странность; его хандра и её уныние; её мечтательность и его мечтам невольная преданность; он нелюдим, разорвавший связи с соседями, —

Гостей не слушает она
И проклинает их досуги,
Их неожиданный приезд
И продолжительный присест.

Его мероприятия, направленные к смягчению крепостного рабства, и её помещичья филантропия в деревне, — всё это, не говоря об их уме, сближает обоих героев. Всё это могло привести к счастливой развязке «нежного романа»:

А счастье было так возможно,
Так близко!..

Эта лирическая тема прозвучит в конце романа трагически скорбно. Судьба разведёт в разные стороны Татьяну и Евгения, лишив обоих интимного счастья.

Но до IV главы сюжетная нить оставалась интригующе неясной, держала читателей в томительной неопределённости, в спорных гаданиях о судьбе героев.

XXVIII

И, вестник утра, ветер веет...

Один из примеров звукописи в романе. Дорожа по преимуществу смыслом слова, Пушкин не всегда стремился изобретать неожиданные музыкальные созвучия в своём поэтическом языке. Данный вид словесной инструментовки встречался у Державина: «попутны *ветры* в парус *веют*» (Соч., т. III, стр. 167); у Карамзина: «*веют* осенние *ветры*» («Осень», 1789); у Батюшкова в стихотворении «На развалинах замка в Швеции», 1814:

О *вей*, попутный *ветр*,
Вей тихими устами
В *ветрила* кораблей.

У Баратынского: *развеял* буйный *ветер*» («Финляндия», 1820); у Ф. Глинки: «От тебя, как от младой весны, мне *веет* негой неземной» («К Дориде», 1823). Сам Пушкин повторил его в VII главе (II строфа): «в лицо мне *веющей весны*».

XXIX

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюбилася в обманы
И Ричардсона и Руссо.

(См. также строфу XXXI)

Ричардсон (1689—1761) — автор романов «Памела», «Кларисса Гарлоу» и «Грандисон», представитель английского семейного сентиментального романа (см. комментарий к X строфе III главы).

XXXII

...Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам...

Брила лбы — выражение, связанное с рекрутчиной: при определении годности рекрута в солдатскую службу раздавался крик: «лоб», и тотчас у рекрута подбривали часть волос, спадавших на лоб. (Если рекрута признавали негодным, ему подбривали волосы на затылке.)

XXIX—XXXIII

Жена Ларина когда-то была «без ума от Ричардсона», писала «кровью в альбомы нежных дев», вздыхала о том, кто был «славный франт, игрок и гвардии сержант», была поклонницей «чувствительных стишков», рвалась и плакала по выходе замуж за нелюбимого — помещика, который «был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый». Но очень скоро она изменилась, «довольна стала» своей жизнью в деревне:

Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь;
Всё это мужа не спросясь.

Не без иронии Пушкин описал это превращение «Pachette» в Прасковью Ларину [36] и двумя штрихами включил помещичьи «затеи», больно отражавшиеся на личной судьбе крепостных — дворни и барщинных крестьян.

Нельзя не припомнить здесь известных строк Белинского, давшего меткое, но неполное, ограниченное объяснение классовой идеологии Пушкина в романе: «Везде видите вы в нём [Пушкине] человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на всё, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование...»

Революционный демократ Белинский в своей страстной и непримиримой борьбе с идеологией господствовавшего в его время дворянского класса допустил бесспорное преувеличение в оценке социального мировоззрения Пушкина. Автор «Евгения Онегина» с таким осуждением говорит о крепостниках-барах, высшей знати — командующей группе дворянского класса, о владельцах дворянских гнёзд, что видеть в нём «везде русского помещика» не представляется исторически верной характеристикой, объясняемой в концепции великого критика лишь исторической обстановкой, когда «гоголевская» сатира и лермонтовское «отрицание» должны были в 40-х годах прошлого века казаться более действенным оружием в борьбе за критический реализм, чем пушкинский гуманизм, и когда Белинский ещё не изжил свой взгляд на Пушкина как преимущественно поэта-художника.

В приведённое суждение Белинского внёс существенную поправку А. М. Горький, который в своих каприйских лекциях на вопрос: «Что же даёт Пушкин читателю-пролетарию?» ответил

с наибольшим приближением к исторически верному пониманию Пушкина:

«Несомненно, что Пушкин — дворянин, он сам одно время кичился этим, но нам важно знать, что уже в юности своей он почувствовал тесноту и духоту дворянских традиций, понял интеллектуальную нищету своего класса, его культурную слабость и отразил всё это, всю жизнь дворянства, все его пороки и слабости с поразительной верностью.

В примере Пушкина мы имеем писателя, который, будучи переполнен впечатлениями бытия, стремился отразить их в стихах и прозе с наибольшей правдивостью, с наибольшим реализмом, чего и достигал с гениальным умением.

Его произведения — драгоценное свидетельство умного, знающего и правдивого человека о нравах, обычаях, понятиях известной эпохи; все они суть гениальные иллюстрации к русской истории.

Писатель классовый, группируя свои наблюдения по шаблону интересов своего класса, говорит нам: — Вот истина, извлечённая мною из наблюдений над жизнью человеческой, — иной истины нет, не может быть!

Это превращение тенденции одного класса в догмат, обязательный для всех других, это проповедь необходимости подчинения всей массы народа моральным и правовым нормам, выгодным только командующей силе. Здесь искусство приносится в жертву интересам воинствующей политики, низводится до орудия борьбы и — не убеждает нас, ибо мы видим или чувствуем в нём внутреннюю фальшь.

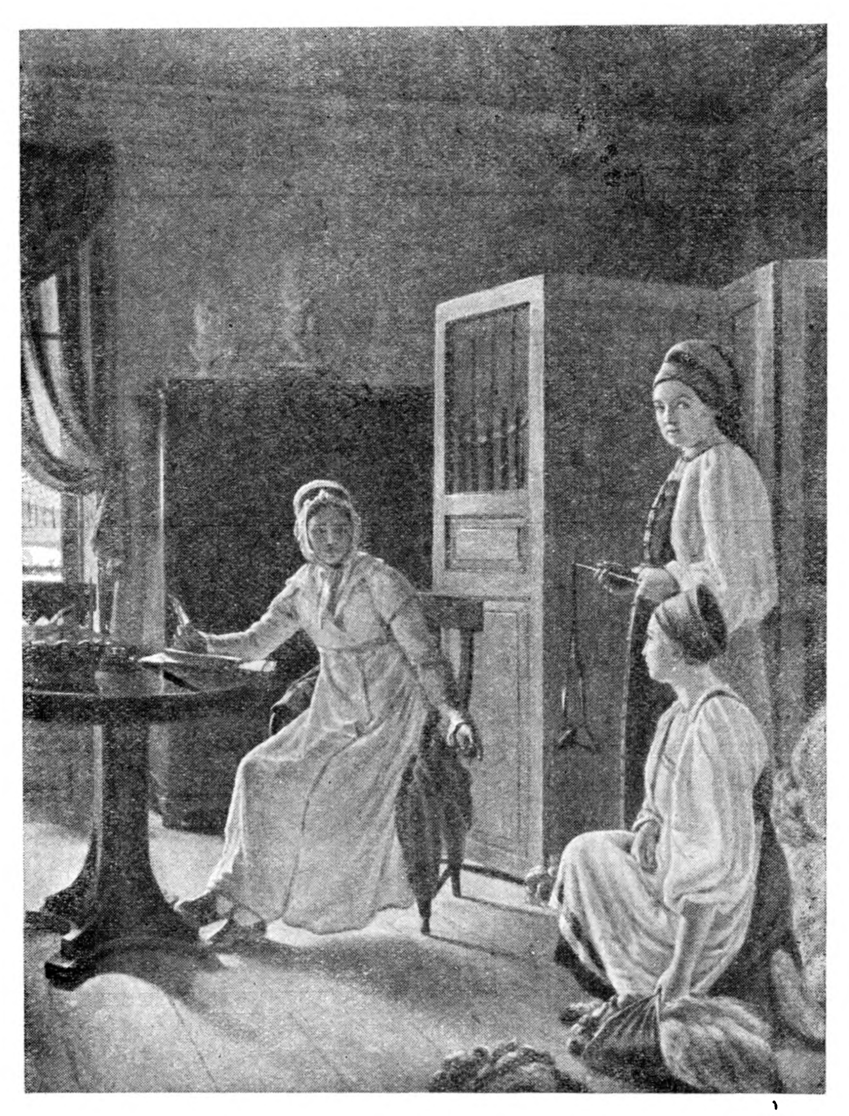
«...От кого бы я ни происходил, — говорит Пушкин, — ...образ мыслей моих от этого никак бы не зависел...»

Это слова человека, который чувствовал, что для него интересы всей нации выше интересов одного дворянства, а говорил он так потому, что его личный опыт был шире и глубже опыта дворянского класса [37]».

XXXV

В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слёзки три...

Настроение Лариных, хранивших «привычки милой старины», объясняется народным поверьем: слёзы Лариных в весенний праздничный день были вызваны воспоминанием об их умерших родителях. Этнограф и цензор И. М. Снегирёв записал в своём



Утро помещицы.

С картины А. Г. Венецианова.

дневнике 24 сентября 1826 г.: «Был А. Пушкин, который привёз мне как цензору свою пьесу Онегин, ч. II... сказывал мне, что здесь в некоторых местах обычай Троицкими цветами обметать гробы родителей, чтобы прочистить им глаза» [38].

XXXVII

«Poor Yorick!» — молвил он уныло...

В примечании (18) Пушкин отметил литературный источник восклицания Ленского: «Бедный Йорик! восклицание Гамлета над черепом шута (см. Шекспира и Стерна)».

В сцене на кладбище (трагедия «Гамлет», д. V, явл. I) шут подаёт череп Гамлету; тот, вспоминая умершего королевского шута, говорит: «Увы! бедный Йорик... Я знал его... Он тысячу раз носил меня на спине... А теперь... У меня к горлу подступает при одной мысли».

У пушкинского героя памятник Д. Ларина на кладбище вызвал сходные настроения:

И долго сердцу грустно было...
Он на руках меня держал...

Ссылкой на Стерна, автора «Тристрама Шенди» (1760) и «Сентиментального путешествия» (1767), Пушкин тонко раскрывал своё ироническое отношение к Ленскому в его неуместном применении имени английского шута к бригадиру Ларину.

Герой Стерна, пастор Йорик, попал в Версаль к графу и застал того за чтением Шекспира. На вопрос графа об имени английского путешественника, пастор взял со стола «Гамлета» и, показав графу сцену с могильщиками, поставил палец на Йорика: «Вот я! сказал он. — Как, сударь, вы — Йорик? — вскричал граф. — Да, Йорик. — Вы? — Да, я...Боже мой, вы — Йорик?» — Граф быстро доставил пастору паспорт: «Будь это для кого другого, а не для королевского шута, я б не получил паспорта за эти два часа...» Тщетно пастор Йорик доказывал, что он не загробная тень королевского шута из трагедии Шекспира. Французский граф снабдил его документом, навязавшим ему по сходству имени титул шекспировского персонажа («Сентиментальное путешествие», главы «Паспорт. Версаль»).

Шутка Пушкина, запрятанная в примечании, направлялась одновременно и на манеру некстати применять книжные штампы, поэтические клише и на тех современных поэту критиков, которые, обвиняя Пушкина в литературных заимствованиях, приняли за чистую монету восклицание Ленского и не заметили иронической направленности цитаты из Шекспира.

XXXVIII

Увы! на жизненных браздах,
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;

Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растёт, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придёт, придёт и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

Мировоззрение рационалиста, чуждого всякой романтической и религиозной мистики, отчётливо сквозит в этом отрывке.

...Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма! —

восклицал Пушкин в «Вакхической песне» 1825 г.

Чуждый страха смерти [39], весь земной [40], утверждавший полноту бытия в пределах человеческой жизни и защищавший за человеком право на обладание максимальным количеством многообразных впечатлений, интересов, желаний, стремлений, незадолго до своего конца Пушкин набросал строки, полные жажды жизни:

О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жизнь люблю!
Душа не вовсе охладела...
Зачем...
Могилу тёмную...
Что в смерти доброго? [41]

И в 1829 г. (26 декабря) он повторил тот же мотив, что в XXXVIII строфе, принимая, как неизбежный закон, индивидуальную смерть и вечность вселенной с бесконечно тянущимся потоком человеческой жизни:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

(«Стансы»)

Тот же мотив утверждения себя — «частицы бытия» — звучит в XLV строфе VI главы, где поэт, чувствуя полдень своей жизни, прощается с юностью и благодарит её «за наслажденья, за грусть, за милые мученья... за пиры». Естественно, что

раздумья о загробной жизни (ср. и «гроба тайны роковые», гл. II, строфа XVI) решались Пушкиным под знаком рационализма. Потусторонний мир в глазах поэта — «вечность глухая» (гл. VII, строфа XI); те из людей, кто был близок к ушедшему из мира навсегда, занятые своими делами, нередко «непристойными», забывают его:

Так! равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет...

XL

И сохранённая судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной...

Строфа — основная ритмическая единица пушкинского романа, состоящая из трёх четверостиший и заключительного двустишия (кода); в первых двух четверостишиях по-разному чередуются по две женских и две мужских рифмы, а в шести заключительных стихах — две женские и четыре мужские рифмы (по схеме: a b a b c c d d e f f e g g).

Форма подобной четырнадцатистрочной строфы была найдена поэтом весной 1822 г. в стихотворении «Таврида», первая строфа которого вошла в текст «Евгения Онегина» (глава I, строфа XXX).

Несмотря на единство метрического размера (четырёхстопный ямб), онегинская строфа отличается исключительной музыкальностью. Ритмическое разнообразие почти каждого отдельного стиха превращает строфу в музыкальный этюд с различной мелодией. В стихотворной строке обычно два основных ударных пункта — вторая и четвёртая стопа, но в пределах каждого двухстопного раздела Пушкин виртуозно играет ямбом с его ударным и безударным слогами. Сложность рифмовки (рифмы парные, опоясанные, перекрёстные), разнообразие приёмов организации стиха: рифмы глагольные, из отглагольных существительных и пр.; рифмы-омонимы; рифмы «богатые» и даже «богатейшие»:

Грим — перед ним,
Гораций — акаций,
синий — Россини,
Чильд-Гарольдом — со́ льдом, —

всё это создавало музыкально-речевое разнообразие. Мелодическое начало в строфе поддерживается интонационной систе-

мой: восклицания, вопросы, обращения придают роману особый напевный тон:

Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней!..

Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?..

Прости ж и ты, мой спутник странный...

Звукообразы и звукопись, звуковая инструментовка явственно слышимы в строфах романа. Л. П. Гроссман, автор специального этюда об онегинской строфе,[42] тонко заметил, что «эта текучесть, изменчивость, гибкость и звуковая впечатлительность онегинской строфы словно созданы для передачи особых ритмических движений — для изображения танца», и среди ряда примеров (мазурка, вальс и др.) указал на искусную инструментовку народного танца на *п, т* и *к:*

Да *п*ьяный *т*о*п*о*т* тре*п*а*к*а
*П*еред *п*орогом *к*аба*к*а...

«где скопленье губных и гортанных согласных создаёт слуховую иллюзию тяжёлого, грузного пьяного пляса по утоптанной пыли» (стр. 107).

Различными звуковыми фигурами полны строфы романа:

О Бр*ента! Нет*, увижу вас...
Но и *Дидло* мне *надоел*...
Мой *модный дом*...
Кто *странным снам* не предавался...
Почтил он *прах патриар*хальный...
*Тр*ибун *тр*акти*р*ный...
Духи в *гр*анёном *хр*устале...
К*итай*ский *чай*ник нагревая...

Две строфы I главы (XXXII и XXXIII) инструментованы на звуках *р* и *л;* другие строфы построены приёмом анафоры:

Как рано мог он лицемерить...
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив...
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен...

Исследователи (В. Брюсов, О. Брик, М. Рыбникова, Л. Гроссман) собрали значительный материал наблюдений над з в у к а м и онегинской строфы, её музыкально-лирической стихией. Но онегинская строфа — пушкинская строфа. Можно подражать роману (есть немало опытов вплоть до наших дней) в соблюдении всех ритмических ходов строфы, всех сложных построений

её внешней формы. Но не получится «онегинской строфы», потому что надо быть Пушкиным, чтоб эта строфа жила столетия, вечно живая, действенная, волнующая. Один стих не похож на другой своим ритмическим узором. Но главное то, что мысль поэта, смысловое начало оформило строфу; исключительным обилием тем, идей ярчайшие, блещущие мастерством отделки формальные элементы строфы скованы в совершеннейшее создание словесного искусства.

...явилась Муза,
И прояснился тёмный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.

Чудесный союз звуков, чувств и дум и характеризует онегинскую строфу как конструктивную единицу романа. Философские раздумья, сатирические зарисовки, литературные оценки, политические интересы, пейзажи и быт, современное и прошлое, исторические деятели и пустые существователи, старики и дети, аристократия и уездные «в прошедшем веке» запоздалые помещики, интеллигенция и зубры Гвоздины, город и усадьба, столичный театр и сонная скука полей, автобиографическое и объективное, внеличное — всё это в поэтических картинах и образах сверкает умом первоклассного художника-эрудита; всё это горит переливами разнообразнейших чувств, эмоций поэта-мыслителя; всё это полно движения, устремления вперёд; на всём печать критического проникновения в глубины общественной действительности.



...Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

Пушкин вспомнил выражение своего лицейского учителя проф. Галича, который, временно, вместо заболевшего Кошанского, преподавая латинский язык, часто отвлекался от своего дела разговорами, а потом возвращался к одному из классиков со словами: «Ну, теперь потреплем старика!» В сибирской ссылке Кюхельбекер также вспомнил это выражение своего учителя, — в его дневнике 2 февраля 1832 г. читаем: «Примусь опять за Гомера; пора, как говаривал Галич, потрепать старика» [43].

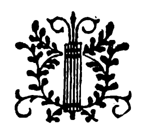
После этой строфы в рукописи была ещё одна заключительная строфа. Первоначальная мысль о невысоком уровне читателей, критики, в разные годы овладевавшая поэтом, сменилась

в момент сдачи главы в печать более справедливой оценкой мнения о себе современных читателей и читательниц, которые выучивали наизусть строфы первых глав «Евгения Онегина» [44]. Пушкин не мог этого не знать и потому не включил в печатный текст строфу:

Но может быть — и это даже
Правдоподобнее сто раз,
Изорванный, в пыли и в саже,
Мой [напечатанный] рассказ,
Служанкой изгнан из уборной,
В передней кончит век позорный,
Как Инвалид иль Календарь
Или затасканный букварь.
Но что ж: в гостиной иль в передней,
Равно читатели [черны],
Над книгой их права равны.
Не я первой, не я последний
Их суд услышу над собой,
Ревнивый, строгий и тупой.

Ср. позднейший незаконченный вариант:

И этот юный стих небрежный
Переживёт мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть [о друзья] —
Воздвигнул памятник [и] я.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Elle était fille, elle était amoureuse.
Malfilâtre.

Эпиграф «Она была девушка, она была влюблена», вероятно, был заимствован Пушкиным из хорошо известного ему французского «Лицея» Лагарпа [1], где была приведена эта цитата из «Нарцисса» — поэмы Мальфилатра (1733—1767).

II

. . . — «Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту. . .»

Эклога — греческое название произведения, идиллически описывающего сельские нравы; эклога относилась к так называемой пасторальной (пастушеской) поэзии. В античной литературе наиболее известными представителями этого жанра были Феокрит и Вергилий. На русском языке первый начал писать эклоги А. П. Сумароков.

Филлида — обычное имя героини в античных эклогах: например, в 3-й эклоге Вергилия (стихи 76 и 78) [2]; в «Словаре древней и новой поэзии» Остолопова (ч. 1, 1821, стр. 351) приведена эклога Милона в переводе В. Панаева, начинающаяся стихом:

Как я обрадую Филлиду дорогую...

Это имя было популярно в русской поэзии, например, у Сумарокова, И. Дмитриева. В переводном стихотворении Батюшкова «Радость» (1810) читаем:

Сегодня — день радости —
Филлида суровая,
Сквозь слёзы стыдливости,
«Люблю!» мне промолвила.

III

Конец этой строфы, в печати заменённой точками, сохранился в черновой рукописи:

В деревне день есть цепь обеда —
Поджавши руки, у дверей
Сбежались девки из сеней
Смотреть на нового соседа,
А на дворе толпа людей
Критиковала их коней.

Какая обильная меткими наблюдениями бытовая картинка! И сколько их осталось в черновых тетрадях романа! «Взыскательный художник» не включал в роман множества подробностей в совершенстве изученного им усадебного быта: потому ли, что он не хотел загромождать ими психологического стержня романа; потому ли, что, переполненный до края мыслями и эмоциями, лирически взволнованный, хотел приковать преимущественное внимание к зарисовкам индивидуального *я* своих главных героев и своего собственного (ведь Пушкин и в романе остаётся поэтом-лириком); во всяком случае, «Евгений Онегин» с ещё бо́льшим правом мог бы быть назван Белинским «энциклопедией русской жизни», если б гениальный критик знал совершенно отделанные поэтом строфы в черновых тетрадях, лишь впоследствии опубликованные и, главным образом, советскими пушкиноведами правильно прочитанные.

Предлагаем читателю не ограничиваться только основным корпусом романа, а продолжать чтение романа в так называемых приложениях к нему, помня пушкинский афоризм: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» («Арап Петра Великого», глава III).

IV

Скорей! Пошёл, пошёл, Андрюшка!

Ларина звала крепостную девушку Акулькой (гл. II, строфа XXX); Онегин кричит: Андрюшка; в варианте XXXVII строфы III главы мальчик, подававший сливки, назван Тришкой. Лишь ключнице Онегина дано имя Анисьи. Если припомнить, что Татьяна на слова няни: «уж я стара; тупеет разум», эгоистически бросает: «что нужды мне в твоём уме?», что «докучны ей... и взор заботливой прислуги»; если собрать рассыпанные в романе картинки отношений «простых и добрых бар» к крепостным слугам (Ларина «служанок била осердясь» — глава II, строфа XXXII), то помещичья подкладка этих

кличек становится вполне понятной, как понятно и позднейшее возмущение разночинца-плебея Белинского той Россией, «где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками» (из письма к Гоголю 3 (15) июля 1847 г.).

Хотя у няни нет имени: «Филипьевна седая» (строфа XXXIII), но в этом обращении звучит нежная любовь к старушке, выходившей обеих сестёр в семье Лариных (ср.: Савельич в «Капитанской дочке», Егоровна в «Дубровском»). Поэт выделил крепостную женщину из ряда других прозваньем по отчеству — знаком почёта в крестьянской среде, отметил особое место этой преданной рабы в быту дворянского семейства (см. комм. к XVII—XXI и XXXIII—XXXV строфам III главы).

V

«Скажи, которая Татьяна?» —
«Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна».

Светлана — героиня одноимённой баллады В. А. Жуковского, которую автор охарактеризовал:

Молчалива и грустна
Милая Светлана.



В чертах у Ольги жизни нет.
Точь в точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.

Картина фламандского художника Ван-Дейка (1599—1641) — «Мадонна с куропатками» — находилась в Эрмитаже. Изображение Мадонны носило слащавый, сентиментальный характер.

Один из религиозно настроенных критиков нашёл в последнем стихе нечто антирелигиозное: «Глупый небосклон!!! Едва смеешь верить глазам своим, что видишь это в печатной книге и притом в сочинении хорошего писателя!.. Стараясь сколько возможно более оправдывать в своих мыслях Пушкина, мы должны полагать, что под словом небосклон он, вероятно, разумеет что-



В дворянской гостиной. С акварели 1820-х годов.

нибудь другое, а не то, что мы все понимаем под сим выражением. Невзирая на всё наше уважение к его дарованию, мы не можем дать сим двум стихам другого приличного эпитета, кроме того, который два раза употреблён в них» («Северная звезда», 1829).

После V строфы по первоначальному замыслу Пушкина следовала строфа, в которой Онегин изображался влюблённым в Татьяну и начавшим чуть не ежедневно, подобно Ленскому, посещать соседок:

В постеле лёжа — наш Евгений
Глазами Байрона читал,
Но дань вечерних размышлений
В уме Татьяне посвящал.
Проснулся он денницы ране,
И мысль была всё о Татьяне.
Вот новое, — подумал он, —
Неужто я в неё влюблён?
Ей-богу, это было б славно,
Себя уж то-то б одолжил,
Посмотрим, — и тотчас решил
Соседок навещать исправно,
Как можно чаще — всякой день:
[Ведь] им досуг, а нам не лень.

Начало следующей строфы:

Ужель Онегин в самом деле
Влюбился? —

сразу перечеркнуло это сюжетное движение романа и оставило Онегина с «давно умолкнувшими чувствами», «на минуту» вспыхнувшими при первых встречах с Татьяной, намеренно замороженными и вновь с исключительной силой воскресшими в Онегине в конце романа.

IX

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьёт обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевлённые созданья,
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де-Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон, —
Все для мечтательницы нежной

В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

Пушкин почти во всех произведениях, где касался культурного быта своего класса, рисовал героев и героинь, воспитанных на романах. Ср. в выпущенной IX строфе 1 главы:

Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.
Мы алчем жизнь узнать заране,
И узнаем её в романе.

Марья Гавриловна и Бурмин («Мятель»), Маша Троекурова («Дубровский»), Полина («Рославлев»), Лиза («Роман в письмах»), Сильвио («Выстрел») и др. — все они, подобно Татьяне, в романах находили «свой тайный жар, свои мечты». Образ Татьяны с этой стороны почти повторён в «Романе в письмах» (1829—1830): Маша — «стройная, меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгою в руках, окружена дворными собаками, говорит о погоде нараспев и с чувством потчует вареньем. У неё нашла я целый шкап, наполненный старинными романами».

Любовник Юлии Вольмар — Сен-Прё, возлюбленный героини романа Жан-Жака Руссо «Новая Элоиза» (1761). Роман написан в форме писем. Юлия, дочь аристократа барона д'Этанж, и бедный её учитель Сен-Прё полюбили друг друга. На их пути встали сословные предрассудки отца, общества, но сила страсти всё преодолела. В первой части романа ярко вскрыты противоречия между общественной традицией, косной средой и потребностями сердца, правом на свободное чувство. Но Юлия вынуждена была покориться воле отца. Сен-Прё уехал. Она, продолжая его любить, вышла замуж за Вольмара, человека другого склада и характера, чем её возлюбленный. Во второй половине романа рисуется семейная жизнь Вольмаров на лоне деревенской природы. Сен-Прё приезжает погостить у них. Вольмар знает о прежней связи Юлии и Сен-Прё, на время покидает семью и оставляет их одних. Но Юлия теперь на страже семейной морали, остаётся верной своему мужу.

Малек-Адель — герой «посредственного», по выражению Пушкина, романа французской писательницы Коттень (1770—1807) «Матильда, или Крестовые походы». По свидетельству Загоскина (в романе «Рославлев»), «русские дамы бредили Малек-Аделем, искали его везде». В послании «К В. П. Ушаковой и П. А. Хилковой» (1823) Жуковский передаёт, как увлекались его гатчинские соседки «розовым романом», в котором повествовалось о разных похождениях на Востоке Малек-Аделя,

О длительной популярности этого героя свидетельствует И. С. Тургенев: провинциальный дворянин Чертопханов назвал своего любимого коня Малек-Аделем («Конец Чертопханова»).

Де-Линар — герой «прелестной», по выражению Пушкина, повести «Валерия, или Письма Густава де-Линара к Эрнесту де-Г.» баронессы Крюднер (1764—1824). В этом романе изображается любовь молодого человека к замужней женщине из светского круга.

Вертер — герой романа Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774). Роман написан в форме дневника. Вертер — один из носителей мировой скорби в европейской литературе. Мятежный индивидуалист, исполненный меланхолии, он не мог ужиться в обществе и застрелился из-за любви к Лотте, оставшейся верной долгу замужней женщины. Роман произвёл сильнейшее впечатление на современников. В начале 20-х годов в просёлочных гостиницах русских захолустий висели картинки, изображавшие «Историю Шарлотты и Вертера».

X

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя...

Кларисса — героиня романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1748). Девушка из патриархальной буржуазной семьи стала жертвой аристократа, красавца и распущенного повесы Ловласа; не в силах пережить унижения и позора, она умирает. Ловлас погибает на поединке с одним из родственников Клариссы.

В 1824 г. Пушкин читал этот роман в Михайловском и писал брату: «Читаю Клариссу: мочи нет, какая скучная дура!» Более подробная оценка романа и его героини дана в отрывках из «Романа в письмах» (1829—1830), где Лиза по поводу Ричард-

сона писала: «Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочитать хвалёную Клариссу. Я, благословясь, начала с предисловия переводчика и, увидя в нём уверение, что хотя первые шесть частей скучненьки, зато последние шесть в полной мере вознаградят терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий — скучно, мочи нет — наконец добралась до шестого — скучно, мочи нет. — Ну, думала я, — теперь буду я награждена за труд. Что же? читаю смерть Клариссы, смерть Ловласа — и конец! Каждый том заключал в себе две части, и я не заметила перехода от шести скучных к шести занимательным.

Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Что есть общего между Ловласом и Адольфом? [3] Между тем роль женщин не изменяется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, всё же походит на героиню новейших романов, потому ли, что способы нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного влияния, а в женщинах они основаны на чувстве и природе, которые вечны?»

Ср. также «Мысли на дороге» (1833—1835): «Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша... Многие читатели согласятся со мною, что Кларисса очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство».

Юлия — героиня романа Руссо «Новая Элоиза». Пушкин говорит, что Татьяна «с опасной книгой бродит». В журнале «Аврора» (1806) автор статьи «О сказках и романах» писал: «При образовании девиц нет ничего важнее, как предохранять фантазию от вредных внушений чувственности; потому-то (что бы Руссо, впрочем, ни говорил в своё защищение) чтение «Новой Элоизы» есть и будет всегда опасно для молодых девиц» [4]. Мы увидим ниже, какой принцип поведения извлекла Татьяна из опыта Юлии, как Пушкин опасную книгу превратил в урок морали в момент, опасный для замужней Татьяны (см. комм. к XLIV строфе VIII гл.).

Дельфина — героиня одноимённого романа французской писательницы Сталь (1802). Действие романа происходит в высшем французском обществе конца XVIII в. Дельфина полюбила Леонса де-Мондевилля, человека, пропитанного светскими предрассудками и неспособного понять глубину чувства полюбившей его женщины. Он женился на Матильде де-Вернон; веря всевозможным сплетням по адресу Дельфины, вступившей в борьбу с окружающей её средой за права сердца, Леонс, однако, продолжает любить Дельфину. Тяжёлая семейная жизнь могла бы быть изменена им, так как законом разрешён был развод. Но аристократические предрассудки не разре-

шают ему этого сделать. Дельфина уходит в монастырь. Смерть Матильды освободила Леонса от несчастного брака. Но он не может теперь жениться на монахине. Леонс вскоре был арестован революционерами, Дельфина спешит к нему на помощь. Узнав о смертном приговоре Леонсу, она приняла яд. Эпиграф романа вскрывал его идейный замысел: «Мужчина должен уметь бороться с общественным мнением, а женщина должна уметь ему подчиняться».

В стихе: «чужой восторг, чужую грусть» двукратное потребление одного и того же прилагательного (определение при разных существительных (определяемых) — приём, часто применяемый Пушкиным и др. (Жуковским, Баратынским). См. во II главе:

Простим горячке *юных* лет
И *юный* жар и *юный* бред.

В III главе:

Как эта *глупая* луна
На этом *глупом* небосклоне.

В IV главе:

Люблю я *дружеские* враки
И *дружеский* бокал вина.

В VI главе:

Храпит *тяжёлый* Пустяков
С своей *тяжёлой* половиной...

Красавиц *модных модный* враг.

XI

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда неправедно гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

В этой строфе превосходная характеристика нравоучительного романа XVIII в., его образов, поэтики. В неоконченной

повести Карамзина «Рыцарь нашего времени» (1799—1802) подросток Леон стал читать романы. «Даира, восточная повесть[5], Селим и Дамасина[6], Мирамонд[7], история Лорда N.[8] — всё было прочтено в одно лето с любопытством, с живым удовольствием... Душа Леонова плавала в книжном свете, как Христофор Коломб на Атлантическом море, для открытия... сокрытого. Сие чтение не только не повредило его юной душе, но было ещё весьма полезно для образования в нём нравственного чувства. В Даире, Мирамонде, в Селиме и Дамасине, одним словом, во всех романах жёлтого шкафа герои и героини, несмотря на многочисленные искушения рока, остаются добродетельными; все злодеи описываются самыми чёрными красками: первые, наконец, торжествуют, последние, наконец, как прах, исчезают. В нежной Леоновой душе неприметным образом, но буквами неизгладимыми, начерталось следствие: «и так, любезность и добродетель одно! и так, зло безобразно и гнусно! и так, добродетельный всегда побеждает, а злодей гибнет!»[9]

Одни заглавия романов конца XVIII в. показывают меткость пушкинской характеристики: «Постоянство, торжествующее над препятствиями» (1786). «Луиза Г., или Торжество невинности, истинная повесть, содержащая в себе чувствительные и редкие приключения, научающие нас быть добродетельными и убегать пороков» (1788). «Торжествующая добродетель, или Жизнь и приключения гонимого Фортуною Селима, истинная повесть»; «Любовь Кариты и Полидора, или Редкие приключения двух язычников, с описанием бывших с ними чрезвычайных несчастий, великих перемен, удивительных оборотов, и с изъяснением, что добродетель, сколько бы ни имела злобных гонителей, остаётся всегда торжествующей и достойною, наконец, венчает наградою своих любителей» (1790) и т. д.

XII

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь её кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар.

Лорд Байрон прихотью удачной
Облёк в унылый романтизм
И безнадёжный эгоизм.

Начальные строки характеризуют новый тип романа, пришедшего на смену «нравоучительному» роману XVIII в. Литературные противники Пушкина, расценивая тематику романтической европейской литературы, с возмущением писали о «торжестве порока» в романах первых десятилетий XIX в.: «Составилась словесность чудовищ, гнусностей и мерзостей, исключительно называемая *романтизмом*. Довольно взять заглавия и содержание знатнейших произведений сей школы, чтобы содрогнуться и спросить, куда хочет такая словесность завесть наш вкус и разум? Посмотрим: Разбойники[10]. Содержание — убийства, преступления, разврат, Паризина[11]. Содержание — прелюбодеяние, разврат. Авель и Каин[12]. Содержание — крайнее презрение к человеческому роду. Цыгане. Содержание — пороки, невежество, беспорядок. Ган из Исландии[13]. Содержание — преступления, ужасы, палачи, трупы, кости, черепа, кровь, пена, мерзость, смрад и мерзость»[14]. В переведённой с французского статье[15] к числу первых, кто ввёл в «поэтический мир цинизм картин и всякого рода нравственные мерзости», были отнесены Байрон, автор «Корсара», и Шарль Нодье, автор «Жана Сбогара».

«Вампир» — «повесть, неправильно приписанная лорду Байрону» (примечание Пушкина).

Автором повести был доктор Полидори, который, путешествуя в Швейцарии с Байроном, слышал его устный рассказ и напечатал в виде повести.

В переводе с английского на русский язык, выполненном в 1828 г. П. В. Киреевским (под инициалами П. К.), озаглавлено: «Вампир», повесть, рассказанная лордом Байроном, с приложением отрывка из одного незаконченного сочинения Байрона».

В этом романе фантастическое существо — Вампир — появляется под разнообразными именами; в начале романа он носит имя лорда Ротвена. Он в английском высшем свете «среди различных партий законодателей светского тона»; он равнодушно смотрит на весёлые забавы окружающих; его мёртвые серые глаза вызывают какие-то тревожные чувства у знакомых и незнакомых с ним; он развращает невинных девушек и пользуется исключительным успехом у светских красавиц. С ним едет путешествовать молодой человек Обрио, но расстаётся, убедясь, что в лорде Ротвене нет ничего хорошего. В Греции Обрио полюбил девушку; она ему рассказывает легенду о вампире, в образе которого он узнаёт лорда Ротвена.

Однажды, возвращаясь домой из путешествия, он слышит крики в хижине на дороге, узнаёт голос своей возлюбленной Ианфы, спешит к ней на помощь и видит её искусанной. Его кто-то поражает кинжалом, он смутно чувствует, что удар ему нанесён Ротвеном. Ианфа умирает. Раненого Обрио выхаживает лорд Ротвен. Чем успешнее идёт выздоровление Обрио, тем больше угасает жизнь Ротвена. Перед смертью он берёт клятву с молодого человека, чтобы тот в течение некоторого времени сохранял тайну его конца. Греки положили его на вершине скалы, но когда Обрио пришёл туда, трупа Ротвена там не оказалось. Через несколько лет в Англии Обрио услышал от своей сестры, что она выходит замуж за одного герцога. На балу Обрио слышит за собою голос: «помните Вашу клятву, я Ротвен!» Обрио умоляет сестру не выходить замуж за герцога, в котором он узнал Ротвена. В день свадьбы сестра Обрио гибнет, искусанная мужем-вампиром.

Роман о «задумчивом Вампире» полон подобными «небылицами», которые тревожили сон «отроковиц» того времени.

«Мельмот» — «гениальное произведение Матюрина» (по словам Пушкина). Матюрин, или Матюрэн (1782—1824), в своём романе «Мельмот-скиталец» (1820), характерном для так называемой «ужасной» беллетристики, изобразил двух Мельмотов: Джона Мельмота и его предка, необычайная жизнь которого главным образом описывается в романе.

Роман начинается с того, что осенью 1816 г. Джон Мельмот, воспитанник коллегиума в Дублине, прервал на некоторое время свои учебные занятия, чтобы посетить умирающего дядю, от которого зависели все его надежды. Потеряв своих родителей, когда-то состоятельных, он едва располагал возможностью оплачивать своё образование. Дядя был стар, холост и богат. «С самого младенчества Мельмот привык смотреть на дядю с тем странным чувством, которое одновременно привлекает и отталкивает, с почтением, смешанным с желанием нравиться и всегда питаемым нами к человеку, от которого зависит наша участь». По дороге Джон размышлял главным образом о своём будущем: «причудливый и тяжёлый нрав дяди, странные слухи, возбуждённые его уединённой жизнью, которую он вёл в продолжение многих лет; наконец, быть в зависимости от этого странного человека, — всё это тяготило его душу». Он вспоминал своё воспитание у скупого дяди, вспоминал его кабинет, где хранилось много старых газет, были бутылки с табаком, вспоминал его старую управительницу.

По приезде к дяде Джон обратил внимание на странный портрет, помеченный 1645 годом. На вопрос об оригинале этого портрета дядя сказал: «он ещё жив»; в тот же вечер он умер. Джон сделался наследником имения своего дяди. Многие хотели

завязать с ним знакомство, но он отверг все предложения учтиво и твёрдо. Джон, живя в обветшалом доме дяди, предался грустным мечтам. Скука овладела им. Он нашёл рукопись, в которой излагалась история его предка, Мельмота-скитальца; оригиналом портрета был этот самый Мельмот-скиталец. О нём рассказывался, например, следующий эпизод: в одном доме на похоронах собралось много людей, среди них находился и он в качестве английского путешественника. Никто не знал, откуда он прибыл; давно уже заметили его молчание, его странную улыбку. Священник сказал: «Я не могу молиться в его присутствии... Земля, им попираемая, сохнет под его ногами; воздух, которым он дышит, жжёт, как огонь... Взгляд его поражает, как молния. Кто между нами? Кто?» Никто его не знал.

Автор рукописи, некто Стантон, говорит о Мельмоте: «Это воплощённый демон, который издевается над благочестием души нашей и, окружая нас искусственными звуками, назначает её в жертву адского пламени». «Выражение лица Мельмота было строго, холодно, жёстко», глаза его метали яркий, адский блеск; он страшно спокоен, как будто смеялся над теми ужасами, которые он внушал». Джон Мельмот, прочитав рукопись Стантона, которому около 1676 г. в Испании являлся таинственный Мельмот, уничтожает портрет. В ту же ночь к нему является его предок. Дальнейшее содержание романа посвящено фантастическим приключениям Мельмота-скитальца, обречённого против своей воли причинять зло. Перед трагической смертью он сказал: «Я ценил один разум и смеялся над всем святым... Я обошёл весь свет; я искал, но не нашёл никого, кто бы согласился для здешнего мира отказаться от благ будущего мира и погубить свою душу». (Русский перевод романа появился в 1833 г.)

«Вечный жид». По предположению Н. О. Лернера, Татьяна, увлечённая «британской музы небылицами», читала один из популярных романов английской «школы ужасов» — роман Мэтью Льюиза «Амврозио, или Монах» (1795), переведённый в начале XIX в. в России как роман А. Радклиф, под заглавием «Монах францисканской, или Пагубные следствия пылких страстей». Здесь эпизодически изображался молодой человек с таинственной чёрной повязкой на голове; под этой бархатной повязкой на лбу был знак креста; лицо его, полное меланхолии и отчаяния, невольно вызывало чувство содрогания у собеседника. О нём ходили странные слухи; он освобождал силой заклинания от мрачных сновидений; он искал смерти и не мог умереть, преследуемый роком; убийства и прочие «ужасы» были фоном жизни этого «вечного жида», как он был назван в романе одним кардиналом, когда тому рассказали его необычайную историю.

«Корсар» — поэма Байрона. Пушкин имеет в виду Конрада, героя этой поэмы, мрачного разбойника, находившегося «в борьбе

с людьми и во вражде с небом», «проклявшего добродетель как источник зла», таившего в себе роковую силу:

Его дела внушали изумленье,
А имя — скорбь...

Сбогар — герой романа Ш. Нодье «Жан Сбогар» (1818). Сбогар стоит во главе шайки «des Frères du bien Commun», члены которой были «решительными врагами общественного порядка и открыто стремились к разрушению существующего строя. Провозглашали свободу и счастье, но их путь сопровождали пожары, грабежи и убийства». Сбогар «становится самим собой только тогда, когда переступает за пределы общества, когда один с природой или близким человеком он даёт полную свободу своим мыслям, туманным, но энергичным, искренно величественным и диким...». «Ещё молодым, — говорит он, — я с раздражением ощущал язвы общества, которые возмущали мою душу, толкая её на крайности... Скорее повинуясь инстинкту, чем разуму, я бежал из городов и от населявших их людей... Горы Карниола, леса Кроатии, дикие берега, почти не заселённые бедными далматами, поочерёдно останавливали мой беспокойный бег. Я не оставался подолгу там, где простиралась власть общества, всегда отступал перед прогрессом, который приводил меня в негодование, стесняя свободу моего сердца».

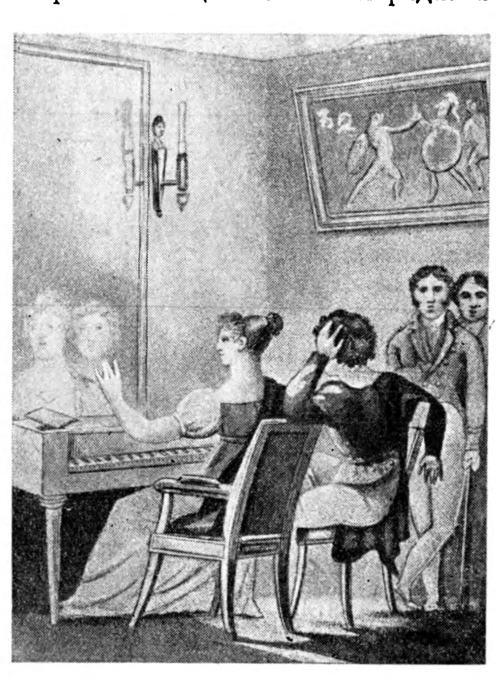


Иллюстрация к роману Ш. Нодье „Жан Сбогар“ из издания 1820 г.

В его дневнике собраны мысли, разоблачающие основы буржуазного общества. Например: «Однажды все земные голоса возгласили смерть Великого Пана. Это было освобождение рабов. Когда вы услышите их во второй раз, то произойдёт освобождение бедных, и тогда снова начнётся захват мира». «Если, рассматривая случай, когда бедный крадёт у богатого, добраться до самого начала, то в конечном результате окажется, что мы

имеем дело с возмещением, т. е. с справедливым и взаимным переходом денежного знака или куска хлеба, которые возвращаются из рук вора в руки обокраденного». «Если бы общественный договор очутился в моих руках, я бы в нём ничего не изменил, я бы его разорвал». «Ужасно подумать, что равенство, которое есть цель всех наших желаний и наших революций, на деле достигается только в двух состояниях — в рабстве и смерти».

Роман Нодье из-за его политической идеологии не мог появиться в России в переводе. Французский экземпляр расходился среди русских читателей не без трудностей: продажная цена его была 7 р. 50 к., однако Тургенев писал Вяземскому (30 октября 1818 г.): «Jean Sbogar» я читал и заплатил 10 р. за чтение, но экземпляр не имею: пришли». Вяземский несколько раньше (20 октября 1818 г.) сообщил, что он, «не охотник до романов, проглотил [роман Нодье] разом». У Пушкина в библиотеке имелся французский «Jean Sbogar» в издании 1832 г. О популярности романа говорит следующее: в «Барышне-крестьянке» Алексей приказывает собаке: «Tout beau, Sbogar, ici» [16].

Критическая оценка новой романтической литературы, данная в XII строфе, совпадает с точкой зрения многих близких Пушкину писателей. Кюхельбекер в «Мнемозине» 1824 г. (ч. 2, стр. 58) иронизировал по адресу поэтов, повторяющих одни и те же картины — «в особенности же т у м а н: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя»; В. Одоевский в той же «Мнемозине» 1824 г. (ч. 2, стр. 129), говоря о различных группах читателей, отнёс к самому немногочисленному разряду тех, «кои осмелились... разогнать густые т у м а н ы»; «многочисленная [же] дружина переводчиков» — это те, которые «глаз не сводят с туманной дали»...

XIII

Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы...

В 1821 г. Пушкин, обращаясь к поэту Денису Давыдову, выпустившему книгу «Опыт теории партизанского действия» (М. 1821), воскликнул:

Как мог унизиться до прозы
Венчанный Музою поэт?

В «Наброске предисловия к Борису Годунову» (1827) он писал: «В некоторых сценах унизился даже до презренной прозы».

В «Истории села Горюхина» он опять употребил то же выражение: «Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе я ещё и не помышлял) были мною разобраны... Я почувствовал, что не рождён быть поэтом... Я хотел низойти к прозе».

Таким образом, Пушкин резко разграничивал формы стиховой и прозаической речи (ср. в XII строфе II главы по поводу «взаимной разноты» Онегина и Ленского:

Стихи и проза, лёд и пламень
Не столь различны меж собой.)

«Поэтическая (или риторическая) проза», заимствующая у стиха его «обветшалые украшения» («метафоры и дополнения»), Пушкиным отвергалась.

Поэт на языке Пушкина 20-х годов обычно — «Муз и Феба крестник» или «сын Феба вдохновенный», чем и объясняется указание на угрозы Феба, если поэт-стихотворец начнёт писать прозой. Тем не менее Пушкин уже в 1824 г. высказывал предположение, что ему придётся «унизиться до смиренной прозы». Изменения в социальном составе писателей и читателей, разложение поместного уклада и усиление буржуазно-демократических тенденций в русской литературе толкали классово близких Пушкину литераторов к реформе литературного языка. Марлинский, указывавший в 1823 г. на «степь русской прозы» — доказательство «младенчества просвещения»; Вяземский, заявлявший в 1824—1825 гг., что «стихи потеряли для него это очарование, это очаровательство невыразимое», что он «совсем отвык от стихов»; О. Сомов, утверждавший в 1828 г., что «направление умов, волею и неволею увлекаясь за своим веком, требует от нас более положительного, более существенного» и потому читающая публика наша требует «хорошей прозы» — всё это совпадало со взглядами самого Пушкина, что «просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения» (1825) и что потому «смиренная проза» должна воссоздавать в форме «простых речей» «преданья русского семейства да нравы нашей старины». XIII—XIV строфы чётко определяют стиль дворянского романа, нашедшего после Пушкина художественное завершение в творчестве Тургенева и Льва Толстого (первого периода).

Тогда роман на старый лад
Займёт весёлый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нём изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны,
Да нравы нашей старины.

Намечая тематику романа в прозе, Пушкин признавал возможность сохранить построение романа XVIII в., произведя в нём лишь некоторые изменения. В «Романе в письмах», можно думать, Пушкин оставил собственные раздумья по поводу достоинств и недостатков старинного романа. В письме Лизы читаем: «Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 г. роман, писанный в 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однакож знакомые лица и узнаём в них своих дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частию эти романы не имеют другого достоинства — происшествие занимательно, положение хорошо запутано, но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять здесь готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман. Скажи это от меня моему неблагодарному Р*... Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает».

Характеризуя старинный «нравоучительный роман» и новый жанр так называемой «неистовой французской словесности», Пушкин в своих критических заметках вскрыл своё отношение к обоим видам европейского романа. Он считал положительным фактом, что новые романисты «почувствовали, что цель художества есть и д е а л, а не н р а в о у ч е н и е», что «мелочная и ложная теория, утверждённая старинными риторами, будто бы п о л ь з а есть условие и цель изящной словесности, сама собой уничтожилась». Но, по мнению Пушкина, в одинаковую крайность впали как прежние, так и новые романисты: «Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности; награда добродетели и наказание порока были непременным условием всякого их вымысла: нынешние, напротив, любят выставлять порок всегда и везде торжествующим, и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие» («Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...», 1836).

XVII—XXI; XXXIII—XXXV

В декабре 1824 г. Пушкин писал из Михайловского Д. М. Княжевичу: «. . .Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны». Таким образом, прототипом старой няни Филипьевны является знаменитая Арина Родионовна, крепостная крестьянка с. Кобрина, принадлежавшего Ганнибалам — деду и бабушке поэта; она получила в 1799 г. «вольную», но не захотела воспользоваться ею и до смерти (1828) оставалась в семье Пушкиных. Известно, как часто поэт вспоминал няню в своих стихотворениях (например, «Сон», 1816, «Зимний вечер», 1825, «Няне», 1827, и многие другие). Её образ, историю её жизни включил он в роман.

Поэт скупо бросает отдельные штрихи, но из них слагается образ крепостной женщины, талантливой сказительницы («Я, бывало, хранила в памяти немало старинных былей, небылиц про злых духов и про девиц»), беспредельно преданной своим господам («бывало, слово барской воли»), с загубленной личной жизнью. На этой стороне её жизни, когда, по словам Н. Ф. Сумцова, и «молодость и любовь были взяты у неё чужими людьми, без спроса у ней», автор не останавливается, предоставляя читателю дорисовывать, что должна была переживать выданная замуж девочка 13 лет с мужем, Ваней, который был ещё моложе, в «чужой семье», где за любовь свекровь бы «согнала со света. . .» [17] Зато автор даёт читателю почувствовать чудесную доброту и ласковость няни, «старушки в длинной телогрейке с платком на голове седой». Как она любит Татьяну! «Дитя моё», «красавица», «пташка», «мой друг», «милая моя», «родная», «сердечный друг», «душа моя» — вот её обычные обращения к своей воспитаннице. Татьяна в Петербурге умилённо будет вспоминать

> . . .смиренное кладбище,
> Где нынче крест и тень ветвей
> Над бедной нянею моей.

Пушкин запомнил склад речи няни: «И, полно, Таня!»; «Пришла худая череда! Зашибло»; «Вечор уж как боялась я»; «Лицо твоё, как маков цвет», — речь няни пестрит простонародными выражениями, она певуча, поэтична.

Любовь Пушкина «к Татьяне милой» передаётся им в тех же словах, что и любовь няни к ней, — он так же, как и «Филипьевна седая», называет её «моя душа»:

> Татьяна пред окном стояла,
> На стёкла хладные дыша,
> Задумавшись, *моя душа,*
> Прелестным пальчиком писала
> На отуманенном стекле
> Заветный вензель: *О* да *Е*.

(XXXVII строфа)

Народное просторечье няни звучит в авторском описании:

> К плечу *головушкой* склонилась.
> (XXXII строфа)

В. Ф. Одоевский назвал Савельича подлинно трагическим лицом. Трагедию крепостной женщины Пушкин даёт почувствовать сквозь призму переживаний Татьяны: выйдя замуж без любви, она вспомнила судьбу своей няни; ей раскрылась вся драма жизни няни — с младых лет до старости в чужой семье. «Бедная няня!» — вырвалось у неё невольное признание тяжёлой доли Филипьевны. В печатном издании 1826 г. помещица Ларина сравнивалась с Простаковой; Филипьевна могла быть в положении Еремеевны...

Пушкин в образе няни-рабы раскрыл глубоко человечные черты, показал во весь рост человека. «Друг человечества», великий поэт, по прекрасному выражению Белинского, обладал способностью «развивать в людях чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека» (1846). Образ крепостной Филипьевны один из тех, в ком эта способность поэзии Пушкина сказалась с большой художественной силой.

Свою няню поэт ещё раз вспомнил в XXXV строфе IV главы. Белинский, приведя в девятой пушкинской статье рассказ няни об её жизни, о раннем замужестве, кончающийся словами:

> ...и наконец
> Благословил меня отец.
> Я горько плакала со страха,
> Мне с плачем косу расплели,
> И с пеньем в церковь повели.
> И вот ввели в семью чужую...

замыкал этот отрывок из романа примечательным признанием народности и гуманности поэта: «Вот как пишет истинно народный, истинно национальный поэт! В словах няни, простых и народных, без тривьяльности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взгляд на отношения полов, на любовь, на брак... И это сделано великим поэтом одною чертою, вскользь, мимоходом брошенною!..»

XVIII

В рукописи было примечание, не появившееся в печати: «Кто-то спрашивал у старухи: по страсти ли, бабушка, вышла ты замуж?

— По страсти, родимый, — отвечала она, — приказчик и староста обещались меня до полусмерти прибить. — В старину свадьбы, как суды, обыкновенно были пристрастны».

XXII

...И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда!

В примечании Пушкин привёл итальянский текст «славного стиха» из «Божественной комедии» Данте (1265 — 1321), писателя, в его оценке, «мрачного и сурового». Этот стих находится в первой части «Комедии» («Ад», песня 3, стих 9 с выпущенным у Пушкина окончанием: «сюда идущий»).

XXVI

Ещё предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала...

Один из исследователей по этому поводу заявил, что это «даже несколько неправдоподобно, если вспомнить о няне Филипьевне, взлелеявшей Татьяну».

Но недоумение это быстро рассеивается, если принять во внимание дальнейшие стихи:

Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски...

Татьяна хорошо владела обыденной, разговорной речью, но ей, как и многим другим её сверстницам (см. XXVII строфу), приходилось с трудом выражаться «на языке своём родном», когда надо было прибегать для выражения сложных чувств и мыслей к формам письменной речи.



Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

В связи с этим любопытны замечания Вяземского: «Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну без нарушения женской личности и правдоподобия в слоге: от страха сбиться на академическую оду думал он напи-

сать письмо прозой, думал даже написать его по-французски; но наконец, счастливое вдохновение пришло кстати, и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком» [18].

XXVII

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски [19]*. Право, страх!*
Могу ли их себе представить
С «Благонамеренным» в руках!

«Благонамеренный» — журнал, издававшийся в 1816—1826 гг. А. Е. Измайловым (1779—1831), автором романа «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» и многочисленных басен, отличавшихся такой натуралистической стилистикой, которая была, по мнению поэта, не для дам. А. Ф. Воейков в своём «Доме сумасшедших» (1814) так изобразил Измайлова:

Вот Измайлов — автор басен,
Рассуждений, эпиграмм,
Он пищит мне: «Я согласен,
Я писатель не для дам!
Мой предмет: носы с прыщами;
Ходим с музою в трактир
Водку пить, есть лук с сельдями...
Мир квартальных — вот мой мир.

XXVIII

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в жёлтой шале
Иль с академиком в чепце!

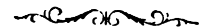
В связи с рассуждениями о «русской речи» выпад Пушкина против «семинариста» имел смысл критического отношения поэта к той книжной, церковно-славянской стихии, которая питала русскую речь — стихотворную и прозаическую. Ему казались «однообразными и стеснительными» господствовавшие со времён классицизма формы «полуславянской-полулатинской» речи.

«Убедились ли мы, что славянский язык не есть язык русский и что мы не можем смешивать их своенравно? Что если

многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг в нашу литературу, то из сего не следует, чтобы мы могли писать: да лобзаешь мя лобзанием вместо: целуй меня etc».

Таким образом, Пушкин, иронизируя над «семинаристом» (проф. Надеждин) и «академиком», выражал своё отношение к «славенщине», поддерживаемой выходцами из духовенства и защищаемой по консервативным мотивам также представителями дворянства, в чьих руках находилась Российская Академия [20].

Говоря в следующей строфе о «неправильном, небрежном лепете, неточном выговоре речей», о «милых галлицизмах», Пушкин отмечал особенности того светского разговорного языка, который лежал в основе языка самого романа Пушкина.



...Иль с академиком в чепце!

Этот стих, по словам современницы Пушкина А. А. Андро (рожд. Олениной), относили к княгине Голицыной, которую называли «Princesse nocturne» ввиду того, что она ночь превращала в день и обратно: она вставала в 12 часов ночи и садилась за различные занятия, большей частью литературные, а при наступлении утра ложилась опять спать. «Академиком в чепце» Пушкин её потому и назвал [21].

По поводу формы в ш а л е князь Шаликов указал, что Пушкин «по гениальной небрежности» допустил грамматическую ошибку («Дамский журнал» 1827) [22].



Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

Это признание становится понятным при сопоставлении с письмом Пушкина к М. П. Погодину (ноябрь 1830) по поводу его драмы «Марфа Посадница, или Славянские женщины» (1830): «Одна беда: слог и язык. Вы неправильны до бесконечности — и с языком поступаете, как Иоанн с Новымгородом. Ошибок грамматических, противных духу его — усечений, сокращений — тьма. Но знаете ли? И эта беда — не беда. Языку нашему надобно воли дать более, — разумеется, сообразно с духом его. И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность».

Таким образом, Пушкин различал грамматические ошибки, противные «духу» языка, от ошибок, не противных ему. По по-

воду первых он писал в своих «Критических заметках» (1830—1831): «Вот уже 16 лет, как я печатаю, и критики заметили в моих стихах пять грамматических ошибок (и справедливо). Я всегда был им искренно благодарен и всегда поправлял замеченное место».

XXIX

Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.

Язык Пушкина, как и многих современных ему писателей, начитанных во французской литературе, не был свободен от галлицизмов.

Одним из примеров многочисленных галлицизмов в романе является выражение в XLVII строфе IV главы: «Пора меж волка и собаки» (франц.: entre chien et loup) — т. е. сумерки.

И. Ф. Богданович (1743—1803) — автор шутливой поэмы «Душенька» (1775—1778), которая представляет собой изложение античного мифа об Амуре и Психее. О нём Пушкин писал в «Городке» (1815):

Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой!
О добрый Лафонтен[23],
С тобой он смел сразиться...
Коль можешь ты дивиться, —
Дивись: ты побежден!

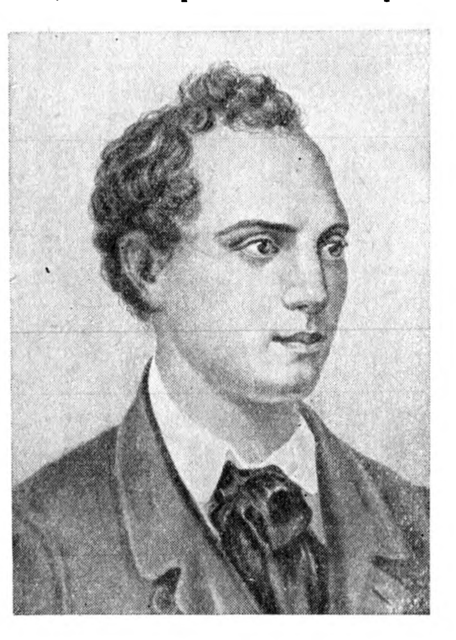
XXX

Певец Пиров и грусти томной,
Когда б ещё ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,

Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

Баратынский Е. А. (1800—1844) — поэт, глубоко ценимый Пушкиным; так, 2 января 1822 г. он писал Вяземскому: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдёт и Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор. Ведь 23 года счастливцу! Оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». В послании «Алексееву» (1821) он заимствовал два стиха из стихотворения Баратынского «Н. М. К[оншину]», напечатанного в 1821 г.:

Как Баратынский, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной?
Нельзя ль найти любви надежной?»



Е. А. Баратынский.
С портрета А. Лебедева, лит. А. Мюнстера.

«Пиры» — поэма, вышедшая вместе с другой поэмой «Эда» отдельным изданием в 1826 г. С 1820 по 1826 г. Баратынский служил унтер-офицером, потом прапорщиком в Финляндии, тяготясь своей жизнью вдали от друзей, — «в переменах рока», «невнимаемый», «в безвестности» (стих. «Финляндия», 1820).

См. упоминание о Баратынском как поэте, нередко писавшем стихотворения под заглавиями «В альбом», «В альбом отъезжающей», в XXX строфе IV главы. Из поэмы «Пиры» взят эпиграф к VII главе.

XXXI

...Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный,
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц.

«Фрейшюц» («Волшебный стрелок»)—романтическая опера в 3 действиях, музыка Карла-Марии Вебера (1786—1826), впервые представленная в Берлине в 1821 г. Опера была очень популярна. Она создала Веберу мировое имя. На страницах русских журналов непрестанно мелькали известия о парижских спектаклях Фрейшюца. По словам А. Хохловкиной, «мода на Фрейшюца заполняет Москву» [24]. 24 марта 1824 г. Вяземский из Москвы писал А. И. Тургеневу: «Пришли жене всё, что есть для фортепиано из оперы «Der Freischütz»: вальсы, марши, увертюру и прочее» [25].

ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ К ОНЕГИНУ.

По наблюдению В. В. Виноградова, в письме Татьяны «те формы словоупотребления, которые восходили к французской семантической системе («никому на свете *не отдала бы сердца я»,* «слова *надежды* мне шепнул» и др.), в начале XIX в. уже вошли в состав лексических шаблонов литературной русской речи. Следовательно, это уже не были «галлицизмы» даже в шишковском смысле. Другие слова и выражения письма Татьяны колеблются между стилями разговорного просторечья (например: *«нелюдим»,* «ничем мы не *блестим», «как знать?», «вся обомлела, запылала»,* «это *всё пустое»* и др.) и литературно-книжного, славянского языка (например: «то в *вышнем суждено совете», «незримый»,* «тоску *волнуемой души», «ангел ли хранитель»,* «рассудок мой *изнемогает»* и т. п.) [26]

«Где умел он [Пушкин] найти эти страстные выражения, которыми изобразил томление первой любви? Как постиг он простоту невинного девичьего сердца, рассказал нам признание Татьяны в ночном её разговоре с няней и в письме к Онегину! сии стихи, можно сказать, жгут страницы!»[27] «Нужно ли говорить о том, как вместе с ним [с Пушкиным] зреет язык его, или язык русский? — Мы удивляемся, как наши дамы, прочитав письмо Татьяны и всю третью песнь Онегина, ещё до сих пор не отказываются в обществе от языка французского и как будто всё ещё не смеют или стыдятся говорить языком отечественным» [28].

«Самобытность» языка Татьяны в её лирическом послании к Онегину вполне гармонирует с «самобытным характером» этой девушки. Решиться в бытовых условиях того времени первой написать письмо любимому — это значило нарушить общепринятые «приличия», смело высказать свою независимую и гордую личность, заявить о своём праве на свободное выражение чувства. Критик «Атенея» (1828) осуждал Татьяну, называл её

любовь «легкомысленной» и удивлялся, как «печальная Татьяна, раз, и то мельком, видевши молодого мужчину, пишет ему, спустя полгода, самое жалкое письмо, уверяя, что Онегин послан ей богом! — естественно ли всё это?» [29]

Белинский, развивая философско-романтическую теорию о родных душах (с некоторым отличием от Ленского) [30], писал М. А. Бакунину в 1837 г.: «Меня всегда смущала любовь Татьяны к Онегину, как любовь глубокая и возвышенная, но не разделённая: теперь я уверился, что она не была неразделённою. Онегин человек не пошлый, но опошленный, и потому не узнал своей родной души; Татьяна же узнала в нём свою родную душу, не как в полном её проявлении, но как в возможности...»

Глубокая и сильная любовь девушки, поверившей в свою мечту и остающейся ей верной, незадолго до романа уже была изображена поэтом: черкешенка в «Кавказском пленнике» — первый набросок татьянинского типа. Когда Татьяна пишет Онегину:

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя...
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил...

припоминаются признанья «девы гор» русскому пленнику, который давно «отвык от сладострастья, для нежных чувств окаменел»:

Скрываться рада я в пустыне
С тобою, царь души моей!..
Непостижимой, чудной силой
К тебе я вся привлечена;
Люблю тебя, невольник милый,
Душа тобой упоена...

Ср. признанье-исповедь Онегина с ответом пленника:

«Евгений Онегин».

...Я верно б вас одну избрал
В подруги дней моих печальных...
Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я...
Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами лёгкие мечты...

«Кавказский пленник».

Забудь меня: твоей любви,
Твоих восторгов я не стою.
Бесценных дней не трать со мною;
Другого юношу зови.
Его любовь тебе заменит
Моей души печальный хлад,
Он будет верен, он оценит
Твою красу, твой милый взгляд...
...Зачем не прежде
Явилась ты моим очам,
В те дни, как верил я надежде

Так, видно, небом суждено.
Полюбите вы снова...

И упоительным мечтам!
Но поздно: умер я для счастья.
Надежды призрак улетел...
Оставь же мне мои железы,
Уединённые мечты,
Воспоминанья, грусть и слезы:
Их разделить не можешь ты.
Ты сердца слышала признанье;
Прости... дай руку на прощанье.
Не долго женскую любовь
Печалит хладная разлука:
Пройдёт любовь — настанет скука,
Красавица полюбит вновь.

XXXVIII

И между тем, душа в ней ныла,
И слёз был полон томный взор.
Вдруг топот! .. кровь её застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад;
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирень переломала,
По цветникам летя к ручью
И задыхаясь, на скамью

XXXIX

Упала...
«Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»

XXXVIII строфа вся в движении; автор насытил её драматическим напряжением в такой высочайшей мере, что действие не могло утихнуть к концу, к последним стихам строфы, а перенеслось в смежную строфу исключительным по выразительности enjambement [31].

Тоскливые ожидания влюблённой Татьяны прерываются в начале строфы: «Вдруг топот! ..», и с восклицанием «Ах!» она

выбежала в сени, противоположные тем, к которым прискакал Евгений. Её стремительное движение поэт передал метким народным выражением «прыг» (что́ так мастерски применял в своих баснях Крылов).

Пушкин, кроме того, воспользовался приёмом повторения глагола «летит, летит» и накоплением имён существительных («мигом обежала куртины, мостики, лужок» и т. д.); предметы как будто скачут, их движение даёт ощущение летящей девушки, вдруг подкошенной, упавшей... Пушкин сразу в XXXIX строфе переходит к драматическому действию:

Здесь он! здесь Евгений!

Гениальный мастер слова, поэт после этого напряжения действия нарочито затягивает изложение перед окончательным ударом, вводит народную песню, звонкому напеву которой Татьяна внимает с небреженьем.

Тревога Татьяны растёт. Развязка близится. Вот-вот грянет удар: состояние Татьяны сравнивается с моментом, когда

...зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка.

Но этот «удар» не был нанесён в III главе, самой маленькой по числу строф в романе.

Пушкин прерывает действие, заканчивая главу подчёркнуто небрежным обращением к читателям:

Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.

Перенеся дальнейшее развитие действия в следующую главу, Пушкин стремится довести до предела композиционный приём замедления. И лишь после размышления Евгения о женщинах и о любви (первоначально замедление было ещё продолжительнее: в окончательный текст Пушкин не включил целых четыре строфы), наконец-то, начиная с XII строфы IV главы, рассказано было о свидании в саду Татьяны с Онегиным.

XXXIX

В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды тёмный сон...

В понимании Пушкина, наряду с обычным словоупотреблением, «сон» — своеобразное душевное состояние, полное внут-

ренней углублённости. В его произведениях обычны словосочетания:

Обманчивей и *снов надежды,*
Что слава?

(«Разговор книгопродавца с поэтом»)

Неясных тёмных *ожиданий*
Обманчивый, но *сладкий сон...*

(«Алексееву»)

Ср. также в романе:

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон (гл. II).
Любви пленительные сны (гл. III).
Как сон любви (гл. IV).
И снов задумчивой души (гл. VI).
Сон моей души (гл. VI).
Вы, сны поэзии святой (гл. VI).
Средь поэтического сна (гл. VII).
И сердца трепетные сны (гл. VIII).
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин *в смутном сне*
Явилися впервые мне (гл. VIII).

ПЕСНЯ ДЕВУШЕК

В черновой рукописи вместо песни «Девицы, красавицы» была другая песня:

Вышла Дуня на дорогу,
Помолившись богу.
Дуня плачет, завывает,
Друга провожает.
Друг поехал на чужбину,
Дальную сторонку.
Ох, уж эта мне чужбина,
Горькая кручина...
На чужбине молодцы,
Красные девицы;
Осталась я, молодая,
Горькою вдовицей.
Вспомяни меня, младую,
Аль я приревную;
Вспомяни меня заочно,
Хоть и ненарочно.

III глава была окончена в Михайловском. «Михайловские» главы романа (III, IV, V, VI) насыщены «простонародностью»: крестьянские песни, обычаи, поверья, сказки на фоне картин типичной севернорусской природы придают этим главам национальный колорит в определённую историческую эпоху.

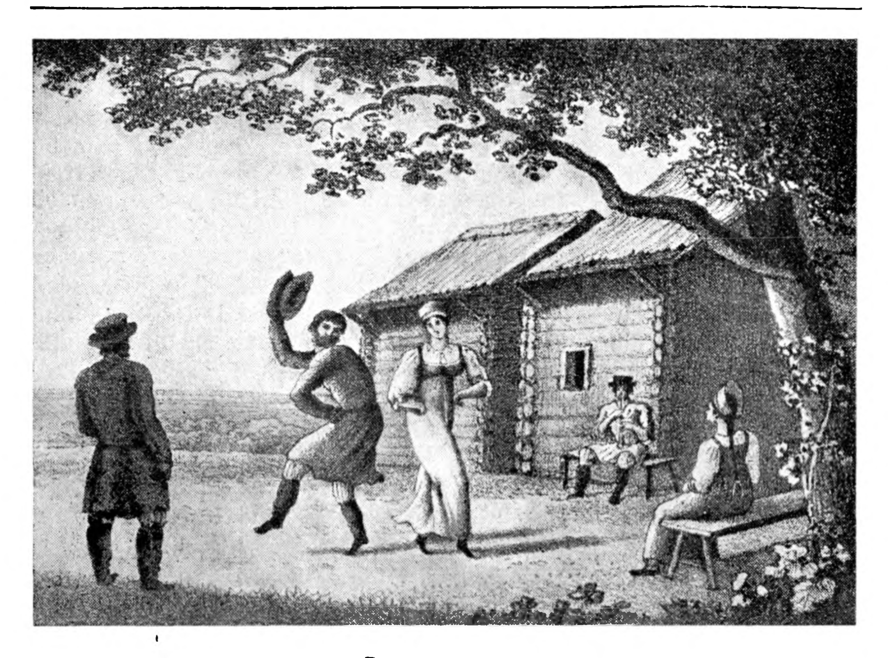
Крестьянский фольклор именно в эти годы напитал поэтический гений Пушкина вековым богатством народной речи, звонко-буйной и протяжно-унылой песни.

Известное пушкинское «хождение в народ», когда он, по рассказам современников, переодетый в простонародное платье, записывал на ярмарке духовные стихи, заслушивался сказок Арины Родионовны, записывал песни в Псковской губернии, падает на Михайловский период его жизни. Обострился интерес поэта к народно-поэтическому творчеству с 1820 г.: в поездке с Н. Раевским по Донской области в разгар аграрных волнений казачества Пушкин услышал песни о Разине, о понизовой вольнице. Тема о народе помимо её политического и социально-экономического наполнения встала перед художником ещё с новой стороны — со стороны духовной жизни, поэтического творчества народных масс. На юге, в скитаниях по разноплеменным районам, он слышал своеобразное звучание национальных песен — русских и черкесских, румынских и сербских, цыганских, татарских [32].

Чтение этнографических книг расширяло круг его непосредственных впечатлений, записей, подражаний. Идея народности, особенно после наполеоновских войн, была чрезвычайно действенной в декабристских кругах. Пушкин и в отношении этой злободневной темы своего времени был на передовом посту. Некоторые из современников Пушкина и не подозревали о существовании сборника песен Кирши Данилова, а у Пушкина он — настольная книга, читана и перечитана, служит боевым оружием против литературных староверов в борьбе за введение в литературную речь простонародных, старинных и современных, речений. Пушкин поражал собеседников своим знанием устной поэзии: «Кто из знавших коротко Пушкина не слыхал, как он прекрасно читывал русские песни? Кто не помнит, как он любил ловить живую речь из уст простого народа?» — писал в своих воспоминаниях о Пушкине С. Шевырёв.

Известно, что Пушкин передал пачку записанных им песен известному собирателю народного творчества П. В. Киреевскому, сказав ему: «Вот эту пачку когда-нибудь от нечего делать разберите-ка, — которые поёт народ и которые смастерил я сам». Киреевский рассказывал Ф. И. Буслаеву, что как он ни старался разгадать эту загадку, никак не мог сладить: «Когда это моё собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные».

Замечательная проникновенность Пушкина в плоть и кровь, в сердцевину народно-поэтического творчества отмечалась всеми знатоками русского фольклора. Песня «Девицы, красавицы», по мнению академика В. Ф. Миллера, «сочинённая, но вполне на-



Русские пляски.
С литографии Мартынова 1820-х годов.

родная по духу, очевидно, навеянная складом песней, подслушанных поэтом у народа» [33].

Народная песня, песенная обрядность нашли отражение в романе в разных местах, причём Пушкин отметил, что деревенские песни, сказки, поверья входили также в бытовую жизнь дворянской усадьбы. В романе песни поют крестьянская девушка за прялкой, пастух, ямщики, бурлаки, дворовые девушки, «сбирая ягоды в кустах»; подблюдные песни и хороводы были любимы в усадьбе; Татьяна возвращалась после прогулки в именье Онегина, когда в деревне

Уж расходились хороводы.

(см. гл. IV, V, VI, VIII, «Путешествие Онегина»)

XLI

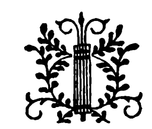
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени...

Идеализированный портрет героя (в романтическом стиле) показан путём антитезы признаков блеска и тени и эмо-

ционального эпитета *грозный*. Ср. Евгения в последней встрече с Татьяной:

Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор...

Тень довольно часто применяется в романе в приёме сравнения: хандра бегала за ним, как *тень* (I, LIV); Татьяна бледна, как *тень* (III, XXXVI); «легче *тени* Татьяна прыг в другие сени» (III, XXXVIII); «меркнет милой Тани младость: так одевает бури *тень* едва рождающийся день» (IV, XXIII); «как *тень*, она без цели бродит» (VII, XIII); «за ней он гонится, как *тень*» (VIII, XXX); «мелькают мельком, будто *тени*, пред ним Валдай, Торжок и Тверь» («Путешествие Онегина»).





ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

La morale est dans la nature des choses.
Necker.

«Нравоучение в природе вещей. Неккер». В эпиграфе Пушкин привёл слова французского государственного деятеля Неккера в его беседе с Мирабо из книги m-me de Staël «Considérations sur la Révolution Française» (1818).

IV глава начинается VII строфой. Первые четыре строфы не включались Пушкиным в печатные издания «Онегина», они были напечатаны в «Московском вестнике» 1827 г. под заглавием «Женщины. Отрывок из «Евгения Онегина». Две строфы не вошли в чистовую рукопись.

Печатая IV главу, поэт начал её с V строфы, назвав её VII строфой и поставив перед ней шесть римских цифр, обозначавших пропуск шести строф.

В строфах, не вошедших в роман, дано было большое лирическое отступление; поэт говорил о своей любви, о быстро протекших радостях, о том, что в нём «уж сердце охладело, закрылось для любви оно, и всё в нём пусто и темно» [1] (см. приложения к роману).

VII

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем её вернее губим
Средь обольстительных сетей.
. . . .
...Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хвалёных дедовских времян.

Ср. в письме Пушкина к брату 1822 г.: «Чем меньше любишь женщину, тем верней овладеешь ею. Но это удовольствие до-

стойно старой обезьяны 18-го столетия». В IX строфе читаем: «Так точно думал мой Евгений».

По поводу формы *времян* критик «Атенея» (1828), «учившийся по старым грамматикам» (как он себя аттестовал), припомнил правильную, по его мнению, форму у Державина — *глагол времён*. Проф. Е. Ф. Будде, ссылаясь на «Критические заметки» Пушкина, который встретил ту же форму *времян* у Батюшкова, пишет: «Конечно, эта форма не искусственная, а бывшая действительно в языке» [2]. В XXXVII строфе VI главы поэт употребил обычную форму: *гимн времён*.

XII—XVI

Исповедь Онегина «Татьяне милой», разбившая её мечты и закончившаяся разрывом между героем романа и полюбившей его девушкой, находит дополнительные разъяснения в пропущенных строфах романа. Мы знаем, что Онегин в юности был жертвой «необузданных страстей», что любовь играла в его жизни большую роль («воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь» — XLVII строфа I главы), что он любил беседовать с Ленским о страстях:

Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья.
(Гл. II, строфа XVII)

Мы знаем также, что «страстей игра» была им оставлена, что в любви он стал считать себя «инвалидом», что

В красавиц он уж не влюблялся,
А волочился как-нибудь;
Откажут — мигом утешался;
Изменят — рад был отдохнуть.
Он их искал без упоенья,
А оставлял без сожаленья...
(X строфа)

Одной из причин такого охлаждения к «игре страстей» был опыт жизни, приводивший к встречам с «причудницами большого света» с их быстро менявшимися привязанностями, к встречам с «модными жёнами», «молодыми одалисками», «записными кокетками».

Кого не утомят угрозы,
Моленья, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольца, слёзы,
Надзоры тёток, матерей
И дружба тяжкая мужей!
(VIII строфа)

Но среди этих встреч была одна, которая наложила глубокий отпечаток на душевный склад Евгения: большое чувство, испытанное Онегиным, не встретило отклика, осталось неразделённым. Меланхолическая окраска его эмоциональных переживаний отчасти связана с его неудачной любовью, о чём в романе сказано дважды:

Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызёт.

(Гл. I, строфа XLVI)

В беловых рукописях II главы глубже раскрывается тема неразделённой любви Онегина. Он говорил о страстях,

Как о знакомцах изменивших,
Давно могилы сном почивших
И коих нет уж и следа,
Но вырывались иногда
Из уст его такие звуки,
Такой глубокий, чудный стон,
Что Ленскому казался он
Приметой незатихшей муки;
И точно: страсти были тут;
Скрывать их был напрасный труд.

Какие чувства не кипели
В его измученной груди?
Давно ль, надолго ль присмирели?
Проснутся — только погоди.

Незатихшая мука утаённой от читателя романа любви Евгения, утомление от лёгких побед и увлечений «младыми изменницами», признание бесполезности искать «глубоких чувств или страстей от мотыльков иль от лилей» и встреча с Татьяной Лариной вызвали в Онегине сложную реакцию. Татьяна произвела на него с первой же встречи сильное впечатление. Мы не знаем, о чём он говорил с ней, долго ли пробыл у Лариных в летний вечер. Но, возвращаясь из гостей, он прежде всего осведомляется у Ленского: «Скажи, которая Татьяна?» И, с недоуменьем спрашивая: «Неужто ты влюблён в меньшую?», говорит: «Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт». Мы слышим характерное признание Онегина: «В чертах у Ольги жизни нет», — следовательно, лицо Татьяны показалось ему полным жизни, игры ума, чувств, оригинальным, не похожим на примелькавшиеся в свете лица. Не больше двух раз был Онегин у Лариных, но образ Татьяны запечатлелся ярко, поразил его сходством с

той, которую он некогда любил. Онегин в саду (третья встреча) прямо говорит Татьяне:

Нашед мой прежний идеал,
Я верно б вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

Онегин нашёл в Татьяне свой п р е ж н и й и д е а л, воплощение всего прекрасного в женском образе, перед которым когда-то он преклонялся, как перед своим идеалом. Татьяна — «в с е г о п р е к р а с н о г о з а л о г»; её душа ч и с т а я, п л а м е н н а я; Евгению дороги её у м и п р о с т о т а, склонность к м е ч т е. «Онегин был так умён, тонок и опытен, так хорошо понимал людей, их сердце, что не мог не понять... что [Татьяна] нисколько не похожа на тех кокеток, которые так надоели ему с их чувствами, то лёгкими, то поддельными», — эти слова Белинского, давшего до сих пор непревзойдённый по глубине психологического рисунка анализ душевной жизни героев романа, мы можем подкрепить признанием полной тождественности характеристики Татьяны у Евгения и у самого автора романа, который, как известно, считал её своим «милым идеалом»; у м, с е р д ц е п л а м е н н о е, м и л а я п р о с т о т а, вера избранной м е ч т е, — так описывает Татьяну Пушкин в XXIV и XXV строфах III главы.

Онегин знает, что она любит, знает, как и автор романа, что «послушная влеченью чувства, Татьяна любит не шутя». Её письмо привело его в волненье, оно возмутило в нём «давно умолкнувшие чувства». Но Онегин п р и в ы ч к е м и л о й н е д а л х о д у: «перегоревший в страстях, изведавший жизнь и людей, ещё кипевший какими-то самому ему неясными стремлениями» (по словам Белинского), он решил погасить начавшее разгораться чувство, отвести от себя поток новой страсти, он предпочёл счастью любви в о л ь н о с т ь и п о к о й.

Свою постылую свободу
Я потерять не захотел —

так объяснял впоследствии Онегин причину своего «охладительного» ответа Татьяне. Он слишком знал мучительную отраву страстей, безумие любви, чтоб вновь в 26 лет предаться «горячке юных дней»:

Что было, то прошло...

Онегин думал: в о л ь н о с т ь и п о к о й — з а м е н а с ч а с т ь ю. Эта антитеза п о к о я, свободной, независимой жизни и с ч а с т ь я интимных переживаний, любви, страстей — одна из устойчивых в мировоззрении поэта.

Уже в ранней лирике мы то и дело читаем: «любовь дарит один лишь миг отрадный, а горестям не виден и конец»; «страшное безумие любви»; «довольно я любил, отдайте мне покой». Герман в «Пиковой даме» ищет покоя и независимости и погибает в результате конфликта этого стремления с любовью (может быть, мнимой) к воспитаннице графини. Накануне женитьбы Пушкин в 1830 г. писал Плетнёву: «Чорт меня догадал бредить о счастьи, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью». В одном из последних стихотворений поэт признавался: «На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она —

говорил автор романа во II главе, указывая в примечании литературный источник этой формулы и, следовательно, подчёркивая распространённость этой житейской мудрости [3].

Так, счастье признавалось изменчивым, капризным, связывалось с утратами; счастье было синонимом любви («любви нет боле счастья в мире», 1814); любовь, страсть расценивалась, как безумие, тяжкий опыт, полный наслажденья и страданья, как чувство «мучительное и жестокое», особенно «на повороте наших лет, в возраст поздний и бесплодный». Онегин хотел насыщенное горечью и мукой счастье «страсти нежной» заменить бесстрастием покоя вольной, ни с кем не связанной личной жизни.

Женитьба, брак ему казались могилой счастья, любви. Гименей представлялся ему таким же, как Пушкину, усвоившему по книжным источникам в самой ранней юности такой образ античного бога брачной жизни:

А что такое Гименей?
. . . .
Холодный, грустный, молчаливый,
Ворчит и дремлет целый век,
А впрочем — добрый человек,
Да нрав имеет он ревнивый.

(«Амур и Гименей», 1816)

Онегин рисует Татьяне перспективу их будущей семейной жизни:

Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже
И днём и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная,
(Судьбу однако ж проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я...

В пушкинском кругу подобная оценка роз Гименея была распространённой:

Властительный и *хладный Гименей,* —

писал Плетнёв в послании «Климене» («Полярная звезда» на 1823 г., стр. 313).

Теме брака и любви в её конфликтах посвящены романы Гёте — «Страдания молодого Вертера» и «Избирательное сродство», романы де Сталь.

В эпоху борьбы общественных классов конца XVIII в. и первых десятилетий XIX в., когда наступление европейской буржуазии на всех фронтах против феодального строя было решающим, идеологи и художники третьего сословия энергично выступили в разных странах с критикой дворянской семейной жизни и с красноречивой проповедью новых принципов семейного быта, положения женщины в обществе, её взаимоотношений с членами семьи, с идеалами новой матери, нового воспитания детей и пр.

Люди переходной поры испытывали противоречивые течения ломавшегося быта. Картины разлагавшейся семьи вызывали у чутких и умных людей высшего класса отвращение, но привычки той общественной среды, в которой приходилось вращаться, вынуждали или к компромиссам, или к эгоистичному воззрению на семью, или к временному уходу в мир индивидуалистических эмоций, случайных скреп чувства без договора, без обязательств.

Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему [Ленскому] не снились никогда,
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена...
(Гл. IV, строфа L)

В этих стихах — чёткое определение семьи с точки зрения человека, считавшего «игру страстей» важнейшей принадлежностью мужской природы и не признававшего любви в домашней жизни. Эгоистическая натура собственника, рассматривающего женщину как орудие наслаждения и не допускающего мысли о праве женщины на свободное выражение её чувств, диктует Алеко·его поведение по отношению к Земфире; та же собственническая, эгоистическая сущность скрывается в самопризнании Евгения: «холодно-ревнив... таков я»,

Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнёте плакать: ваши слёзы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.

«Я» женщины отсутствует в онегинском союзе мужа и жены, только одно мужское «я» главенствует в семье; он — господин, она гаремная принадлежность иль докучная «верная жена» — синоним «хандры» (I гл., LIV строфа).

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...

Онегин, любя Татьяну «ещё нежней» любови брата, отбросил казавшуюся ему утомительной перспективу брачной жизни с Татьяной. Но он не повторил с ней того опыта, который он обычно раньше проводил в своей донжуанской практике.

Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймёт;
К беде неопытность ведёт, —

поучал девочку-мечтательницу Евгений, зная, что на его месте другой, быть может, разыграл бы один из тех легкокрылых романов, которыми была полна его юность (см. XI строфу I главы). Автор отметил в Онегине «души прямое благородство». Татьяна впоследствии также скажет Евгению:

Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

Чтобы понять превосходство Онегина над людьми его круга, развивавшими сходную с ним теорию любви и брака, я приведу эпизод из повести Карамзина «Юлия». Князь, увлёкший молодую Юлию, желал поиграть с ней, но встретил сопротивление, когда девушка «почувствовала опасность» от «некоторых вольностей его обхождения», когда «бывали минуты, в которые одна богиня невинности могла спасти Юлиину невинность». Князь увидал, что он «лишился быть счастливо-дерзким без имени супруга»; тогда этот светский победитель женских сердец написал Юлии письмо: «Вы любезны, но что любезнее вольности? Мне горестно расстаться с вами; но мысль о вечной обязанности ещё горестнее. Сердце не знает законов и перестаёт любить, когда захочет: что ж будет супружество? несносное бремя. Вы не хотели любить по-моему, любить только для удовольствия любви, любить, пока любишь: итак — простите: называйте меня вероломным, если угодно; но давно говорят в свете, что клятва любовников пишется на песке и что самый лёгкий ветерок завевает её. Впрочем, с такими милыми свойствами, с такими прелестями вам не трудно найти достойного супруга... может быть, верного, постоянного! Родятся Фениксы — но я, в сем смысле, не Феникс — и потому оставляю вас в покое...»[4]

Язык пошлости в письме князя; честное и прямое признание немедленного разрыва, без надежд на «стерпится-слюбится» в исповеди Онегина. Через несколько лет он дорогой ценой расплатится за эту «суровость» своей речи «милой Татьяне».

XIX

Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралём рождённой
И светской чернью ободрённой,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой...

Непонятное на первый взгляд соединение чердака и светской черни объясняется справкой из биографии Пушкина. Враль, распространитель клеветы на своего друга — это Ф. И. Толстой-американец [5]; чердак — место встреч петербургской молодёжи у князя А. А. Шаховского, упомянутого в I главе романа. 1 сентября 1822 г. поэт, объясняя причины, которыми была вызвана его эпиграмма на Толстого («В жизни мрачной и презренной», 1820) и злые строки по адресу того же лица в послании к Чаадаеву 1821 г. [6], писал П. А. Вяземскому: «Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся. Знаю, но моё намерение было... резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым расстался я приятелем и которого с жаром защищал всякий раз, как представлялся тому случай. Ему показалось забавно сделать из меня неприятеля и смешить на мой счёт письмами чердак — к[нязя] Шаховского [7], я узнал обо всём, будучи уже сослан, и, почитая мщение одной из первых христианских добродетелей, — в бессилии своего бешенства закидал издали Толстого журнальной грязью».

Толстой пустил среди «светской черни» слух, приводивший Пушкина в бешенство, будто он был высечен в тайной канцелярии за свои вольнолюбивые стихи. Обиду, нанесённую Толстым, поэт чувствовал так остро, что в ссылке готовился к дуэли с автором клеветнических слухов.

XXVI

Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,
В котором автор знает боле
Природу, чем Шатобриан.

Шатобриан (1768—1848) — представитель дворянского романтизма во Франции. В его произведениях много места занимали картины природы.

Характеристику «нравоучительных романов» см. в комментарии к XI строфе III главы.

XXVIII—XXX

В этих строфах то самое противоположение альбома «уездной барышни» «великолепному альбому» столичной «блистательной дамы», которое встречаем в стих. «И. В. Сленину» (1828):

Я не люблю альбомов модных:
Их ослепительная смесь
Аспазий наших благородных
Провозглашает только спесь.
Альбом красавицы уездной,
Альбом домашний и простой,
Милей болтливостью любезной
И безыскусной пестротой.
Ни здесь, ни там, скажу я смело,
Являться, впрочем, не хочу...

Распространённость этой моды на альбомы в провинции и в столице подтверждается многочисленными свидетельствами. В журнале «Благонамеренный», изд. А. Измайловым, встречаем, например, статейку Н. Виршевского «О Альбомах». «Каждая наша дама непременно желает иметь альбом. На улицах, в кабинетах, в спальнях — везде вы увидите альбомы... Маленькие альбомы, заключённые в ридикюлях, странствуют везде с нашими господами, точно так, как у школьников азбуки в их сумках... «Неужели вы не сделаете чего-нибудь для моего альбома? — Многим вы написали такие премиленькие стишки!» Вот как приветствуют теперь каждого, кого чуть подозревают в умении читать или писать» (1820, апрель, № 7, стр. 27—28). См. ещё в том же журнале, в сентябрьской книжке (№ 18), заметку «О альбомах» некоего Я., защищавшего альбомы: «Альбом так необходим для женщин и молодых людей, особливо для женщин чувствительных, образованных, как для педанта Аристотель» (стр. 377—378).

Некоторые из дошедших до нас альбомов той поры хранят произведения самых крупных поэтов, иногда вынужденно, иногда добровольно писавших послания, эпиграммы и т. п.

Альбом Онегина (см. приложение к VII главе романа) носил другой характер, чем те альбомы, о которых в этих строфах упомянул Пушкин. Герой романа, подобно Н. Тургеневу, самому поэту и др., вёл дневник-исповедь, «искренний журнал, в который душу изливал».

Дневник мечтаний и проказ.

«Он был исписан, изрисован рукой Онегина кругом».

Меж непонятного маранья,
Мелькали мысли, замечанья,
Портреты, числа, имена,
Да буквы, тайны письмена,
Отрывки, письма черновые...

Онегин начал вести свой дневник «в дни свои младые». Новое доказательство недюжинной натуры Евгения, его развитого чувства личности. Пушкин к тому же заставил своего героя заносить в дневник те н а б л ю д е н и я у м а и з а м е т ы с е р д ц а, которые он сам вынашивал. Кое-что из альбома Онегина Пушкин включил в IX строфу VIII главы. В одной заметке наблюдение, что «ветреный и пылкий нрав мертвеет в волненьи жизни»,— наблюдение автобиографического порядка: Онегин, «повеса пылкий», охладел к жизни, закованной традициями и однообразной чинностью.

В другой записи меткая характеристика одного из представителей «судей решительных и строгих»:

Сегодня был я ей представлен,
Глядел на мужа с полчаса:
Он важен, красит волоса
И чином от ума избавлен.

В большой заметке тема о шишковистах и об их противниках с резкой оценкой «переводов одичалых» и «сочинений запоздалых»,

Где русский ум и русский дух
Зады твердит и лжёт за двух.

Пушкинские темы в онегинском альбоме лишний раз раскрывают отношение автора к герою романа как личности ему близкой некоторыми сторонами мировоззрения, складом ума.

Нелишне отметить, что внешний вид альбома Онегина («в сафьяне») похож на те тетради «в чёрном сафьяне», которые А. Н. Вульф видел у Пушкина в деревне [8].

XXX

Вы, украшённые проворно
Толстого кистью чудотворной.

Ф. П. Толстой (1783—1873) — известный художник, гравёр, медальер. Пушкин мечтал, чтобы Толстой иллюстрировал собрание его стихотворений, но тотчас отбросил этот план, боясь дорогой оплаты «волшебной кисти».

Критик «Атенея» (1828) обратил внимание на неправильную акцентовку слова *«украшённые:* «Тут должны пострадать или словоударение или стопосложение: жертва для спасения стиха неизбежна».

XXXI

...И полны истины живой
Текут элегии рекой.
Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поёшь, бог ведает, кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.



Н. М. Языков.
С литографии К. Эргота.

Н. М. Языков (1803—1846), ещё будучи студентом Дерптского университета, писал стихотворения-элегии; например:

Меня любовь преобразила:
Я стал задумчив и уныл;
Я ночи бледные светила,
Я сумрак ночи полюбил...
(1825)

Пушкин приглашал его к себе в Михайловское в 1824 г. (послание «К Языкову»), но познакомился с ним, «роднёй по вдохновению», лишь летом 1826 г. Впечатления этого лета Языков выразил в большом послании к Пушкину «Тригорское», которое Пушкин по приезде в Москву в том же году «с восторгом читал» в дружеском кругу. В ответном послании Пушкин называет по-

эзию Языкова «хмельною брагой» («Какой избыток чувств и сил, какое буйство молодое!»); вот эта-то струя в творчестве Языкова не позволила бы Пушкину первое издание стихотворений Языкова 1833 г. считать «сводом элегий», тождественным по настроению с элегиями Ленского. Но IV глава романа писалась в 1825 г., и Пушкин по-своему был прав в своём приговоре.

XXXII

Но тише! Слышишь? Критик строгий
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогий
И нашей братье рифмачам
Кричит: «Да перестаньте плакать,
И всё одно и то же квакать,
Жалеть о прежнем, о былом:
Довольно, пойте о другом!»
— Ты прав, и верно нам укажешь
Трубу, личину и кинжал,
И мыслей мёртвый капитал
Отвсюду воскресить прикажешь:
Не так ли, друг? — Ничуть. Куда!
«Пишите оды, господа,

XXXIII

Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено...»

Критик строгий, нападавший на элегию и защищавший оду, — это Кюхельбекер. Пушкин имел в виду его статью в «Мнемозине» 1824 г. «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (ч. 2, стр. 29—44), где Кюхельбекер, определяя лирическую поэзию как «необыкновенное, т. е. сильное, свободное, вдохновенное изложение чувств самого писателя», возвышающегося «над событиями ежедневными, над низким языком черни, не знающей вдохновенья», заявляет, что ода вполне удовлетворяет всем этим требованиям и «посему без сомнения занимает первое место в лирической поэзии, или, лучше сказать, одна совершенно заслуживает название поэзии лирической»; по мнению Кюхельбекера, в «элегии новейшей и древнейшей стихотворец говорит об самом себе,

об *своих* скорбях и наслаждениях. Элегия почти никогда не окрыляется, не ликует: она *должна* быть тиха, плавна, обдумана; должна, ибо кто слишком восторженно радуется собственному счастью — смешон; печаль же неистовая не есть поэзия, а бешенство». Критик не видит ни «силы», ни «богатства и разнообразия» в русских элегиях, этих «мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных произведениях»: «У нас всё *мечта* и *призрак,* всё *мнится* и *кажется* и *чудится,* всё только *будто бы, как бы, нечто* и *что-то.* Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь всё. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. — Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуём и пережёвываем эту тоску... Картины везде одни и те же: *луна,* — которая — разумеется — *уныла* и *бледна,* скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя звезда; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения *Труда, Неги, Покоя, Веселия, Печали, Лени* писателя и *Скуки* читателя; в особенности же туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя».



В. К. Кюхельбекер.

Эта статья произвела заметное впечатление на Пушкина: в конце 1824 г. в предисловии к I главе романа он сочувственно цитировал Кюхельбекера («станут осуждать... некоторые строфы, писанные в утомительном роде новейших элегий, в коих ч у в с т в о у н ы н и я п о г л о т и л о в с е п р о ч и е»), но решительно высказался против предпочтения жанра оды перед другими видами лирической поэзии в замечательной заметке «О вдохновении и восторге» (1824), где прямо заявил, что «ода стоит на низших степенях поэм, — трагедия, комедия, сатира — все более её требуют творчества (fantaisie) воображения, гениального знания природы. Но п л а н а нет в оде и не может быть!»

Перечисление в этой заметке таких литературных видов, как трагедия, комедия, сатира, приводит на память их символическое изображение в XXXII строфе: труба, личина и кинжал.

XXXIII

Припомни, что сказал сатирик!
Чужого толка хитрый лирик
Ужели для тебя сносней
Унылых наших рифмачей?

Пушкин имел в виду И. И. Дмитриева (1760—1837), написавшего в 1795 г. сатиру «Чужой толк», в которой осмеял одописцев, преимущественно из числа тех, кто, принадлежа к служилому люду невысокого чина («лейб-гвардии капрал, асессор, офицер, какой-нибудь подьячий иль из кунсткамеры антик, в пыли ходячий, уродов страж»), писали «торжественные оды — иная в двести строф» по правилам пиитики («сперва прочтёшь вступленье, тут предложение, а там и заключенье»), имея одну лишь цель — «награда перстеньком, нередко сто рублей иль дружество с князьком, который отроду не читывал другого, кроме придворного подчас месяцеслова, иль похвала своих приятелей; а им печатный всякий лист быть кажется святым».

Хитрый лирик — тот изображённый в сатире Дмитриева «стихотворитель», который, считая себя «природным поэтом», обладающим всем, что, по его мнению, нужно для поэзии — «отвага, рифмы, жар», — сочинял оду «в один присест» такими приёмами:

«*Пою!*.. Иль нет, уж это старина!
Не лучше ль: *Даждь мне Феб!*.. Иль так: *Не ты одна*
Попала под пяту, о чалмоносна Порта!
Но что же мне прибрать к ней в рифму кроме чорта?

Такому поэту казалось, что «начало никогда певцов не устрашает: что хочешь, то мели!» А дальше надо хвалить: *«ликуй, герой! ликуй, герой, ты!»* Потом надобен восторг.

Скажу: *кто завесу мне вечности расторг?*
Я вижу молний блеск! Я слышу с горня света
И то, и то... А там... известно: *многи лета!*
Брависсимо: и план, и мысли — всё уж есть!
Да здравствует поэт! Осталося присесть,
Да только написать, да и печатать смело!

Дмитриев в своей сатире говорил, что так «пиндарили» многие одописцы. Пушкин иронически спрашивал «строгого критика»,

неужели автор од, подобный описанному в «Чужом толке» «хитрому лирику», для него ценнее, «сноснее» унылых элегиков?

Так как в 20-х годах в связи со смертью Байрона (7 апреля 1824 г.) вновь вспыхнуло одопарение в русской лирике и, в частности, Кюхельбекер написал с соблюдением всех «правил» оду «Смерть Байрона» (1824), а Пушкин пародировал одописцев в своей «Оде его сиятельству графу Хвостову» (1825), то острота иронического вопроса Кюхельбекеру, считавшему и пушкинские элегии «слабыми», становится вполне ясной. В связи с полемикой о господствовавших жанрах уместно напомнить стихотворение Баратынского «Богдановичу», 1824 г., где поэт в полном согласии с Кюхельбекером и Пушкиным зло отзывался об элегиках, твердивших одни и те же «задумчивые враки» («душа увянула и сердце отцвело»).

XXXIII

... Тут бы можно
Поспорить нам, но я молчу,
Два века ссорить не хочу.

Ода — по «Словарю» Остолопова (ч. 2, стр. 231 и далее): песнь «тогда только может быть хороша, когда в ней соединены бывают избранные выражения с величественностью мыслей, пламенное воображение с основательным рассудком, красота и разнообразность предметов с искусством в воображении и даже наконец правильность стихов с плавностью и приятностью звуков». Ода была наиболее характерным видом лирической поэзии русского дворянства XVIII в., «высоким штилем» воспевавшей знатных особ и торжественные с точки зрения дворянского класса события придворной и государственной жизни. Правда, для выражения интимной жизни, тех переживаний, которые возникали на почве светских развлечений, одновременно с одописцами существовали лирики — авторы любовных элегий (ср. Ломоносов и Сумароков). К началу XIX в. элегический жанр с разнообразной тематикой при усложнении культурных запросов дворянства стал преобладать. Поэтому, несмотря на существование оды, жанра, воскресавшего с особой силой в такие моменты, когда разнообразные группы дворянства монолитно сплачивались для защиты своих классовых интересов (например, одописный поток в Отечественную войну 1812 г.), несмотря на традиционные убеждения всяческих староверов, доказывавших и в

20-х годах, что «в одной только оде совершенно исполняет поэт своё звание» (Остолопов, стр. 232), не этому жанру принадлежало первенство. «Элегическое куку» громче одописного витийства звучало в дворянской лирике, штампованностью поэтических красок уже вызывая возражения со стороны разнообразных (не только прогрессивных) общественных и литературных групп, боровшихся за новое содержание в поэзии.

Пушкин хотя и сказал, что не хочет «два века ссорить», но, сознавая свою связанность с литературными течениями XVIII в. (элементы лексики, классической символики, образности в лирике и поэмах, в романе) [9] и припоминая свой собственный «венок элегий», по содержанию некогда близкий к опытам Ленского и других «унылых рифмачей», тем не менее решительно восстал в XXXII—XXXIII строфах романа против «мёртвого капитала» мыслей, облечённых в обветшалые литературные формы. Следует, однако, помнить, что Пушкин прибегал к форме оды, когда ему надо было передать в стихах важную, имеющую в его глазах большое идейное значение тему. Так, одой называл он стихотворение «Наполеон», начатое в 1821 г.; но дело в том, что это стихотворение, законченное в 1825 г., и своей идейной настроенностью, и стилистикой находилось в резком противоречии с «мёртвым капиталом» архаической оды; в черновых набросках его вскрывается громадная работа Пушкина, усиленно устранявшего риторическую условность канонического жанра.

XXXV

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей,
Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу...

Известно, что Арина Родионовна рассказывала поэту сказки, пела песни, «занимала (его и друзей) про стародавних бар пленительным рассказом». Пушкин поведал в этой строфе, что сам читал ей в Михайловском свои поэтические произведения. Название няни «подругой юности» повторяется в одновременно написанном стихотворении «Зимний вечер».

«Д у ш у т р а г е д и е й в у г л у». — Летом 1826 г. Пушкин читал «Бориса Годунова» А. Н. Вульфу, сыну П. А. Осиповой, владелицы Тригорского.



Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.

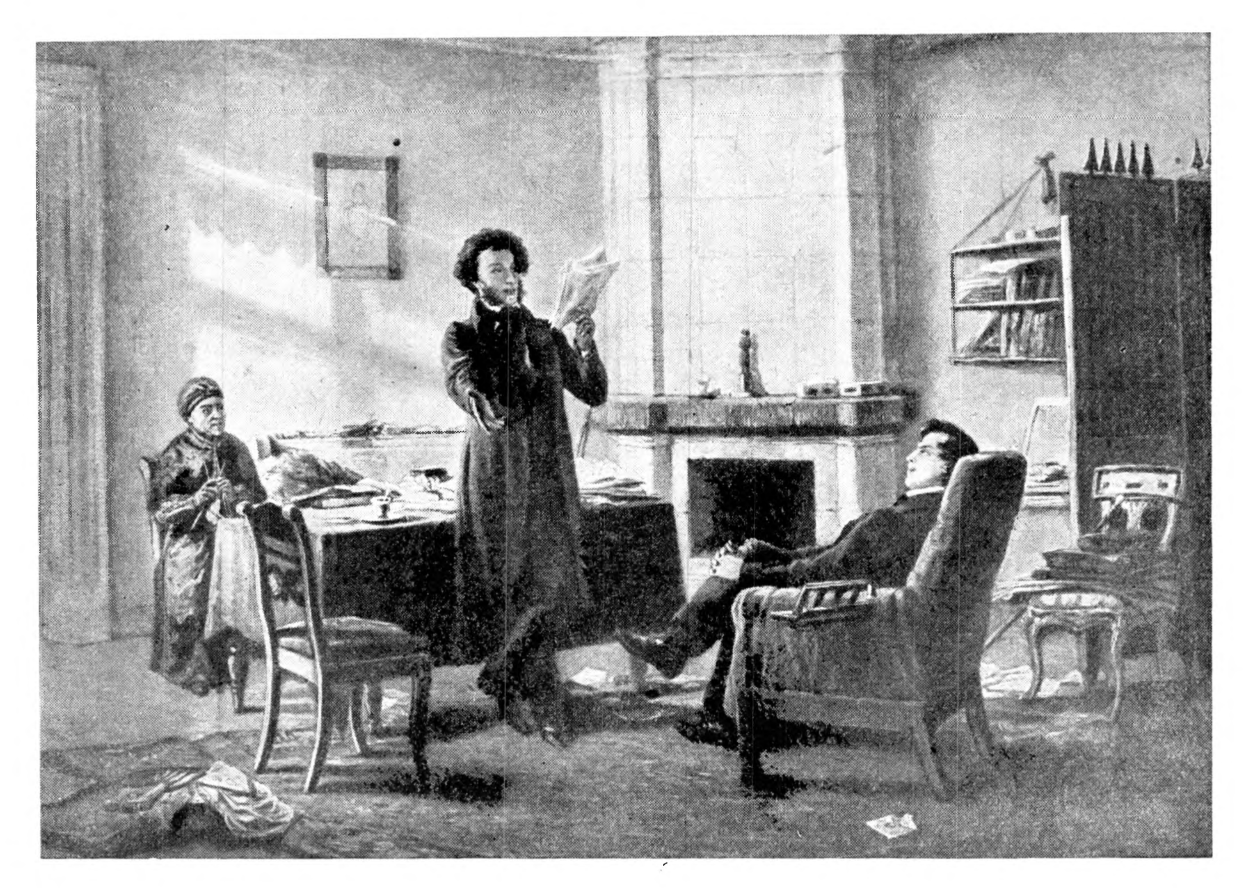
Горько-ироническое «снижение» томящимся в ссылке поэтом идиллической картинки, стилизованной в античном духе, с которой в 1821 г. обратился к Пушкину Баратынский, приглашая его вместе с Дельвигом «под мирный кров»:

Очаровательный певец
Любви, свободы и забавы,
Ты, Пушкин, — ветреный мудрец,
Наперсник шалости и славы, —
Молитву радости запой,
Запой: соседственные боги,
Сатиры, фавны козлоноги,
Сбегутся слушать голос твой,
Певца внимательно обстанут
И, гимн весёлый затвердив,
Им оглашать наперерыв
Мои леса не перестанут. («Пиры»)

XXXVI—XXXVII

Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

А н а х о р е т о м, т. е. уединённо. Слово а н а х о р е т — греческого происхождения; так назывались отшельники во времена распространения христианства, покидавшие города и селившиеся в пустынных местах (первоначально в Египте).



Пушкин и Пущин в с. Михайловском. С картины Н. Н. Е.

Гюльнара — героиня поэмы Байрона «Корсар».

Геллеспонт — старинное название Дарданелльского пролива. В античной мифологии рассказывалось, как дети царя Афаманта и нимфы Нефелы (т. е. Тучи) — мальчик Фрикс и златокудрая Гелла — плыли по Понту Евксинскому (нынешнему Чёрному морю) на великане-баране с золотым руном и как ослабевшая Гелла, соскользнув, потонула в проливе; по её имени и был назван пролив Геллеспонтом, т. е. «морем Геллы». В биографиях Байрона передавалось, что 3 июля 1810 г. он переплыл в течение часа и 10 минут Дарданелльский пролив.



В рукописи строфа имела окончание:

Только вряд
Носили вы такой наряд.

За этим следовала выпущенная XXXVIII строфа, где читаем:

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский на распашку
И шапку с белым козырьком —
И только...[10]

Б. Модзалевский указал на одно свидетельство, подтверждающее, что именно такой наряд («убор») был у Пушкина в Михайловском, когда писалась IV глава. Секретный агент Бошняк, командированный начальством для собирания сведений о Пушкине, доносил: «В Новоржеве от хозяина гостиницы Катосова узнал я, что на ярманке Святогорского Успенского монастыря Пушкин был в рубашке, подпоясан розовою лентою, в соломенной широкополой шляпе и с железной тростью в руке...»[11]

XXXVI—XXXIX

В описании образа жизни Онегина Пушкин зарисовал своё «житьё-бытьё», как сам он сообщил об этом Вяземскому в июньском письме 1826 г.: «В IV песне Онегина я изобразил свою жизнь».

XLI

В избушке распевая, дева
Прядёт, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

К этим стихам Пушкин поместил примечание: «В журналах удивлялись, как можно было назвать девою простую кре-

стьянку, между тем как благородные барышни немного ниже названы девчонками!» В связи с упомянутым здесь стихом «Девчонки прыгают заране» (гл. V, строфа XXVIII) Пушкин заметил: «Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха».

Враждебные Пушкину выпады консервативной критики против «неприличных» стихов появились в 1828 г. в журналах «Атеней» и «Санктпетербургский зритель».

XLIII

В глуши что делать в эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Невольно докучает взору
Однообразной наготой.

В беловой рукописи был вариант:

В глуши что делать в это время?
Гулять? — Но голы все места,
Как лысое Сатурна темя
Иль крепостная нищета.

В черновике последний стих первоначально был написан:

И скучно всё (как) нищета —

с вариантом:

Как крепостная нищета
Иль крепостная нищета.

По цензурным причинам Пушкин не мог включить в печатный текст своих раздумий о крепостной деревне. Автор «Деревни» (1819) за годы скитаний по Руси накопил много материала для описания жизни «рабства тощего», но политическая реакция в царствование Николая I вынуждала поэта приглушать его социально-протестующие чувства, не давать им места в его художественном творчестве. Так, в V главе вместо «лошадки» крестьянина в первоначальном черновом варианте было:

И тощий конь его почуя...
И старая...



Сиди под кровлею пустынной,
Читай: вот Прадт, вот W. Scott.

Прадт (1759—1837) — французский публицист, пользовавшийся успехом среди читателей благодаря злободневности и сатирическим выпадам. Его книга «Европа и Америка» упоми-

нается, между прочим, П. А. Вяземским (Соч., т. VII, стр. 81). В своих сочинениях аббат Прадт обычно указывал Европе на русскую опасность; А. И. Тургенев 28 апреля 1815 г. писал Вяземскому: «Английские газеты всё прадствуют, всё страшат нами» [12].

Вальтер Скотт (1771—1831) — знаменитый шотландский писатель, автор исторических романов, высоко ценимый Пушкиным («Вальтер Скотт — это пища души», — писал Пушкин брату в 1824 г.). О Вальтер Скотте говорят Саша и Лиза в «Романе в письмах»; граф Нулин «в Петрополь едет» «с романом новым Вальтер Скотта» (ещё: «в постеле лёжа, Вальтер Скотта глазами пробегает он»).

XLIV

Прямым Онегин Чильд Гарольдом
Вдался в задумчивую лень...

Прямой в смысле «настоящий, подлинный»; слово с таким значением, часто употреблявшееся поэтом в его произведениях, перешло к Пушкину из книжного языка XVIII в.; ср. у Державина: «путь добродетели прямой» («Фелица», 1783).

XLV

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мёрзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Иппокреной;
Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло...

Клико, Моэт, Аи (XLVI строфа) — наиболее известные марки шампанского — французского игристого вина, которое выделывается в провинции Шампань.

Иппокрена — Крылатый конь — Пегас (рассказывается в одном из мифов античной Греции) — спустился на склон горы Геликон, где обитали богини покровительницы искусства — Музы (их было девять), ударил копытами по сухой земле — брызнул источник воды — Гиппокрена (буквально значит: конский источник), откуда черпали своё вдохновенье поэты. Другой горой, где обитали Музы, был Парнас; здесь

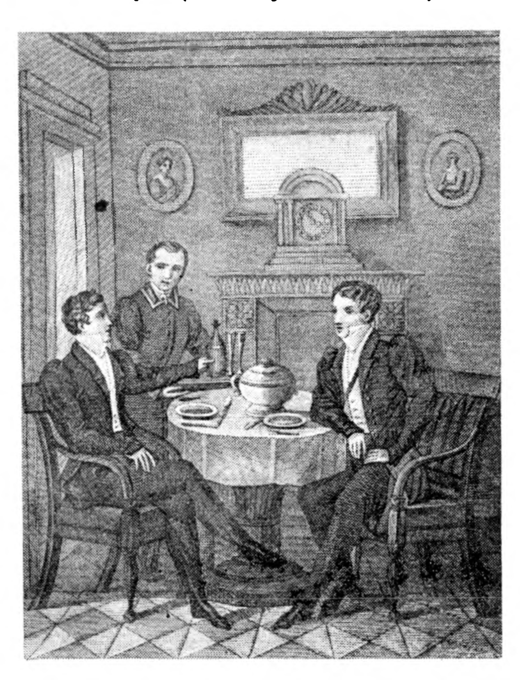
протекал Кастальский источник (ср. у Пушкина «Три ключа», 1827). Пушкин сравнивает вино с поэтическим вдохновением; в стихотворении «К Языкову» (28 августа 1826 г.), характеризуя музу своего нового приятеля, Пушкин сравнивал Иппокрену с вином — «напитком благородным»:

Нет, не кастальскою водой
Ты воспоил свою Камену;
Пегас иную Иппокрену
Копытом вышиб пред тобой.
Она не хладной льётся влагой,
Но пенится хмельною брагой.

Примечание Пушкина (№ 25) раскрывает содержание стиха: подобием того-сего. Вино (поэтически Аи) «своей игрой и пеной» казалось «подобием любви или юности безумной»; теперь, когда поэт к Аи «больше неспособен»...

Во мне уж сердце охладело.
Закрылось для любви оно,
И всё в нём пусто и темно.

(III строфа IV главы, исключённая поэтом)



Онегин и Ленский.
С рис. А. Нотбек, грав. Е. Гейтман, 1829 г.

В. Нечаева указала, что для этой строфы Пушкин использовал поэтический материал Вяземского и Баратынского. У первого в стихотворении «К партизану-поэту» (1815) читаем:

Дар благодатный, дар волшебный,
Благословенное Аи
Кипит, бьёт искрами и пеной —
Так жизнь кипит в младые дни!
Так за столом непринуждённо
Родятся искры острых слов.

Баратынский, следуя Вяземскому, писал в своих «Пирах» (1826):

...Любимое Аи.
В нём укрывается отвага,
Его звездящаяся влага
Души божественной полна,
Свободно искрится она;
[Вариант: оно и блещет и кипит]

Как гордый ум не терпит плена,
Рвёт пробку резвою волной, —
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой...

И в другом месте этой же поэмы:

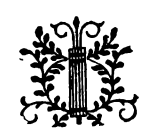
Вино лилось, вино сверкало,
Сверкали блёстки острых слов...

Однако, воспользовавшись готовыми поэтическими средствами, Пушкин вложил в их трактовку нечто, совершенно меняющее общее впечатление. Торжественность Вяземского, вдохновенную восторженность Баратынского он подменяет насмешливой снисходительностью, звучащей почти сознательной пародией:

Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло...
. . . .
Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало...[13]

Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена...

В примечании Пушкин сообщил: «Август Лафонтен, автор множества семейственных романов». В журнале «Благонамеренный» (1818, ч. 3) в переведённой с немецкого статье об этом немецком романисте, выразителе вкусов растущей европейской буржуазии, было сказано: «Сочинения его, сколько, с одной стороны, обнаруживают в превосходных чертах глубокое знание человеческого сердца и отличаются многими обдуманными и весьма основательными рассуждениями (наиболее относительно воспитания детей), столько же, с другой, содержат в себе многие ненужные повторения, несообразности в самом плане и ходе пьесы» (и т. д.).





ГЛАВА ПЯТАЯ

III

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег.
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец Финляндки молодой!

Рисуя в предшествующей строфе картины зимы с такими подробностями, как «крестьянин на дровнях», «ямщик в тулупе», «дворовый мальчик», Пушкин предвидел, что для обширного круга дворянских читателей вроде тех, кто оскорбился, что поэт назвал девою «простую крестьянку», а «благородных барышень девчонками» (см. выше, комм. к XLI строфе IV главы), эти картины покажутся «низкой природой». Не считаясь с этими враждебными отзывами, Пушкин смело вводил в свой роман реалистические описания русской природы и быта.

Указывая на другого поэта, который «роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег», Пушкин намекал на следующий отрывок в стихотворении Вяземского «Первый снег» (1819):

Лазурью светлою горят небес вершины,
Блестящей скатертью подёрнулись долины,
И ярким бисером усеяны поля;

На празднике зимы красуется земля
И нас приветствует живительной улыбкой;
Здесь снег, как лёгкий пух, повис на ели гибкой;
Там, тёмный изумруд посыпав серебром,
На мрачной он сосне разрисовал узоры.
Рассеялись пары, и засверкали горы,
И солнца шар вспылал на своде голубом.
Волшебницей зимой весь мир преобразован;
Цепями льдистыми покорный пруд окован
И синим зеркалом сравнялся в берегах.
Забавы ожили; пренебрегая страх,
Сбежались смельчаки с брегов толпой игривой
И, празднуя зимы ожиданный возврат,
По льду свистящему кружатся и скользят.
Там ловчих полк готов; их взор нетерпеливый
Допрашивает след добычи торопливой:
На бегство робкого нескромный снег донёс;
С неволи спущенный, за жертвой хищный пёс
Вверяется стремглав предательскому следу,
И довершает нож кровавую победу.
Покинем, милый друг, темницы мрачный кров!
Красивый выходец кипящих табунов,
Ревнуя на бегу с крылатоногой ланью,
Топоча хрупкий снег, нас по полю помчит.
Украшен твой наряд лесов сибирских данью,
И соболь на тебе чернеет и блестит.
Презрев мороза гнев и тщетные угрозы,
Румяных щёк твоих свежей алеют розы
И лилия свежей белеет на челе,
Как лучшая весна, как лучшей жизни младость,
Ты улыбаешься утешенной земле.
О пламенный восторг! В душе блеснула радость,
Как искры яркие на снежном хрустале.
Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость!

В обещанное состязание с Вяземским Пушкин вступил, как указывал И. Н. Розанов, в некоторых стихотворениях 1829—1830 гг. — «Зимнее утро», «Зима» — и особенно в «Осени» [1].

«Певец Финляндки молодой» — Е. Баратынский, автор «финляндской повести» «Эда», отрывок из которой — «Зима» — был напечатан в «Полярной звезде» на 1825 г. (стр. 372—373):

Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под сугробов снеговых,
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют; снег буграми
Лежит на соснах вековых.
Кругом всё пусто — зашумели,
Завыли зимние метели...

V—VI

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны...

Далее приводится длинный перечень суеверий, связанных с разнообразными явлениями природы. Стихотворение 1829 г. «Приметы» повторяет предчувствия Татьяны — как отражение личного опыта поэта:

Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

Пушкин не пытался объяснять странного соединения в своём мировоззрении элементов материализма с тёмными суевериями; в «Капитанской дочке» по поводу «пророческого сна» Гринёва (ср. сон Татьяны: «Евгений хватает длинный нож — и вмиг повержен Ленский»; ср. сны Руслана, Марьи Гавриловны в «Метели», Григория Отрепьева в «Борисе Годунове») он просто констатировал наличие и распространённость самого факта: «Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам».

VII

Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противоречию склонна.

Эта тема стояла перед поэтом ещё в 1820 г., когда он писал:

Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жён лобзаний не достоин —

и нашла своё завершение в «Пире во время чумы» (1830) в следующих строках:

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.

Ср. признание Татьяны:

Погибну, — Таня говорит, —
Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать.

(Гл. VI, строфа III)

Отзвук этой темы находим в стилистических деталях романа: например, з л о б н о е в е с е л ь е (в письме Онегина).

VIII

...И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Т а м м у ж и ч к и - т о в с е б о г а т ы,
Г р е б у т л о п а т о й с е р е б р о;
К о м у п о ё м, т о м у д о б р о
И с л а в а!» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей к о ш у р к а сердцу дев.

В примечании Пушкин отметил: «Зовёт кот кошурку в печурку спать. Предвещание свадьбы; первая песня предрекает смерть».

В этой строфе описано сохранявшееся в пушкинское время как в деревне, так и в дворянской усадьбе святочное гадание посредством колец и подблюдных песен. Полные тексты обеих песен следующие:

1. У Спаса в Чигасах за Яузою
Живут мужики богатые,
Гребут золото лопатами,
Чисто серебро лукошками.
2. Уж как кличет кот кошурку в печурку спать:
Ты поди, моя кошурка, в печурку спать;
Есть скляница вина и конец пирога;
У меня, у кота, и постеля мягка.

Припев ко всем подблюдным песням:

Да кому мы спели, тому добро;
Кому вынется, тому сбудется,
Тому сбудется, не минуется.

К каждому стиху подблюдных песен припевается слово «слава»:

У Спаса в Чигасах за Яузою, слава, и т. д. [2]

Первая песня («у Спаса в Чигасах» и т. д.) приведена среди прочих подблюдных песен в «Словаре» Остолопова (ч. II, стр. 476, изд. 1821 г.); там сказано, что когда вынимают из блюда, покрытого платком, кольца присутствующих во время гадания-игры и поют песни, из содержания коих заключают, что впредь случится: прибыль, свидание, вступление в брак и пр., то эта песня предвещает прибыль, тогда как, по Пушкину, «сулит утраты сей песни жалостный напев». По песеннику 1819 г. значение первой песни: «Пожилым — к смерти, а незамужним — к браку»; значение второй — то, которое указано Пушкиным.

X

...Но стало страшно вдруг Татьяне...
И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и быть...
С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьётся Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло всё. Татьяна спит.

В балладе Жуковского «Светлана», начинавшейся описанием гадания («Раз в крещенский вечерок девушки гадали»), героиня «с тайной робостью» садится к зеркалу гадать; автор то и дело подчёркивал чувство страха, овладевшее ею: «страх туманит очи... занялся от страха дух» и т. д. (см. эпиграф к V главе).

Лель — заимствованное из книжных источников представление о якобы существовавшем в славянской мифологии боге любви (Пушкин вспоминает Леля в «Руслане и Людмиле»: «ночную лампу зажигает Лель», «и Лелем свитый им венок»).

XI—XXI

Сон Татьяны находится в тесной связи с «простонародной сказкой», балладой Пушкина «Жених», черновые наброски которой находятся как раз среди черновиков IV главы романа, законченной 3 января 1826 г.; V глава, как известно, была начата 4 января 1826 г. Общая схема, отдельные подробности, даже выражения (ср., например, в «Женихе»: «вдруг слышу крик и конский топ» и в XVII строфе: «людская молвь и конский топ»),

настолько близки, что заставили одного из исследователей, Н. Сумцова, назвать сон Наташи («Жених») «любопытной литературной параллелью ко сну Татьяны» (Харьковский сборник в память Пушкина, стр. 277), а другого — прийти к выводу, что Пушкин, вплетя в сновидения дворянской девушки песенно-сказочный материал, ходивший «среди простолюдинов», имел в виду выпуклей очертить образ Татьяны — не той, которая в III главе являлась «уездной барышней с французской книжкою в руках», а другой Татьяны, проникнутой деревенской стихией в большей мере, чем сама она предполагает; «её подсознательный мир полон теми образами, что и подсознательный мир девушек, летом распевавших в саду Лариных песню про молодца. И хотя офранцуженная Татьяна внимала песне с небреженьем — «молодец» близок ей до того, что она его видит во сне» [3].



Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой взъерошенный медведь...

В. Ф. Миллер в статье «Пушкин как поэт-этнограф» (1899) писал: «Художественной реминисценцией русских сказок является в сне Татьяны услужливый медведь, уносящий Татьяну в лесную избушку и заговоривший с ней человечьим голосом:

Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко.

Всякий, несколько знакомый со взглядами крестьян на медведя, с поверьями о нём и с его ролью в сказках, невольно почувствует, откуда появился медведь в воображении Пушкина и затем в сне Татьяны, заснувшей с зеркалом под подушкой, после святочных гаданий, настроивших её воображенье в духе народных поверий» (стр. 45—46).

Чудовища в сне Татьяны (строфы XVI—XVII; XIX), видимо, не были только «миром карикатур мечтательных», как отмечалось уже в современной Пушкину критике. В первопечатном тексте были строчки —

Там суетится ёж в ливрее...
Там мельница в мундире пляшет, —

которые заставляют предполагать, что автор романа метил в какие-то живые, конкретные лица [4]. Во всяком случае, бесспорно, как отметил один из пушкинистов, подхватив мнение современного Пушкину критика, что в описании чудовищ, «адских приви-

дений» в сне Татьяны и в описании соседей-гостей, съехавшихся на семейный праздник к Лариным (строфы XXV и сл.), есть параллельные черты. «В сне Татьяны — в нарочитом искажении, в чудовищных гротесках поэт зарисовывает то же мелкопоместное дворянство, которое несколькими строками позднее предъявляет в его собственном, почти не уступающем сну, виде — в шумной «галерее карикатур», съехавшихся «целыми семьями» на «весёлый праздник именин» к Лариным» [5]. Эта догадка находит подтверждение в текстовых сопоставлениях, сделанных Д. Д. Благим:

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ!

(Сон Татьяны)

Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога...

(Приезд гостей)

В. Ф. Боцяновский указал, что характер изображения «чудовищ» в сне Татьяны напоминает русскую лубочную картинку конца XVIII века «Бесы искушают св. Антония» и картину Иеронима Босха «Искушение св. Антония» [6]. Исследователю осталось неизвестным, что копия с картины Мурильо на эту тему находилась в с. Михайловском (см. «С.-Петербургские ведомости», 1866, № 139).

Помимо указанного материала источником сна Татьяны могли служить книжные впечатления. Поэту были известны «Русские сказки» Чулкова (1783); в одной из них автор описал собрание фантастических чудовищ, кое в чём напоминающее в деталях и в тоне пушкинскую картинку: «Вся комната наполнилась дьяволами различного вида. Иные имели рост исполинский, и потолок трещал, когда они умещались в комнате; другие были так малы, как воробьи и жуки с крыльями, без крыльев, с рогами, комолые [7], многоголовые, безголовые, похожие на зверей, на птиц и всё, что есть в природе ужасного. Все ревели, страшно выли, сипели, скрежетали и бросались на богатыря» [8]. Припомнился Пушкину и сон, выдуманный Софьей Фамусовой:

Мы в тёмной комнате...
Тут с громом распахнули двери
Какие-то не люди и не звери...
Нас провожает стон, рёв, хохот, свист чудовищ!
Он вслед кричит!..

По поводу осуждения в журналах слов: *хлоп, молвь* и *топ* как неудачного нововведения Пушкин в примечании (30) писал:

«Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» («Сказка о Бове Королевиче»). *Хлоп* употребляется в просторечии вместо *хлопание,* как *шип* вместо *шипение.*

Он шип пустил по-змеиному.

(«Древние русские стихотворения»)
[Кирши Данилова]

Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка».

В «Критических заметках» (1830) Пушкин вновь вернулся к этой теме защиты просторечья в литературном языке: «Более всего раздражал его [критика Надеждина] стих:

Людскую молвь и конский топ.

«Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский язык?» Над этим стихом жестоко потом посмеялись и в «Вестнике Европы». *Молвь* (речь) слово коренное русское. *Топ* вместо *топот* столь же употребительно, как и *шип* вместо *шипение* и *хлоп* вместо *хлопание* (следственно вовсе не противно духу русского языка)...

На ту беду и стих-то весь не мой, а взят целиком из русской сказки:

«И вышел он за ворота градские, и услышал конский топ и людскую молвь» («Бова Королевич»).

Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка. Критики наши напрасно ими презирают».

XXII

Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,
Ни мудрых истин, ни картин,
Но ни Виргилий, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод Журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека,
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.

Расин (1639—1699) — французский драматург, автор трагедий «Федра», «Гофолия» и др., в оценке Пушкина, «певец

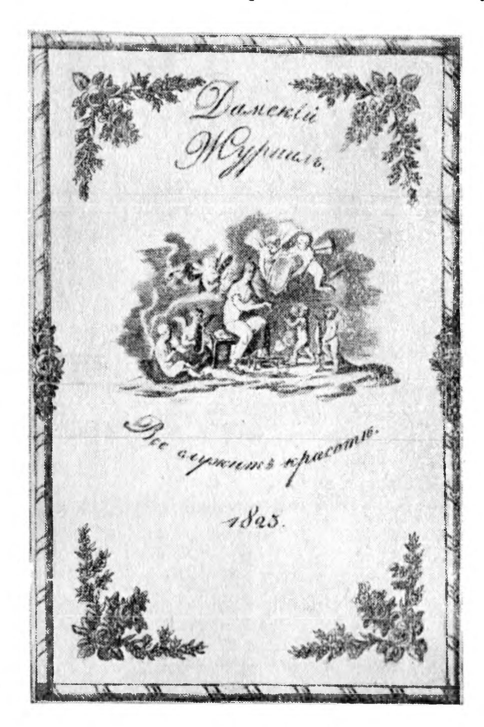
влюблённых женщин и царей»; стихи Расина, по его словам, полны «смысла, точности и гармонии».

Сенека (умер в 65 году I в. н. э.) — римский философ и драматург; проповедник стоицизма — строгих принципов морали, основанных на разуме; о нём поэт упомянул в варианте к X строфе VIII главы:

«Мы рождены», сказал Сенека,
«Для пользы ближних и своей».
Нельзя быть проще и ясней.

Дамских мод журнал — вероятно, «Дамский журнал», издаваемый с 1823 г. кн. П. И. Шаликовым.

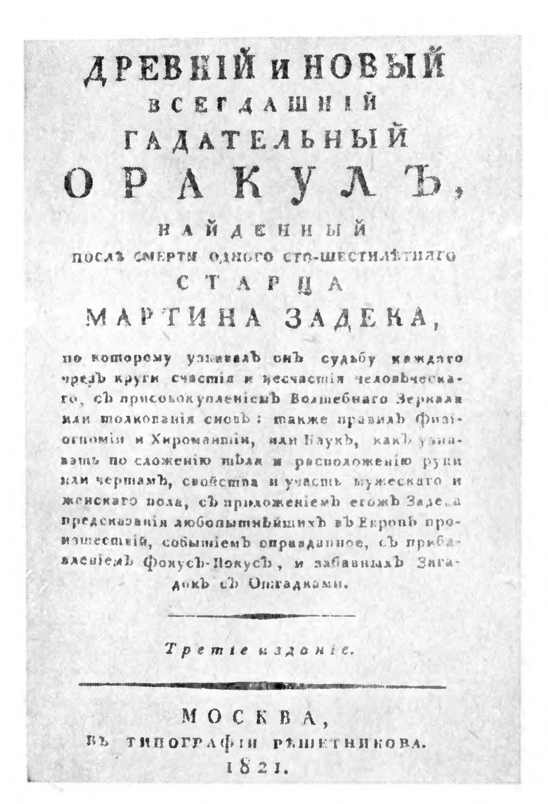
Мартын Задека. Полное заглавие «толкователя снов» было таково: «Древний и новый всегдашний гадательный оракул, найденный после смерти одного сташестилетнего старца Мартина Задека, по которому узнавал он судьбу каждого чрез круги счастия и несчастия человеческого, с присовокуплением Волшебного Зеркала или толкования снов; также правил Физиогномии и Хиромантии, или Наук, как узнавать по сложению





Титульный лист и модная картинка из «Дамского журнала» 1823 г.

тела и расположению руки или чертам, свойства и участь мужеского и женского пола, с приложением его ж Задека предсказания любопытнейших в Европе происшествий, событием оправданное, с прибавлением Фокус-Покус и забавных Загадок с Отгадками» (3-е издание, М. В типографии Решетникова. 1821. 8°. 256 стр.).


ДРЕВНІЙ и НОВЫЙ
ВСЕГДАШНІЙ
ГАДАТЕЛЬНЫЙ
ОРАКУЛЪ,
НАЙДЕННЫЙ
послѣ смерти одного сто-шестилѣтняго
СТАРЦА
МАРТИНА ЗАДЕКА,

по которому узнавалъ онъ судьбу каждаго чрезъ круги счастія и несчастія человѣческаго, съ присовокупленіемъ Волшебнаго Зеркала или толкованія сновъ: также правилъ Физіогноміи и Хиромантіи, или Наукъ, какъ узнавать по сложенію тѣла и расположенію руки или чертамъ, свойства и участь мужескаго и женскаго пола, съ приложеніемъ егожъ Задека предсказанія любопытнѣйшихъ въ Европѣ произшествій, событіемъ оправданное, съ прибавленіемъ Фокусъ-Покусъ, и забавныхъ Загадокъ съ Отгадками.

Третіе изданіе.

МОСКВА,
ВЪ ТИПОГРАФІИ РѢШЕТНИКОВА.
1821.

Титульный лист «Гадательного оракула» Мартина Задека, 1821 г.

XXIII

Сие глубокое творенье
Завёз кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец

Его с разрозненной Мальвиной
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв ещё за них
Собранье басен площадных,
Грамматику, две Петриады,
Да Мармонтеля третий том.

«Мальвина» — роман в 6 частях писательницы Коттэнь (перевод на русский яз., 1816—1818).

«Петриада» — героическая поэма в 10 песнях А. Грузинцева, СПБ 1812 и 1817 гг. Другие поэмы о Петре принадлежали кн. С. А. Шихматову (1810) и Сладковскому (1803). О Мармонтеле см. комм. к VI строфе I главы.

Перечень книг, завезённых «кочующим купцом» к Лариным «в уединенье», говорит об авторах, давно уже потерявших прелесть новизны в столичном культурном читательском кругу: некто В. Дмитриев, рекомендуя в 1825 г. молодым людям читать Стерна, Сервантеса, утверждал: «Мой Виктор после такого чтения считает стыдом взять в руки слезливый роман Лафонтена... неестественные характеры Коттэнь...» [9].

XXV

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Весёлый праздник именин.

В примечании № 34 Пушкин указал, что первые строчки пародируют «известные стихи Ломоносова» (начало оды 1746 г. «На день восшествия на престол Елизаветы Петровны») [10]. Будучи лицеистом, он ученически следовал поэтической традиции XVIII века, бросая в стихотворении «Кольна» (1814) образ:

Денница красная выводит
Златое утро в небеса.

В «Сражённом рыцаре» (1815):

Но утро денница выводит...

Ср. также в «Кавказском пленнике» (1821):

Заря на знойный небосклон
За днями новы дни возводит.

Тот же образ, без всякой пародии на Ломоносова, встре-

чается в стихотворении Д. П. Горчакова, поэта, ценимого Пушкиным:

Меж тем Аврора выходила
И тихо-тихо выводила
Из моря солнце за собой.

(«Соловей») [11]

XXVI

Выделяя «простую, русскую семью» Лариных из обедневшего дворянства, зарисовывая её иногда с сочувствием, иногда с добродушной усмешкой, Пушкин не щадит красок в изображении мелкопоместного дворянства, некультурного, «дикого» (ср. в «Деревне»: «барство дикое» и в «Романе в письмах»: «Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек; но, признаюсь, дай бог им промотаться, как нашему брату! Какая дикость! Для них ещё не прошли времена Фонвизина, между ними процветают Простаковы и Скотинины»); кратко, но метко и зло обнаруживает он изнанку крепостной действительности, выводит всех этих «господ соседственных селений»:

Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;

«толстый Пустяков»; «Скотинины, чета седая», неспроста носящие фамилию героя фонвизинской комедии «Недоросль», прославившегося во всём околотке тем, что «мастерски оброк собирает» с своих крестьян, с которых «сдирает всякий убыток»; отставной советник Лянов — «тяжёлый сплетник, дамский шут, обжора, ростовщик и плут...» (в беловой рукописи).

Буянов — герой шутливой поэмы «Опасный сосед» (1810—1811), написанной дядей Пушкина, Василием Львовичем Пушкиным, и, вследствие нескромного содержания, ходившей в списках. Буянов сделался в литературных кругах типическим образом одного из тех людей, кто впоследствии нашёл мастерское воплощение в гоголевском Ноздрёве; Буянова, например, вспоминает Батюшков в послании «Князю П. И. Шаликову» (1818):

...в стране иной,
Где ввек не повстречаюсь с вами:
В пыли, в грязи, на тряской мостовой,
«В картузе с козырьком, с небритыми усами...»
Как Пушкина герой,
Воспетый им столь сильными стихами.

Характеризующая Буянова строчка: «В пуху, в картузе с козырьком» находится в поэме В. Л. Пушкина в следующем контексте, дающем возможность более полно узнать облик одного из гостей в доме Лариных:

...Буянов, мой сосед,
Имение своё проживший в восемь лет
С цыганками, с ..., в трактирах, с ямщиками,
Пришёл ко мне вчера, с небритыми усами,
Растрёпанный, в пуху, в картузе с козырьком,
Пришёл, — и понесло повсюду кабаком.

Среди гостей ещё намечались «Кирин важный», «Лазоркина — вдова-вострушка» («сорокалетняя вертушка»), «толстого Пустякова» заменял «толстый Тумаков», Пустяков был назван «тощим»; Петушков был «отставным канцеляристом».

XXVII, XXXII

Песенка-куплет, привезённый и спетый мосье Трике, — одно из популярнейших произведений Дюфрени (1648—1724), драматурга и автора нескольких известных в своё время романсов и куплетов («Пушкин и его современники», вып. 28; здесь на стр. 68, 70 приведены текст и мотив куплета).

XXX—XXXI

В XXX строфе автор, изображая смятенье Татьяны, неожиданно увидевшей вместе тех, чья судьба в её сновидении в эту ночь мелькнула в таком ужасном, трагическом исходе, — говорит, что она была «уже готова в обморок упасть, но воля и рассудка власть превозмогли». Между тем в следующей (XXXI) строфе говорится, что Евгений давно терпеть не мог «девичьих обмороков, слёз», — как будто Татьяна на самом деле упала в обморок. Объяснение этому месту даётся первоначальным вариантом XXX строфы:

Она приветствий двух друзей
Не слышит — слёзы из очей
Хотят уж хлынуть — вдруг упала
Бедняжка [в обморок] — тотчас
Её выносят, суетясь.
Толпа гостей залепетала.
Все на Евгения глядят,
Как бы во всём его винят.

В свете этого отрывка более понятно, почему Онегин, «попав на пир огромный, уж был сердит... надулся» и пр.

XXXII

Да вот, в бутылке засмолёной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;

За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристал души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!



Бал у Лариных.
С рисунка П. Соколова.

Зизи — Евпраксия Николаевна Вульф (1810—1883), сестра пушкинского приятеля А. Н. Вульфа, принимала деятельное участие в пирушках в Михайловском и в Тригорском, мастерски варила жжёнку; ей Пушкин посвятил стихи «Вот, Зина, вам совет» (1826), ей написал в альбом знаменитое «Если жизнь тебя обманет» (1825).

XXXV

Столы зелёные раскрыты:
Зовут задорных игроков
Бостон и ломбер стариков,

И вист, доныне знаменитый,
Однообразная семья.
Все жадной скуки сыновья.

Карточные игры «зовут задорных игроков»; Пушкин, назвав их «однообразной семьёй», указал причину тяготения к бостону, ломберу и висту: «жадная скука», по его мнению, породила эти игры. Если отсутствие значительных умственных интересов в среде провинциального дворянства (см. темы их разговоров в XI строфе II главы, в I строфе III главы) заставляло «героев виста» тратить время на «робберы», то и столичная либеральная молодёжь, задыхаясь в условиях политической реакции аракчеевского режима, видела в бостоне средство убить свою «жадную скуку». 30 сентября 1820 г. Н. И. Тургенев записал в своём дневнике: «Жить тяжело..., всякий день слышишь что-нибудь неприятное. Тут невежды со всех сторон ставят преграды просвещению, там усиливают шпионство... Бостон есть лучший опиум и действует вернее всех других мер. Душно, душно!»

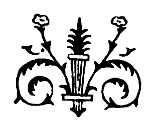
XL

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось в роде мне Альбана
Бал петербургский описать...

Альбани (1578—1660) — итальянский живописец, упоминаемый поэтом в лицейских стихотворениях «К живописцу», «Сон», в поэме «Монах», славился изображением мифологических сюжетов.

В послании А. Ф. Воейкова к Жуковскому (1813) упоминается Альбани с той особенностью приёмов его работы, которая, по предположению Н. О. Лернера («Звенья», V, стр. 77), создала ему ходовую репутацию именно живописца «мелочей». Воейков хвалит Жуковского за то, что он

Превосходен и в безделицах,
Кисть Альбана в самых мелочах.





ГЛАВА ШЕСТАЯ

Là, sotto i giorni nubilosi e brevi,
Nasce una gente a cui l'morir non dole.

Petr.

Эпиграф из канцоны Петрарки:

Там, где дни облачны и кратки,
Родится племя, которому умирать не больно.

II

Одна, печальна под окном,
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле тёмное глядит —

повторение темы из XX строфы III главы. Ср. пародийный тон в «Домике в Коломне» (1830):

... Бледная Диана
Глядела долго девушке в окно.
(Без этого ни одного романа
Не обойдётся: так заведено!)

IV—VIII

Образ Зарецкого зарисован в двойном плане: он был «картёжной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный», — теперь «в философической пустыне» он «надёжный друг, помещик мирный и даже честный человек»; его «здравый толк» в беседах доставлял удовольствие Онегину; он был «истинный мудрец», опытный хозяин с разносторонними практическими знаниями (см. XXVI строфу: «. . .механик деревенский, Зарецкий жорнов осуждал»).

Предположение, что в образе Зарецкого Пушкин вывел известного Ф. И. Толстого-американца, требует некоторых ограничений. Пушкин собирался вывести его в IV главе (ср. в письме к брату в апреле 1825 г.: «Толстой явится у меня во всём блеске в 4 песне Онегина»), которую писал в 1825 г. и в которой первоначально должны были находиться сатирические картинки московского общества. Ф. И. Толстой получил бы место среди других «оскорбительных личностей», среди тех, о ком Пушкин в том же 1825 г. писал:

О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать! [1]

Искать в Зарецком портретного сходства с Ф. И. Толстым бесполезно, но материал для образа Зарецкого Пушкин бесспорно брал с натуры, вкрапливая отдельные штрихи из жизни того, кто и в комедии Грибоедова был зло и метко заклеймён (см. в монологе Репетилова — IV действие, 4 явление: «Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист»). Ф. И. Толстой (1782—1846) ещё в 1821 г. в послании к Чаадаеву был резко очерчен Пушкиным.

Впоследствии Пушкин помирился с Толстым; оба они встречались в одном литературном и светском кругу.

В характеристике Зарецкого следующие черты напоминают Ф. И. Толстого: «Некогда буян, картёжной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный» — всё это подтверждается воспоминаниями многих лиц, его знавших; например, Булгарин рассказывает о Толстом, что тот «постоянно выигрывал огромные суммы, которые тратил на кутежи... человек эксцентрический, Толстой во всём любил одни крайности... Всё, что делали другие, он делал вдесятеро сильнее. Тогда было в моде молодечество, а Толстой довёл его до отчаянности». Прототип Зарецкого, действительно, имел репутацию шулера, нечестного игрока в карты. «Старый дуэлист», — Толстой, подобно Зарецкому, нередко «ставил на барьер друзей» и сам дрался на дуэлях, отправив на тот свет нескольких человек, будучи превосходным стрелком (ср. «в туз из пистолета в пяти саженях попадал»). О его «злой храбрости» ходили легендарные рассказы. Зарецкий «был не глуп» — и Пушкин в 1821 г. писал Гречу, изменившему стих в послании к Чаадаеву (вм. «или философа» — «глупца философа»): «Зачем глупец? Стихи относятся к американцу Толстому, который вовсе не глупец».

Вяземский называл Толстого «человеком интересным и любопытным». «Он речист», — Гоголь, давая совет, как играть Петра Петровича в «Развязке Ревизора», писал актёру Щепкину в 1846 г.: «Играющему Петра Петровича нужно выговаривать



Ф. И. Толстой-американец.
С портрета Рейхеля.

свои слова особенно крупно, отчётливо, зернисто. Он должен скопировать того, которого он знал [как] говорящего лучше всех по-русски. Хорошо бы, если бы он мог несколько придерживаться американца Толстого». «Отец семейства холостой»—намёк на связь Толстого с цыганкой Тугаевой. Толстой не «достался в плен французам» — он был только ранен в бородинском сражении. Зарецкий умел «порой расчётливо смолчать»— характеристика применима к Толстому. Когда Жихарев в его присутствии несколько раз декламировал известные стихи в монологе Репетилова, Толстой вместе с другими весело смеялся, не показывая виду, что грибоедовские строки к нему относятся. «Надёжный друг» — ср. выражение Жуковского о Толстом: «добрый приятель своих друзей». О Ф. И. Толстом, его отношениях с Пушкиным, о его зарисовках в художественной литературе см. брошюру С. Л. Толстого — «Фёдор Толстой-американец», М. 1926.

VII

Под сень черёмух и акаций...

Пародийное применение к Зарецкому стиха Батюшкова из «Беседки муз» 1817 г.:

Пускай и в сединах, но с бодрою душой,
Беспечен как дитя всегда беспечных граций,
Он некогда придёт вздохнуть в сени густой
Своих черёмух и акаций.

IX

То был приятный, благородный,
Короткий вызов иль картель:
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.

Дуэль — порождённый феодально-рыцарским обществом обычай кровавой расправы-мести, сохранялся в дворянской среде, видевшей в этом способе защиты чести одну из форм, выделявших «благородное» сословие от прочих. «Кто тогда не вызывал на поединок и кого тогда не вызывали на него?» — пишет П. В. Анненков, первый биограф Пушкина.

Пушкин погиб на дуэли, истерзанный мукой обид и оскорблений; он не был сражён пулей врага мгновенно, как Ленский, он ещё пытался слабеющей рукой выстрелить, защитить своё право на человеческое достоинство хоть на этом поле чести... Общественное сознание поэта задолго до смерти переросло сословные, кастовые понятия о чести; он давно критически относился к «пружине чести» светской молодёжи, заставил «мужа с честью», Онегина, сознаться в ошибочном шаге и содрогнуться при виде убитого друга.

Переводя читателя от одного душевного состояния к другому в XXXIII и XXXIV строфах, он гневно наносит удар по установившемуся обычаю и морально его осуждает, рисуя страшную картину перед возможным убийцей на дуэли:

Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв? [2]

X

Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной,
Так подшутил вечор небрежно.

Ср. в XIV строфе: «Зачем вечор так рано скрылись?»

Пушкин нередко употреблял это слово, взятое из русского просторечья (вечор — в смысле «вчера вечером» или вообще «вчера»):

Вечор, когда туманилась луна...
(«Эвлега», 1814)

Вечор она мне величаво
Клялась...
(«Паж, или Пятнадцатый год», 1830)

Вечор я снёс последнюю бутылку
Больному кузнецу...
(«Скупой рыцарь», 1830)

Цвёл юноша *вечор,* а нынче умер...
(Там же)

Ср. замечания поэта (1830): «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований».

XI

И вот общественное мненье!..

Стих из комедии Грибоедова «Горе от ума» (из монолога Чацкого в IV действии, явление 10); Пушкин его употребил как поговорку, как одно из «крылатых слов», во множестве разлетевшихся, как известно, по стране через рукописные списки. Прослушав «Горе от ума», Пушкин сразу определил действенную роль словесных формул комедии: «Половина [стихов] должна войти в пословицы». Автор романа был одним из первых, кто печатно цитировал запрещённую комедию.

XX

Владимир книгу закрывает;
Берёт перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Д[ельвиг] пьяный на пиру.

Пушкин нередко образом потока представлял творческий труд поэта:

...Мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут полны тобою.

(«Ночь»)

И полны истины живой,
Текут элегии рекой.

(«Евгений Онегин», гл. IV, строфа XXXI)

Всё вместе ожило; и сердце понеслось
Далече... и стихов журчанье излилось...

(«Андрей Шенье»)

И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, —
Излиться, наконец, свободным проявленьем...

(«Осень»)

Барон А. А. Дельвиг (1798—1831) — лицейский друг Пушкина; о нём поэт говорил: «Никто на свете не был мне ближе Дельвига». Пушкин должно быть вспомнил манеру своего друга на пирушках, например, в кружке «Зелёная лампа», где тот читал «республиканские» стихи.



А. А. Дельвиг.
С литографии Бореля.

XXI—XXII

Элегия Ленского «Куда, куда вы удалились» представляет собою опыт стилизации русской элегии конца XVIII — начала XIX века.

Пушкин широко использовал основные мотивы традиционной элегии.

Очень сходна с элегией Ленского элегия поэта Туманского (1800—1860) «Вертер к Шарлотте» (1819):

Светильник дней моих печальных угасает,
Шарлотта! чувствую: мой тихий час настал;
В последний раз твой верный друг взирает
На те места, где счастье он вкушал.
Но ты моя! Душа в очарованьи
Сей мыслью сладостной, прелестною полна;
Я видел на устах твоих любви признанье,
И жизнь моя с судьбой примирена.
Когда луна дрожащими лучами
Мой памятник простой озолотит,
Приди мечтать о мне и горькими слезами
Ту урну окропи, где друга прах сокрыт.

В 1827 г. Туманский, одновременно с Ленским, пишет сонет:

Она прошла, моя весна златая:
И радость к ней уж не придёт...

Ещё в 1820 г. Кюхельбекер писал в стихотворении «Пробуждение»:

... Что несёт мне день грядущий?
Отцвели мои цветы,
Слышу голос нас зовущий,
Вас, души моей мечты!

...Но не ты ль, любовь святая,
Мне хранителем дана!
Так лети ж, мечта златая,
Увядай, моя весна!

В № 8 «Цветника» за 1808 г. есть стихотворение «Утро» (автор, по предположению В. Гиппиуса, — В. М. Перевощиков); в нём находятся такие строки:

Дни первые любви! Дни сладостных мечтаний...
... как быстро вы сокрылись.
Куда, куда вы удалились
И скоро ли придёте вновь? [3]

В лицейских и позднейших стихотворениях Пушкина также встречаются элементы стиля элегии Ленского. В стихотворении «Гроб юноши» (1821):

Напрасно блещет луч денницы
Иль ходит месяц средь небес,
И вкруг бесчувственной гробницы
Ручей журчит и шепчет лес.

В стихотворении «Умолкну скоро я» (1821):

Умолкну скоро я...
Но если я любим, позволь, о милый друг,
Позволь одушевить прощальный лиры звук
Заветным именем любовницы прекрасной.
Когда меня навек обымет смертный сон,
Над урною моей [вариант: над ранней урною]
промолви с умиленьем:
Он мною был любим; он мне был одолжён
И песен и любви последним вдохновеньем.

В элегии Ленского — привычные для Пушкина-лицеиста рифмы: *день — сень;* эпитеты: *златые* дни; в стихе: «рассвет *печальный* жизни *бурной»* употреблены давние выражения: волненье «жизни *бурной»* (1821), *«бурной* жизнью погубил надежду», погас *«печальной* жизни пламень» («Кавказский пленник») и т. д.

Таким образом, предсмертная элегия Ленского — стилизованный «портрет элегического поэта, каких было много в дни юности Пушкина и его сверстников», «достойное завершение длинной литературной традиции» [4].

XXIII

Так он писал т е м н о и в я л о
(Что романтизмом мы зовём,
Хоть романтизма тут ни мало
Не вижу я, да что нам в том?)...



Дуэль Онегина и Ленского.
С рисунка И. Е. Репина, 1899.

Ещё в 1825 г. Пушкин писал Вяземскому: «Я заметил, что все (даже и ты) имеют у нас самое тёмное понятие о романтизме. Об этом надобно будет на досуге потолковать...» (Михайловское, 25 мая). В 1830 г. Пушкин считал неправильным мнение французских критиков, которые относили к романтизму «все произведения, носящие на себе печать уныния и мечтательности». «Таким образом Андрей Шенье, поэт, напитанный древностью... попал у них в романтические поэты», — писал он. «Под романтизмом у нас разумеют Ламартина», — заявлял Пушкин, отзываясь однажды об этом французском элегике: «то-то чепуха, должно быть», и сходясь в этом вопросе с Кюхельбекером, писавшим в 1825 г.: «Но что же зато и романтизм всех их, пишущих и непишущих. Вы обыкновенно останавливаетесь на Ла-Мартине...»

Пушкин не разделял мнения, что «произведения, носящие печать уныния или мечтательности», суть романтические, и в набросках предисловия к «Борису Годунову» высказал своё оригинальное определение, которым из понятия о романтизме бесповоротно исключалось всё то, о чём можно было сказать: «темно

и вяло». Он называл свою трагедию истинно романтической, потому что в ней было «верное изображение лиц, времени, развитие исторических характеров и событий», т. е. то, что мы теперь называем реализмом в искусстве.

XXXI

Его уж нет. Младой певец
Нашёл безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

Пушкин обычно представлял поэта жрецом, возжигающим огонь на алтаре. Ср. в стихотворении «Поэту»:

...Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

В его произведениях часты выражения: «огонь поэзии» (эпилог поэмы «Руслан и Людмила»; «Гр. Олизару»), «поэтическим огнём» («Евгений Онегин», гл. II).

Стихи:

Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре, —

вяжутся со II строфой «Элегии» (1821):

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец —

и со стихом в элегии «Гроб юноши» (1821):

А он увял во цвете лет.

XXXII

А где, бог весть. Пропал и след.

Оборот речи нередко употреблялся поэтом:

Княжна ушла, *пропал и след.*
(«Руслан и Людмила»)

И всё прошло, *пропал и след.*
(«Кавказский пленник»)

Иду, зову — *пропал и след.*
(«Цыганы»)

И *след* её существованья
Пропал.
(«Полтава»)

XXXIII

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!

Завоет сдуру — один из фактов снижения литературного языка в лирическом романе, ввода тех «прозаизмов» (ср. в V главе: «обжора» и др.), которые привносили в языковую ткань романа элементы просторечья, обыденной простоты.

Акад. Ф. Е. Корш давно указал, что употребление в других произведениях Пушкина подобных слов и выражений не было чем-то изолированным в тогдашней литературе (сам Пушкин, между прочим, ссылался на Фонвизина, Катенина, писавших иногда языком «низким, бурлацким» и заявлял, что писателю в случае необходимости нет нужды избегать «грубых шуток, сцен простонародных»).

XXXVI

Друзья мои, вам жаль поэта...

Вяземский рассказал следующий эпизод: «Когда Пушкин читал ещё неизданную тогда главу поэмы своей, при стихе:

Друзья мои, вам жаль поэта —

один из приятелей его сказал: «Вовсе не жаль!» — «Как так?» спросил Пушкин.— «А потому, — отвечал приятель, — что ты сам вывел Ленского более смешным, чем привлекательным. В портрете его, тобою нарисованном, встречаются черты и оттенки карикатуры». Пушкин добродушно засмеялся, и смех его был, повидимому, выражением согласия на сделанное замечание» [5].

Сохранился ещё рассказ Н. П. Новосильцевой о впечатлении, какое производила на молодых читателей романа сцена дуэли Ленского и Онегина, и об оценке Пушкиным Ленского:

«Приехал в Апраксино Пушкин, сидел с барышнями и был скучен и чем-то недоволен — так говорила Настасья Петровна. Разговор не клеился, он всё отмалчивался, а мы болтали. Перед ним лежал мой альбом, говорили мы об «Евгении Онегине», Пушкин молча рисовал что-то на листочке. Я говорю ему: зачем вы убили Ленского? Варя весь день вчера плакала!

Варваре Петровне тогда было лет шестнадцать, собой была недурна. Пушкин, не поднимая головы от альбома и оттушёвывая набросок, спросил её:

«Ну, а вы, Варвара Петровна, как бы кончили эту дуэль?»

«Я бы только ранила Ленского в руку или в плечо, и тогда Ольга ходила бы за ним, перевязывала бы рану, и они друг друга ещё больше бы полюбили».

«А знаете, где я его убил? Вот где», — протянул он к ней свой рисунок и показал место у опушки леса.

«А вы как бы кончили дуэль?» — обратился Пушкин к Настасье Петровне.

«Я ранила бы Онегина; Татьяна бы за ним ходила, и он оценил бы её, и полюбил её».

«Ну, нет, он Татьяны не стоил», — ответил Пушкин» [6].



. . . Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

В этих стихах дан типичный образ вольнолюбивого поэта 20-х годов. В стихотворении «Жуковскому» (1818) встречаем:

Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов...

В стихотворении «Война» (1821):

И всё умрёт со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье,
И ты, и ты, любовь?..

XXXVII—XXXIX

В двух строфах Пушкин намечал две возможных дороги жизни Ленского: одна — путь великого поэта или крупного общественного деятеля [7], другая — «обыкновенный удел» помещика маниловского типа. Та или иная дорога определялась ходом общественной жизни. Эпиграф к VI главе намечал гибель Ленского. Герцен использовал в 1851 г. тот же эпиграф (в статье «О развитии революционных идей в России»), как символ «ужасной, чёрной судьбы», выпадавшей в царской России на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня. И в той же статье писал, что Ленскому нечего было делать в России.

Я приведу это мнение Искандера, как голос читателя, вынужденного перенести дело своей жизни за пределы родной страны и остро чувствовавшего политическую правду пушкинского эпиграфа с её живой иллюстрацией — трагическим концом «задумчивого мечтателя»: «Рядом с Онегиным Пушкин поставил Владимира Ленского — другую жертву русской жизни, Онегина vice versa [8]. Это — острое страдание рядом со страданием хроническим. Это — одна из тех девственных, чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в развращённой и безумной среде, которые приняли жизнь, но не могут ничего более принять от нечистой почвы, кроме смерти. Являясь искупительными жертвами, эти юноши проходят молодыми, бледными, отмеченными роком на челе, как упрёк, как раскаяние, и после них ночь, в которой «мы движемся и существуем», остаётся ещё более мрачною.

Пушкин изобразил характер Ленского с нежностью, какую человек питает к мечтам своей юности, к воспоминаниям о том времени, когда человек полон надежд, чистоты и неведения. Ленский — последний крик совести Онегина, потому что это он сам, это — идеал его юности. Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его рукою Онегина, который его любил и, целясь в него, не хотел даже ранить. Пушкин сам испугался этого трагического конца: он спешит утешить читателя, изображая ту пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого поэта» [9].

Белинский, задыхаясь в царстве «мёртвых душ», не видя кругом ничего, кроме степи с разбросанными там и сям костями погибших, с другой стороны, стоя лицом к лицу с «прекраснодушными» идеалистами-либералами, развил в своей статье мысль, что Ленского должна была засосать «пошлая жизнь»: «в нём было много хорошего, но лучше всего то, что он был молод и во-время для своей репутации умер. Это не была одна из тех натур, для которых жить — значит развиваться и идти вперёд. Это, повторяем, был романтик, и больше ничего. Останься он жив, Пушкину нечего было бы с ним делать, кроме как распространить на целую главу то, что он так полно высказал в одной строфе. Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах, нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохранят навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые.

Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно смотрят на всё, что делается в мире, и твердят о том, что счастие внутри нас, что должно стремиться душою в надзвёздную сторону мечтаний и не думать о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда, и... Ленские не перевелись и теперь; они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так обаятельно-прекрасно было в Ленском; в них нет девственной чистоты его сердца, в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди» [10].

XL

Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.

Описание могилы Ленского (см. ещё VII главу, VI и VII строфы) выдержано в традиционном элегическом стиле; в стихотворении «Гроб юноши» (1821) находим сходные образы:

Там на краю большой дороги,
Где липа старая шумит,
Забыв сердечные тревоги,
Наш бедный юноша лежит.
Напрасно блещет луч денницы,
Иль ходит месяц средь небес,
И вкруг бесчувственной гробницы
Ручей журчит и шепчет лес;
Напрасно утром за малиной
К ручью красавица с корзиной
Идёт и в холод ключевой
Пугливо ногу опускает:
Ничто его не вызывает
Из мирной сени гробовой.

XLI

Пастух, плетя свой пёстрый лапоть,
Поёт про волжских рыбарей...

По поводу этих строк В. Чернышёв высказал следующие соображения: «Не знаем, какую песню и каких рыбарей имел здесь в виду Пушкин. Волжские промыслы были особого рода: портные там шили дубовой иглой (разбойничали), а волжские рыболовы рекомендуют себя так:

Ах, мы ли не воры, ах, мы да рыболовы.
Ах, мы да рыболовы, государевы ловцы,
Ай, мы рыбочку ловили по хлевам, по клетям,
По клетям, да по хлевам, по новым дворам! [11]

В. Я. Брюсов привёл эти два стиха в своей статье «Звукопись Пушкина» как один из многочисленных примеров музыкального построения пушкинского поэтического языка, так называемой евфонии — благозвучия; пятикратное повторение в начале слова одного и того же звука П — пример анафоры. (См. другие примеры звуковой гармонии в языке романа в той же статье, в сборнике В. Брюсова «Мой Пушкин», Гиз, 1929.)

XLVI

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй моё воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,

Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоеньи света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Ср. резкую характеристику «большого света» в стихотворении «А. М. Горчакову» (1819), «пустого света» — в VIII главе. О тяготении Пушкина к тому же светскому обществу и о двойном плане зарисовок «большого света» см. ниже, в комментарии к VIII главе.

В первом издании VI глава заканчивалась следующим образом (см. 40-е примечание Пушкина):

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй моё воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоеньи света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров,
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчётов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.

В экземпляре шестой главы в подготовленном в 1829 г. к печати отдельном издании первой части романа (из шести глав) Пушкин исправил бывшую в первом издании опечатку в стихе:

расчётов, дум и разговоров

и, приписав слово: д у ш, заменил данный стих стихом:

расчётов душ и разговоров.

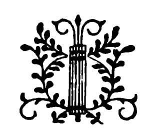
Однако во всех изданиях романа до последнего времени опечатка сохранялась; редактор академического издания

«Евгения Онегина» по досадному недосмотру исказил смысл, напечатав:

расчётов, душ **и** разговоров [12].

Если «досадной пустоте» противоречило слово «думы», то слово «душ» здесь совсем не вяжется. Пушкин в характеристике светского «омута» подчеркнул его крепостническую подкладку. «Важные» баре, «злодеи» вели расчёты крепостных душ, торговались о цене «крещёной собственности» в своих разговорах о купле-продаже крепостных; подобно Фамусову и Хлёстовой спорили, у кого сколько душ (см. «Горе от ума», действие III, явление 21-е).

Пушкинское исправление опечатки в этом стихе — лишний штрих для понимания социального мировоззрения автора «Деревни», «Истории села Горюхина». Нельзя не пожалеть, что ярко сатирическая концовка XLII строфы обычно печатается среди вариантов, а не в основном корпусе романа.





ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потоплённые луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Ещё прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

В описании весны встречаются признаки, устойчивые в поэзии Пушкина. Первые же строчки заставляют припомнить из II песни «Руслана и Людмилы»:

Весной растопленного снега
Потоки мутные текли
И рыли влажну грудь земли.

Образ пчелы, летящей из кельи восковой за данью полевой, повторяется в песне, близкой по стилю к фольклору:

Только что на проталинах весенних
Показались ранние цветочки,
Как из царства воскового,
Из душистой келейки медовой
Вылетает первая пчёлка.

II

Как грустно мне твоё явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжёлым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!

Пушкин и в годы юности признавался, что весна «обыкновенно наводит на него тоску и даже вредит его здоровью», и в 1833 г. (стихотворение «Осень») восклицал:

...Я не люблю весны;
Скучна мне оттепель: вонь, грязь; весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены;
Суровою зимой я более доволен [1].

IV

В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжко нагруженных,
На долгих иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.

Н а   д о л г и х. См. об этом медленном, типичном для эпохи отсутствия железных дорог передвижении характерные страницы в «Отрочестве» Л. Н. Толстого. Передвижению н а   д о л г и х (в собственном экипаже, на своих лошадях, с длительными остановками), описанному дальше в XXXV строфе, противополагалась езда н а   п о ч т о в ы х, связанная с «дорогими прогонами».

VII

На ветви сóсны преклоненной...

Ударение в слове *сóсны* (форма род. пад. ед. ч.) диалектологического происхождения; такое произношение, по наблюдению проф. Е. Ф. Будде, по преимуществу принадлежит северно-великорусскому говору. Ср.

Две с ó с н ы корнями срослись...
(Гл. VI, строфа XL)

VIII—X

Мой бедный Ленский! изнывая,
Не долго плакала она.
Увы! невеста молодая
Своей печали неверна.
Другой увлёк её вниманье,
Другой успел её страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел её пленить,
Улан любим её душою...

В последний раз мелькнул образ Ольги. Ленский «сердцем милый был невежда»; он не был в состоянии понять свою невесту. Меткую характеристику сестры Татьяны оставил Белинский: «Он [Ленский] полюбил Ольгу; — и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замуж, она сделалась бы вторым, исправленным изданием своей маменьки, что ей всё равно было выйти — и за поэта, товарища её детских игр, и за довольного собою и своею лошадью улана? — Ленский украсил её достоинствами, приписал ей чувства и мысли, которых в ней не было и о которых она и не заботилась. Существо доброе, милое, весёлое — Ольга была очаровательна, как и все «барышни», пока они ещё не сделались «барынями», а Ленский видел в ней фею, сильфиду, романтическую мечту, ни мало не подозревая будущей барыни» («Сочинения Александра Пушкина», статья VIII).

XV

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий...

«Северная пчела» Булгарина, злобно напавшая на VII главу в целом («Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения!»), издевалась над этим описанием вечера: «Вот является новое действующее лицо на сцену: жук! Мы расскажем читателю о его подвигах, когда дочитаемся до этого. Может быть, хоть он обнаружит какой-нибудь характер». Булгаринское балагурство подхвачено было Надеждиным в «Вестнике Европы», который ни-

чего, кроме забавной болтовни и картинок не увидел. Пушкин в «Критических заметках» откликнулся на булгаринское зубоскальство: «Критику VII песни в «Северной пчеле» пробежал в гостях и в такую минуту, когда было мне не до Онегина. . .»

Указанные критики восставали против пушкинского просторечия, против его литературного новаторства, которое, в частности, выражалось в том, что он вносил низкую природу в поэтические картины, что для него, по словам Белинского, где жизнь, там и поэзия; что в действительности он не видел предметов, недостойных художественной кисти. Журнал «Санктпетербургский зритель» считал недостойным Пушкина, что в романе встречаются стихи:

Не гонят *уж коров из хлева,* —

что в романе находятся такие слова, как *надулся, пьян, в его душе родили жалость, девчонки, пакостный* и пр.

Булгарин издевался по поводу описания сборов Лариной в Москву: «Вот это поэтическое описание, à la Байрон, выезда:

Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки —
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera, —
Ну, много всякого добра.

Мы никогда не думали, чтоб сии предметы могли составлять прелесть поэзии и чтоб картина горшков и кастрюль et cetera была так приманчива. Наконец поехали! Поэт уведомляет читателя, что:

На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают.

. . .Больно и жалко, но должно сказать правду. Мы видели с радостью подоблачный полёт певца Руслана и Людмилы и теперь с сожалением видим печальный поход его Онегина, тихим шагом, по большой дороге нашей Словесности» («Северная пчела», 1830).

Синтаксическая краткость, упор на глагольность, простота в описании предметных признаков — тé качества пушкинского языка, которые сливают стихотворную и прозаическую речь поэта в нечто неразличимое, — бросаются в глаза при чтении XV строфы. Язык Пушкина резко отличен от манерной, густо насыщенной различными стилистическими украшениями речи карамзинистов. Сравнивая строй языка в начальных стихах этой строфы с описа-

тельными частями в «Капитанской дочке», замечаешь синтаксическое единство пушкинской прозы и пушкинского стихотворного языка: «Лошади бежали дружно... Пошёл мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель... Всё исчезло».

Эта лаконичность и быстрота темпа речи встречаются позднее в описаниях у Л. Толстого («Казаки», XXIX глава; народные рассказы) и особенно у Чехова.

XIX

...И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

«Столбик с куклою чугунной» — статуэтка Наполеона.

В стихотворении «К морю» (1824) Пушкин также вместе соединил воспоминания о Байроне и Наполеоне:

Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

XX

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.

См. ещё в I строфе VIII главы: «моя студенческая келья». Пушкин с лицейской поры привык к этому сравнению: в стихотворениях «К сестре» (1814), «К А. И. Галичу» (1815), «К Юдину» (1815), «Мечтатель» (1815) и др. кельей называл он свою комнату.

XXII—XXIII

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:

Певца Гяура и Жуана
Да с ним ещё два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображён довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Хотя, по словам Пушкина, в XLIV строфе I главы,

Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьёй,
Задёрнул траурной тафтой, —

но умственные интересы тянули Онегина к книжной полке. Живя в усадьбе, он утром «перебирал плохой журнал»; чтенье было органической частью его обычного времяпровождения (глава IV, строфы XXXVI—XXXIX). Татьяна, знакомясь с его библиотекой, видела, что «хранили многие страницы отметку резкую ногтей», «черты карандаша» Евгения — внимательного читателя, невольно выражавшего себя (по-пушкински)

То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

Всех более был читан «певец Гяура и Жуана» — Байрон. В романе Пушкина, кстати сказать, названы почти все главнейшие его произведения: «Чайльд-Гарольд», «Корсар», «Гяур», «Дон-Жуан».

В числе романов, которые Онегиным были «исключены из опалы» и которые «довольно верно» изображали «современного человека», на первом месте надо поставить роман Бенжамен Констана «Адольф» (1816). Сам Пушкин, предуведомляя в № 1 «Литературной газеты» 1830 г. читателей о скором выходе этого романа в переводе Вяземского, указал, что «славный роман Бенж. Констана Адольф принадлежит к числу двух или трёх романов, в которых отразился век...» и привёл затем ту стихотворную характеристику, которая имеется в XXII строфе VII главы (тогда ещё не вышедшей в свет).

Адольф — аристократ, пресыщенный жизнью, скучающий, любит одиночество. Начитанный («читал много, но всегда не последовательно»), он приобрёл репутацию «насмешливого и злого

человека», причём его «горькие слова принимались как доказательство души, пропитанной ненавистью, шутки — как посягательство на всё наиболее священное». Адольф «был очень молчалив и казался печальным». В свете его не понимали, называли «странным и диким», и даже объявили «безнравственным и вероломным человеком». Сердце Адольфа, «чуждое всем интересам общества», было «однако посреди людей и однако ж страдало от одиночества, на которое оно обречено».



Бенжамен Констан.
С литографии конца 1830-х годов.

«Общество надоело» Адольфу, «одиночество удручало» его. «В доме своего отца Адольф воспринял по отношению к женщинам «теорию фатовства». Он знакомится с Элеонорой, возлюбленной его приятеля, ищет случая объясниться ей, но, вялый, бесхарактерный, откладывает день объяснения, воображая, что ведёт сложную и хитрую игру. Наконец, он написал ей письмо. Встретив со стороны Элеоноры отпор, он решил добиться победы. Получив власть над Элеонорой, Адольф почувствовал скуку и пресыщение («Конечно, любовь Элеоноры внесла радость в моё существование, но она не могла быть для меня смыслом жизни и превратилась в стеснение»). Тем не менее он не прерывает связи с ней, мучает её: «я убил существо, которое меня любило. . .» Но оттолкнув от себя существо, которое его любило, он не стал менее беспокойным, менее тревожным и недовольным; он не сделал никакого употребления из свободы, завоёванной им ценою стольких горестей и стольких слёз, и, ставший вполне достойным порицания, он стал достойным также и жалости».

«Адольф был наказан за свой характер своим же характером, не пошёл ни по какой определённой дороге, не исполнил никакого полезного назначения, расточил свои способности, следуя только за своим капризом, без всякого другого побуждения, кроме раздражения». Повесть об Адольфе предана гласности автором «как довольно правдивая история ничтожества челове-

ческого сердца. Если в ней заключается поучительный урок, то он направляется по адресу к мужчинам: он доказывает, что этот ум, которым столь гордятся, не служит ни к тому, чтобы найти счастье, ни к тому, чтобы дать его; он доказывает, что характер, твёрдость, доброта суть дары, о ниспослании которых надо молить небо».

Н. П. Дашкевич предполагал, что вторым из романов, в которых «отразился век и современный человек» мог быть «Мельмот» Матюрина (см. комм. к XII строфе III главы).

Это предположение подтверждается черновым автографом строфы:

Мельмот, Рене, Адольф Констана.

Третьим романом был повествовательный эпизод, вставленный в сочинение Шатобриана «Гений христианства» под названием «Рене» (1802). Герой, разочарованный жизнью, странствует. В Америке он среди индейцев рассказывает исповедь своей жизни Шактасу и в письме к молодой дикарке Селюте описывает свои настроения, типичные для байронических героев: «С первых дней моей жизни я не переставал взращивать в себе печаль; я носил в своей груди её зародыш, так же как дерево носит зародыш своего плода. Неведомый яд примешивался ко всем моим чувствам... Я представляю собою тяжёлый сон... Мне наскучила жизнь; скука всегда пожирала меня; но что интересует других людей, не трогает меня... В Европе и Америке общество и природа утомили меня».

XXIV

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

Кто ставит вопросы, полные раздумья об Онегине, — автор романа или Татьяна? Спорные недоумения разъясняются с помощью соответственных мест в романе, приводящих к выводу, что вопросы эти, «загадки» ставит себе Татьяна, желающая понять образ Евгения при помощи тех романов, где отразился «современный человек». Спрашивая: что ж он — «чудак, пе-

чальный и опасный?» Татьяна повторяла слышанные ею толки соседей, которые видели в Евгении «опаснейшего чудака» (II глава). Колеблясь в определении его характера: «созданье ада иль небес, сей ангел, сей надменный бес», Татьяна повторяла свои давние «сомненья»:

Кто ты: мой ангел ли хранитель?
Или коварный искуситель?
(гл. III)

Пушкин, отмечавший в Онегине его «неподражательную странность», не мог видеть в своём герое «подражанье», «пародию», не мог считать его «ничтожным призраком». Вся сумма вопросов в конце строфы как бы предвосхищает те «шумные сужденья», которые Татьяна услышит в великосветском обществе, когда «благоразумные люди», считая Онегина «притворным чудаком, печальным сумасбродом», будут ставить вопросы:

Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнёт иной?..
Довольно он морочил свет...
(гл. VIII)

Пушкин тогда же взял под защиту своего героя:

Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нём?

XXVI

В Москву, на ярманку невест!

Ещё в 1819 г. в послании к Всеволожскому Пушкин отметил бытовую особенность столицы:

Москва премилая старушка,
Разнообразной и живой
Она пленяет пестротой,
Старинной роскошью, пирами,
Невестами, колоколами...

В 30-х годах он характеризовал Москву по прежним своим воспоминаниям и рассказам старожилов: «Некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в неё на зиму. Блестящая гвардейская молодёжь налетала туда же из Петербурга.

Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания два раза в неделю

было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками» (Сочинения, т. VI, стр. 109).



«Ох, мой отец! доходу мало».

Указания на материальный недостаток семьи Лариных в черновом тексте романа были усилены, — про Ольгу во II главе было сказано:

Меньшая дочь соседей бедных.

Татьяна противопоставляет «модному дому» в Петербурге — «наше бедное жилище»; мать, «боясь прогонов дорогих», едет с Таней в Москву «на своих», в возке, запряжённом «тощими клячами» (XXXI—XXXII, XXXV строфы).

XXVIII

Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, весёлая природа...

Весь отрывок по лирическому тону перекликается со стихотворением 1817 г. «Прощанье с Тригорским»:

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз...



На шум блистательных сует!..

Пушкин повторил выражение Батюшкова в его стихотворении «Мои пенаты»:

Фортуна, прочь с дарами
Блистательных сует.

XXIX

Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва пышно убрана...

Сходный образ в стихотворении «Осень» (1833):

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно...
. . . .
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится, без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна...
. . . .
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...

XXX

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.

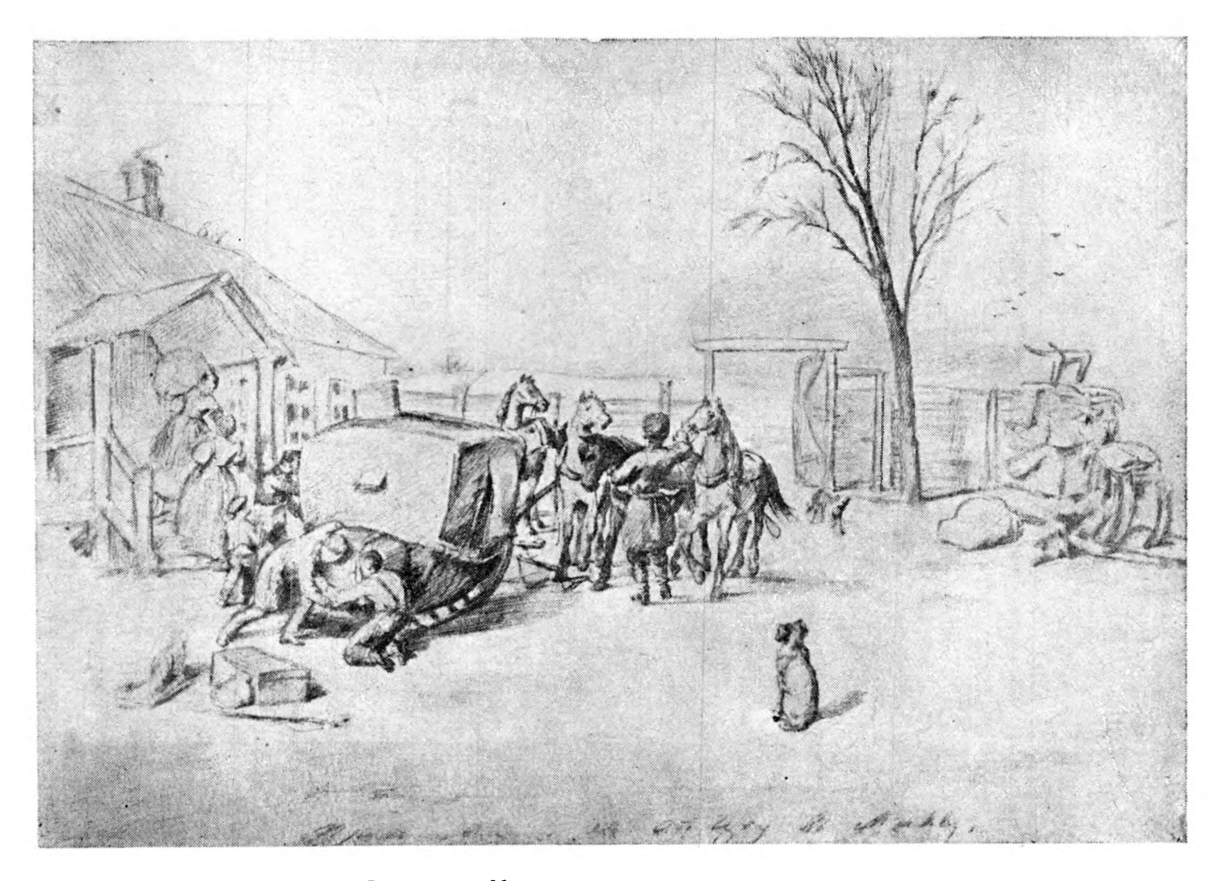
В описании зимы встречаются припоминания из II песни «Руслана и Людмилы»: «снежные равнины коврами яркими легли». Тот же образ снега-ковра встречается в I строфе V главы:

И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.

В стихотворении «Зимнее утро» (1829):

Под голубыми небесами,
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит.





Отъезд Лариных в Москву. С рисунка П. Соколова.

Нейдёт она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь...

Форма *плеча* была употребительна в просторечье: ни с плеч, ни на *плеча,* возьми-ка на свои *плеча;* эта эпанча на оба *плеча* [2]. Количество диалектизмов вообще невелико в романе; ср. число галлицизмов и церковнославянизмов. Социальные причины подобного соотношения языковых средств вполне понятны. Но необходимо подчеркнуть, что Пушкин вообще любил словечки из различных диалектов и вводил их в речь своих героев, — даже аристократических «модников»; так, например, Евгений употребляет форму живого говора *нету,* вместо книжного и общепринятого в его кругу *нет:*

«Представь меня» — Ты шутишь! — *«Нету»*
(гл. III, строфа II)

XXXIV

Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают...

В примечании (№ 42) Пушкин привёл стихотворение Вяземского «Станция», в котором также сказано, что по русским дорогам «проезда нет подчас». Жалоба типичная, — декабрист П. Каховский по поводу отяготительной «дорожной повинности» писал в 1826 г.: «У нас не соображаются ни с климатом, ни с обычаями: покатые дороги на манер шоссе, теперь пролагаемые, красивы на взгляд, но неудобны. Зимой делаются раскаты, наши обозники и земледельцы не имеют саней с подрезами, без подрезов сани раскатываются и возы бьются». Ср. в «Горе от ума» слова Чацкого:

Вёрст больше семисот пронёсся, ветер, буря,
И растерялся весь, и падал сколько раз...

По словам П. Вяземского, «в Московской губернии в осеннюю и дождливую пору дороги были совершенно недоступны. Подмосковные помещики за 20 и 30 вёрст отправлялись в Москву верхом» («Старая записная книжка», 1929, стр. 89).

В XXXIII строфе Пушкин скептически отнёсся к работам местных властей, отодвинув улучшение шоссейных дорог на 500 лет.

XXXV

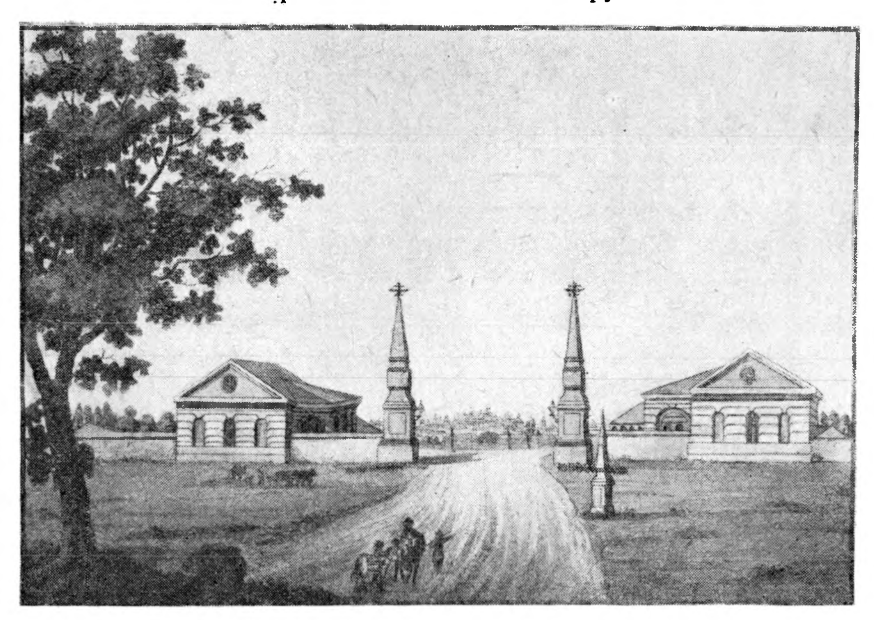
И вёрсты, теша праздный взор,
В глазах мелькают, как забор.

Пушкин в примечании (43) отметил, что это сравнение заимствовано «у К**, столь известного игривостию воображения. К** рассказывал, что будучи однажды послан курьером от князя Потёмкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по вёрстам, как по частоколу». Б. Л. Модзалевский высказал предположение, что этот К** не кто иной, как князь Д. Е. Цицианов (ум. в 1835 г.), прославившийся лгун-анекдотист [3].

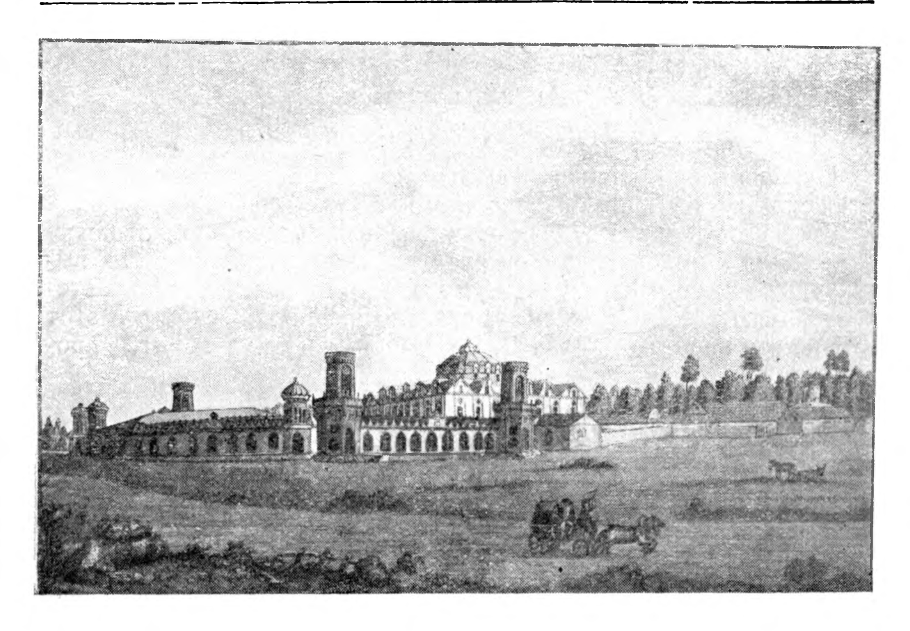


К несчастью Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почто́вых, на своих...

Ударение обычного говора — ср. в I главе, строфа: «летя в пыли на почтовы́х» (см. также «не хвастал дружбой почтово́ю» —



Московская застава.
Со старинного рисунка.



Петровский замок под Москвой.
Со старинного рисунка.

в «Путешествии Онегина»). В романе нередки двойные формы ударения: «Как в наши ле́та» и «Ни долгие л е т а́ разлуки» (II, XX); «для п р и́ з р а к о в» (II, XXXIX), «вы, п р и́ з р а к жизни неземной» (VI, XXXVI) и «п р и з р а́ к невозвратимых дней» (I, XLVI), «п р и з р а́ к а суетный искатель» (IV, XXII); встречаются слова с иным ударением, чем в общепринятом литературном говоре: «С у д ь б ы́ нас снова разлучили», «запоздалые о т з ы́ в ы», «Татьяна, с м о́ т р я на луну» и пр. Эта разноударность не всегда объясняется принудительностью стихотворного ритма; чаще причина данного явления коренится в разносоставности элементов книжного литературного языка, в отсутствии в языке Пушкина и его современников устойчивого согласия этих элементов: церковнославянизмы и диалектизмы неизбежно придавали фонетическую пестроту тогдашней речи (то же и для поэтов XVIII в.).

XXXVI

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.

Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

Пушкин описывает въезд в Москву Татьяны Лариной и её матери. Поэт передаёт свои патриотические чувства и лирическую взволнованность при воспоминании о любимой им столице своей родины. Большой труд был вложен поэтом в написание этой строфы. Творческая лаборатория Пушкина раскрывает наглядно, как «взыскательный художник» стремился найти самое точное выражение для своих мыслей, настроений. В черновой рукописи второй стих был написан с вариантами:

Иван Великий заблистал
Блестит великая Москва
Первопрестольная Москва.

Третий стих также нелегко дался:

И Кремль главами золотыми
Её крестами золотыми
Блестя крестами золотыми.

Пушкин пишет, оставляя промежуток после первых двух слов.

Москва! Как   в этом звуке
Все чувства русского слились.

Затем он заполняет свободный промежуток в первом стихе словом *сильно*.

В стихе:

Москва! Как сильно в этом звуке

зачёркивает *сильно*, заменяя словом *много*.

Зачёркивает:

все чувства русского

сверху пишет:

для сердца моего

и в слове: *слились* — заменяет *и* на *о*.

В беловую рукопись вместо личного *моего* вписывает слово, подчёркивающее связь поэта с народом: *русского*.

Так получились стихи:

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!

Сразу была написана третья строка:

Как сильно в нём отозвалось!

Далее следовали стихи:

В изгнаньи, в горести, разлуке
Москва! Как помнил я
Св[ятая] родина моя.

В этом куске в первом стихе он зачёркивает всё, кроме последнего слова.

Во втором стихе вместо: *помнил* сверху пишет:

Жаждал и любил тебя.

Все три стиха зачёркивает. Сбоку написано:

Итак предчувствия сбы[лись]
Москва сбылось
Как жаждал

Последние две строки зачёркнуты.

Пушкин нарисовал Кремль, собор с «крестами золотыми».

Вписав в беловую рукопись три стиха:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе! —

поэт закончил XXXVI строфу стихами:

Москва!.. как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

Так Пушкиным были созданы гениальные стихи, волнующие нас патриотическим чувством безграничной любви нашего национального поэта к нашей родине.

XXXVII

Вот, окружён своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной

С ключами старого Кремля;
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приёмный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружён,
Глядел на грозный пламень он.

В этой строфе Пушкин-патриот гордится Москвой, которая в 1812 г. «не дань и не ключи», а «голод и пожар» [4] готовила Наполеону. В Петровском замке, построенном при Екатерине II архитектором Казаковым, «нетерпеливый герой», «баловень», до Бородинского сражения считавшийся непобедимым полководцем, тщетно ожидал парламентёров из Москвы; дворец, где он жил, стал «свидетелем падшей славы» французского императора.

XXXVIII

. . .вот уж по Тверской
Возок несётся чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы. . .
. . . .
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

До сих пор сохранилось украшение на воротах бывшего Английского клуба на Тверской улице (теперь Музей революции на улице Горького) — л ь в ы н а в о р о т а х. В пушкинскую пору эта московская мода была распространённой. В романе «Дым» Тургенев поместил князей Осининых «около Собачьей площадки, в одноэтажном деревянном домике, с полосатым парадным крылечком на улицу, с зелёными львами на воротах и прочими дворянскими затеями» (VII гл.).

Некрасов описал типичный стародворянский дом («Секрет», 1846):

В счастливой Москве, на Неглинной,
Со львами, с решёткой кругом,
Стоит одиноко старинный,
Гербами украшенный дом.

Отголоском старой Москвы звучат для нас названия улиц и переулков по приходским церквам: у Х а р и т о н ь я в переулке, живёт у С и м е о н а (строфы XL—XLI).

Картинка московского дворика в Харитоньевском переулке, которую наблюдала Таня (XLIII):

Садится Таня у окна.
Редеет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор —

эта картинка припомнилась Пушкину по его детским воспоминаниям. В 1803 г. Пушкины жили в приходе Харитония во дворе графа Санти. Двор был тесно застроен деревянными службами и, повидимому, обходился без садика и огорода. Теперь на этом «Сантиевом дворе» новый дом по Б. Харитоньевскому переулку под № 8, а также постройки под № 2 по Мыльникову переулку [5].

Цензор Никитенко в своём «Дневнике» рассказывает, что в последнем стихе этой строфы митрополит Филарет нашёл оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей и что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и не цензор. Бенкендорф учтиво отвечал Филарету, что дело не стоит того, чтобы вмешиваться такой почтенной особе.

XLV

У Пелагеи Николавны
Всё тот же друг мосье Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, всё клуба член исправный,
Всё так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьёт за двух.

Английский клуб в Москве был местом встреч богатого и родовитого барства. Особенно славился он своими изысканными обедами. Ср. Чацкий о Фамусове:

Ну что ваш батюшка? всё Английского клоба
Старинный, верный член до гроба?

Строфа написана в стиле монологов Чацкого, зло осмеивавших московских бар (см. комментарий к «Отрывкам из путешествия Онегина»).

XLIX

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят,
И про неё между собою
Неблагосклонно говорят.

В московском архиве государственной коллегии иностранных дел служили преимущественно представители дворянской молодёжи; один из современников писал об их служебных занятиях: «Молодые люди (в архиве) балуются и не привыкают к труду». В 20-х годах, т. е. в то самое время, когда Татьяна появилась в московских гостиных [6], в архиве составился кружок любомудров, к которому принадлежали В. Ф. Одоевский, братья Киреевские, Д. В. Веневитинов, А. И. Кошелев и др. В кружке господствовали философские интересы, увлечение теориями Канта, Фихте, Шеллинга. Прозвище «архивные юноши» было придумано С. Соболевским, входившим в этот кружок. А. И. Кошелев в своих «Записках» писал: «Архив прослыл сборищем блестящей московской молодёжи, и звание «архивного юноши» сделалось весьма почётным, так что впоследствии мы даже попали в стихи начинавшего тогда входить в большую славу А. С. Пушкина».



У скучной тётки Таню встретя,
К ней как-то В[яземский] подсел
И душу ей занять успел.

Князь П. А. Вяземский (1792—1878) — один из близких друзей Пушкина, поэт и литературный критик. Пушкин в 1822 г. в «Надписи к портрету кн. П. А. Вяземского» дал следующую характеристику его:

Судьба свои дары явить желала в нём,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

Пушкин не раз брал для своих произведений эпиграфы из стихотворений Вяземского: эпиграф к «Кавказскому пленнику» из послания «Графу Ф. И. Толстому» (потом выпущенный); эпиграф к I главе «Евгения Онегина» из стихотворения «Первый снег» (1819); эпиграф (слегка изменённый) к «Станционному смотрителю» из стихотворения «Станция». См. также 27-е и 42-е примечания Пушкина к роману.

L

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздаётся вой,
Где машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия тихонько дремлет
И плескам дружеским не внемлет,

Где Терпсихоре лишь одной
Дивится зритель молодой
(Что было также в прежни леты,
Во время ваше и моё),
Не обратились на неё
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

Мельпомена, Талия и Терпсихора — в античной мифологии музы — богини искусств: первая — трагедии, вторая — комедии, третья — танцев (хореографического искусства). Этот условный язык, выкованный на основе античной поэзии в литературе периода классицизма, густо насыщавший раннюю лирику Пушкина, продолжал питать пушкинское лирическое творчество и в 30-х годах.



П. А. Вяземский.
С портрета Рейхеля, 117.

В 1822 г. Пушкин писал в своей статье «О слоге»; «Что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами! Эти люди никогда не скажут дружба — не прибавя: «сие священное чувство, коего благородный пламень и проч.» — Должно бы сказать: рано поутру, — а они пишут: «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». — Как это всё ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее?

Читаю отчёт какого-либо любителя театра: «сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одарённая Аполлоном». «Боже мой! да поставь: «эта молодая хорошая актриса», и продолжай — а будь уверен, что никто не заметит твоих выражений — никто спасибо не скажет».

Осуждая эту манеру речи, этот перифрастический стиль, понятный для немногих, Пушкин, однако, в данной строфе писал

именно этим языком, вводя «протяжный вой бурной Мельпомены», Талию и Терпсихору. Таким стилем писал глава сентименталистов Карамзин, продолжая традицию классицизма XVIII века; в его «Письмах русского путешественника» встречаем подобное выражение: «целый месяц быть всякий день в спектаклях! Быть и не насытиться ни смехом Талии, ни слезами Мельпомены».

Пушкин уже в «Руслане и Людмиле» преодолевал старомодный стиль; в свой роман он ввёл немало «прозаизмов», элементов просторечья, «нагой простоты» обыдённого языка, — и тем не менее продолжал частично пользоваться книжным языком той дворянской группы, среди которой вращался [7].

Пушкин сам чувствовал наличие противоречий в своём литературном языке. В ноябре 1823 г. он писал из Одессы Вяземскому: «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утончённости. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе». Эти стилевые противоречия, чётко сознаваемые Пушкиным (см. «Путешествие Онегина»), составляют особенность пушкинского стиля, который получает предельно чёткое, законченное выражение в романе. Язык поэта — отражение живого говора классово близкой ему группы — в то же время, в результате борьбы за «простоту» и «грубость» организовывал литературную речь других общественных групп, превращался в фактор огромного общественного значения. Читатели, современники Пушкина, за вычетом «учившихся по старым грамматикам», в общем единогласно отмечали «особое достоинство пушкинского языка [в романе] — верность и точность выражения», исключительную свободу и непринуждённость: «Пушкин, — писал «Московский вестник» 1828 г., — рассказывает вам роман первыми словами, которые срываются у него с языка, и в этом отношении Онегин есть феномен в истории русского языка и стихосложения».

LII

У ночи много звёзд прелестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.

Эти строки восходят к стихам С. Боброва, автора «Тавриды» (1798), поэмы, которую Пушкин просил переслать ему в 1821 г. в Кишинёв:

О, миловидная Зарена!
Все звёзды в севере блестящи,
Все дщери севера прекрасны;
Но ты одна средь их луна.
Твои небесны очи влажны
Блестят — как утренние звёзды...

Но, назвав звёзды прелестными, Пушкин создал интереснейший приём игры различных осмыслений этого термина, приём каламбурного применения церковнославянизма путём отожествления его с соответствующими русскими «омонимами» [8].

В «Словаре Академии Российской» (1809) было сказано: «Звезда прелестная. То же, что звезда блудящая», планета. А. Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге» писал: «Прелестными звёздами называются те воздушные огни, которые, доколе сияние их продолжается, кажутся нам быть ниспадающими звёздами, кои потом исчезают...» (Ср. «Послание Иуды», гл. I, где нечестивые люди сравниваются с «звёздами прелестными, которыми блюдётся мрак тьмы вовеки». «В противомыслие сему под именем непрелестных звёзд разумеются настоящие, не обманчивые звёзды»). Таким образом, применением к московским красавицам выражения *прелестная звезда* Пушкин давал современному читателю наряду с общепринятым пониманием — прекрасная звезда — красавица — другое осмысление: прелестная звезда — коварная, изменчивая красавица (см. обычное у Пушкина: «младые изменницы»).



Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна,
Средь жён и дев блестит одна.

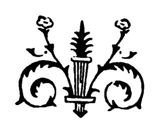
П. А. Вяземский дважды высказал предположение, что Пушкин воспел в этой строфе Александру Корсакову. В доме М. И. Римской-Корсаковой Пушкин бывал зимой 1826/27 и 1827/28 гг. С А. А. Корсаковой были у поэта какие-то сложные, близкие к влюблённости отношения. У Пушкина остался план «романа на кавказских водах», где в числе персонажей была А. Корсакова — «девушка лет 18, стройная и высокая, с бледным, прекрасным лицом и чёрными огненными глазами» [9].

LV

...Чтоб не забыть, о ком пою...
Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

«Эпическая муза» эпохи классицизма XVIII века, ещё имевшая своих последователей среди писателей пушкинской поры, для Пушкина давно уже была «обузой», преодолённой им в первой же поэме (хотя отголоски стиля классической поэмы встречались у Пушкина не только в эпилоге «Кавказского пленника», но и в «Полтаве»). Здесь он пародировал стилистику классической поэмы (традиционное вступление — обращение к музе) приёмом писателя XVIII века В. И. Майкова, автора «ироикомической поэмы» «Елисей» (1771):

Пою стаканов звук, пою того героя...
О муза, ты сего отнюдь не умолчи...





ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Fare thee well, and if for ever,
Still for ever fare thee well.

Byron.

Эпиграф: «Прощай — и если навсегда, то навсегда прощай» — начало стихотворения Байрона из цикла «Стихи о разводе», 1816 г. (указание Г. О. Винокура).

Эпиграф может быть понят трояко. Поэт говорит «прости» Онегину и Татьяне (см. L строфу); Татьяна посылает прощальный привет Онегину (продолжение в стихотворении Байрона: «даже если ты не простишь меня, моё сердце никогда не будет восставать против тебя»); Онегин этими словами шлёт последний привет любимой.

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал...

Пушкин поступил в Царскосельский лицей в 1811 г. и окончил это учебное заведение в 1817 г. В вариантах было рассыпано множество подробностей, рисующих жизнь поэта в лицее; из них в окончательный текст попали немногие (см. приложения к роману).



Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал.

В рукописи это двустишие было в другой редакции:

Читал охотно Елисея,
А Цицерона проклинал.

или:

Читал украдкой Апулея,
А над [Виргилием] [уроками] зевал.

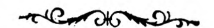
Юноша-Пушкин «забывал латинский класс для ... проказ», предпочитая Цицерону, красноречивому оратору Рима и образ-



Пушкин-юноша.
С гравюры Е. Гейтмана, приложенной к первому изданию «Кавказского пленника», 1822.

цовому прозаику, русского автора бурлескной поэмы с пародийным изображением классического Олимпа, с грубоватыми бытовыми сценками, с сочным просторечьем. В. Майков, автор «Елисея», нравился поэту и позже реалистическими описаниями, вызывавшими здоровый смех.

Апулей — римский поэт II в. н. э., автор романа «Золотой осёл», возбуждал воображение пылкого лицеиста мифологическими эпизодами (например, мифом об Амуре и Психее).



В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.

Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла мир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

Пушкин в лицее стал поэтом; лицеистом стал печататься: первое его печатное стихотворение «К другу стихотворцу» появилось в «Вестнике Европы» 1814 г., № 13. Перечень тематики лицейских стихотворений, данный поэтом в конце 1-й строфы, если не охватывает полностью всего содержания ранней лирики, то всё же вскрывает характерные для неё мотивы: эпикурейские («младые затеи»), патриотические («слава нашей старины») и те, «где сердца трепетные сны» рисовали пёстрый свиток настроений поэта, «невольника мечты младой».

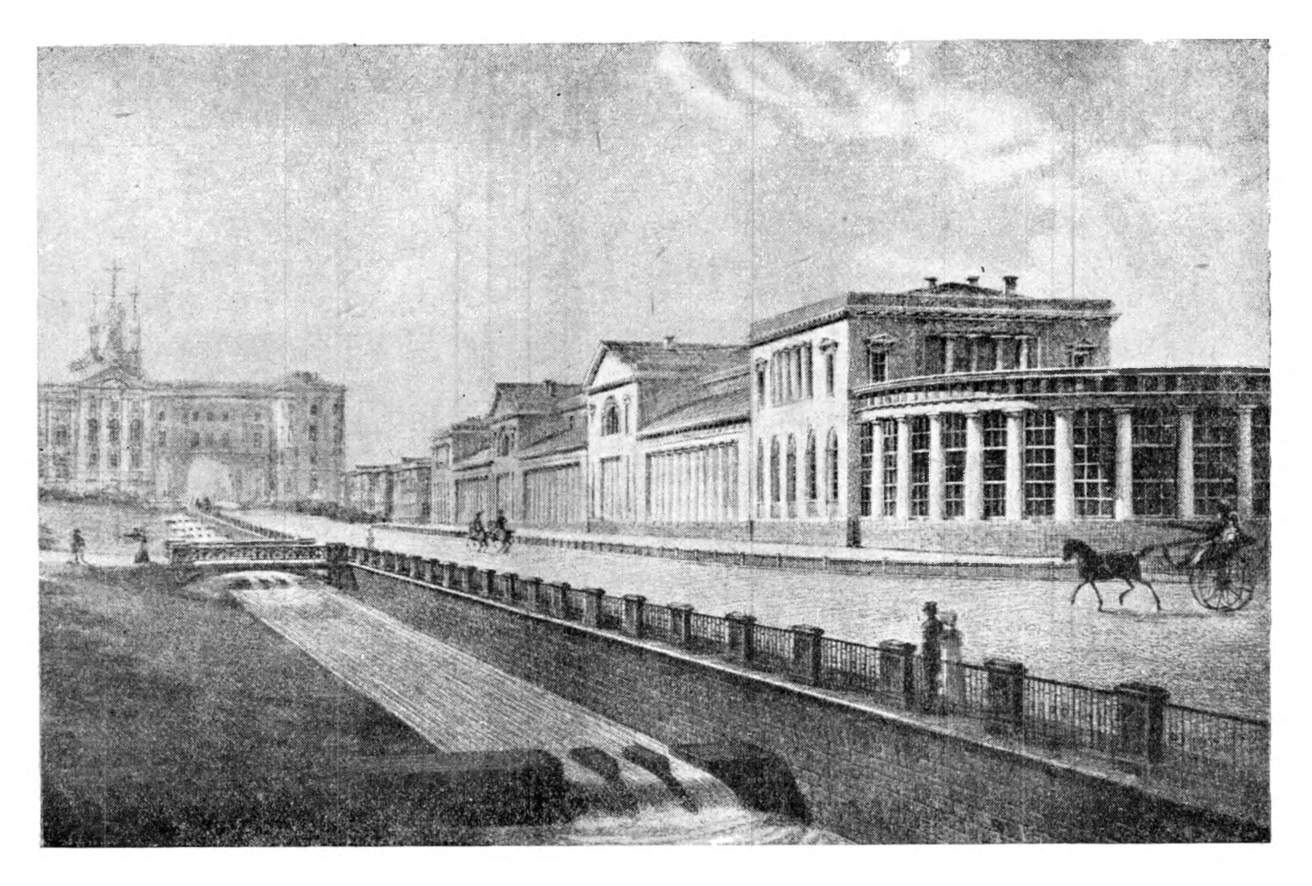
II

Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Лицейские товарищи Пушкина быстро почувствовали будущую литературную славу его: Дельвиг говорил о нём в 1815 г.:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

На всю жизнь Пушкин сохранил воспоминание о лицейском экзамене 8 января 1815 г., когда в присутствии Державина он прочитал своё стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Об этом чтении сохранился рассказ И. И. Пущина (лицейского товарища поэта): «Державин державным своим благословением увенчал юного поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто всё живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда же патриарх наших певцов, в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать поэта и осенил кудрявую его голову, — мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, — его уж не было, он убежал!» (И. Пущин, Записки о Пушкине.)



Царскосельский лицей (в глубине, справа от арки). С литографии 1820-х годов.

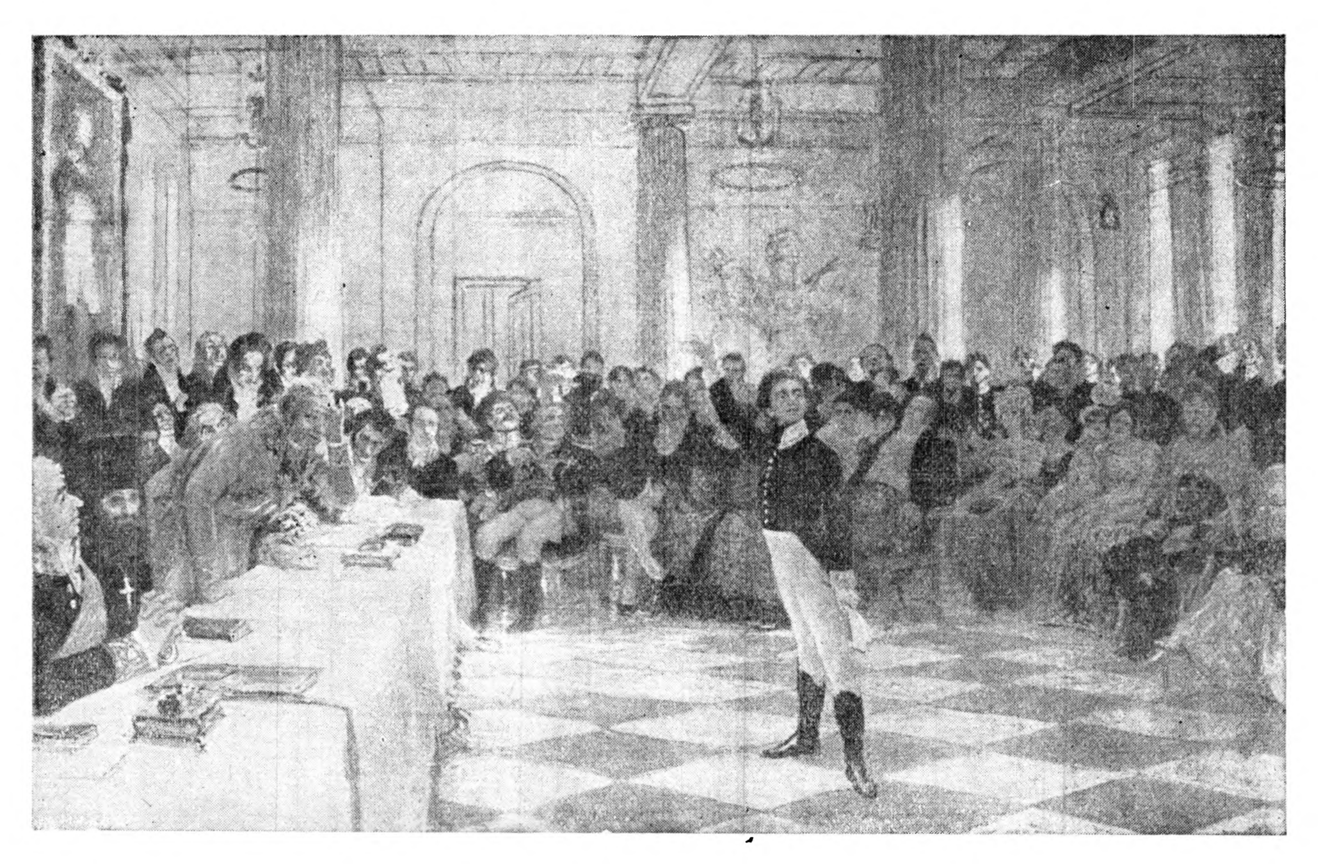
Сам Пушкин впервые рассказал об этом эпизоде в 1817 г. («К Жуковскому»).

Мне жребий вынул Феб — и лира мой удел...
И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым Гением и Грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной.

Любопытен позднейший рассказ Пушкина о том же эпизоде: «Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошёл в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: «где, братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил своё намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и весёлостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил: он сидел, подперши голову рукою: лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его, где представлен он в колпаке и халате, очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен по русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали меня. Я прочёл мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей: когда я дошёл до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце моё забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил своё чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»

В рукописи вторая строфа оканчивалась воспоминанием поэта о И. И. Дмитриеве, Н. М. Карамзине и В. А. Жуковском:

И Дмитрев не был наш хулитель;
И быта русского хранитель,
Скрижаль оставя, нам внимал
И музу робкую ласкал.
И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекрасного певец,
Ты, идол девственных сердец,
Не ты ль, пристрастьем увлеченный,
Не ты ль мне руку подавал
И к славе чистой призывал [1].



Пушкин на лицейском экзамене 1815 г. С картины И. Е. Репина.

III

...Я музу резвую привёл
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров[2]*;*
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодёжь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

В этой строфе ярко характеризуется пушкинская муза-«вакханочка» лицейской и в особенности послелицейской поры (1817—1820).

Послания к Энгельгардту, Всеволожскому, Чаадаеву, Каверину, весь цикл стихотворений, связанных с кружком «Зелёной лампы», рисуют молодого Пушкина, который, «усердствуя Вакху и любви», в «приютах любви и вольных муз», разгорался вместе с друзьями в спорах

Насчёт глупца-вельможи злого,
Насчёт холопа записного,
Насчёт небесного царя,
А иногда насчёт земного.

Понятно, почему либерально настроенная молодёжь «буйно волочилась» за музой Пушкина. Его эпиграммы на царя, на министров, на князей церкви, такие стихотворения, как «Вольность», «Деревня», расходившиеся во множестве списков, превращали Пушкина в эхо и организатора общественных идеалов передовых слоёв дворянства, революционно настраивали также мелкобуржуазную, разночинную интеллигенцию 20-х годов. О популярности Пушкина-поэта сохранилось множество свидетельств: он, по словам Александра I, «наводнил возмутительными стихами всю Россию»; «в бумагах каждого из действовавших [декабристов] находятся стихи твои», — писал Пушкину Жуковский 12 апреля 1826 г.; пушкинское стихотворение «Noël», по признанию Якушкина, «все знали наизусть и распевали чуть не на улице», как и другие стихотворения, которые «везде ходили по рукам, переписывались» (П у щ и н). Декабрист Д. И. Завалишин в своих воспоминаниях писал: «Можно наверное сказать, что по крайней мере $^{9}/_{10}$, если не $^{99}/_{100}$ тогдашней молодёжи первые по-

нятия о безверии, кощунстве и крайнем приложении принципа, что «цель оправдывает средства», т. е. крайних революционных мер, получили из его стихов. Самое достоинство стиха, легко удерживаемого в памяти, содействовало распространению кощунственных революционных идей; и если не все прилагали их к делу, то всё-таки знакомы были с ними по Пушкину. Мы знали впоследствии некоторых весьма пожилых людей и в высоком уже звании, которые, по доброй ли воле или по случайным обстоятельствам, не были причастны ни кощунству, ни революционным мерам, а между тем твёрдо помнили наизусть все стихотворения Пушкина, запечатленные этим направлением. А в наше время едва ли был какой взрослый воспитанник, который не списывал и не выучивал наизусть этих стихотворений» («Литературный Ленинград», 1934, № 62).



Пушкин. Автопортрет 1829 г.

IV—VI

В этих строфах поэт продолжает рисовать свой жизненный путь: ссылка на юг, путешествие по Кавказу, Крыму («брега Тавриды»), Бессарабия («в глуши Молдавии печальной»), уездная, провинциальная глушь, столичная жизнь — везде за ним образ его музы, меняющей свой облик: то Ленора (героиня романтической баллады Бюргера) периода «Кавказского пленника», то «ласковая» дева гурзуфского периода (стихотворения «Нереида», «Редеет облаков летучая гряда» и др.), то одичавшая среди шатров «племён бродящих» («Цыганы»), то барышня уездная «с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках, то «впервые» показавшаяся на «светском рауте». В V строфе есть замечательные строки, которыми Пушкин намекал, что тематика его творчества могла бы стать иной, если б не события, изменившие его жизнь, повернувшие общественную жизнь страны на другую дорогу. Муза поэта в «глуши Молдавии печальной»

...позабыла речь богов
Для скудных странных языков,
Для песен степи, ей любезной...

В беловой рукописи читаем:

Для странных новых языков,
Для писем вольности любезной...
Для пенья степи ей любезной...

Бесспорно, Пушкин хотел сказать, что революционная стихия порабощённых народов на ближнем Востоке, прорывавшаяся восстаниями, подготовкой к ним, нашла в нём поэта, вызвала в нём вольнолюбивую энергию. Кишинёв и Одесса были наполнены в эпоху Пушкина разноязычными носителями национальных (буржуазных и крестьянских) движений; повстанцы на «новых (для поэта) и странных языках» — греки, албанцы, румыны, сербы — шумно заявляли о своём праве на свободу.

В творчестве Пушкина нашло отражение это освободительное движение. Он верил, что его муза будет продолжать петь о «вольности любезной».

«Но дунул ветер, грянул гром». — В издании VIII главы 1832 г. и в первом издании романа 1833 г. цензура заменила этот стих нейтральным: «Вдруг изменилось всё кругом».

Ветер, гром — это слова из того семантического ряда, которым Пушкин нередко сигнализировал о вольнолюбивом порыве, о восстании, мятеже, революционном движении, вообще о катастрофе, выходящей за пределы личного, интимного крушения.

«Под ризой бурь» мечтал ссыльный поэт начать «вольный бег» «по вольному распутью моря» (L строфа I главы). «Вихорь шумный», «гроза» — символ декабрьского восстания («Арион», 1827). «Тучи», «буря» стоят в связи с угрозой беды, нависшей над поэтом по политическому делу в 1828 г. («Предчувствие»). «Новы тучи и ураган их...» — образы европейских революций 30-х годов («Была пора», 1836).

«Грянул гром» — разразилось 14 декабря. «Пенье вольности любезной», мы знаем, осталось прежней внутренней потребностью поэта, но в изменившейся политической обстановке уж не было простора для прежних песен.

VII—XII

Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.

Ср. в беловой рукописи:

Кто там, меж ними в отдаленьи,
Как нечто лишнее, стоит?

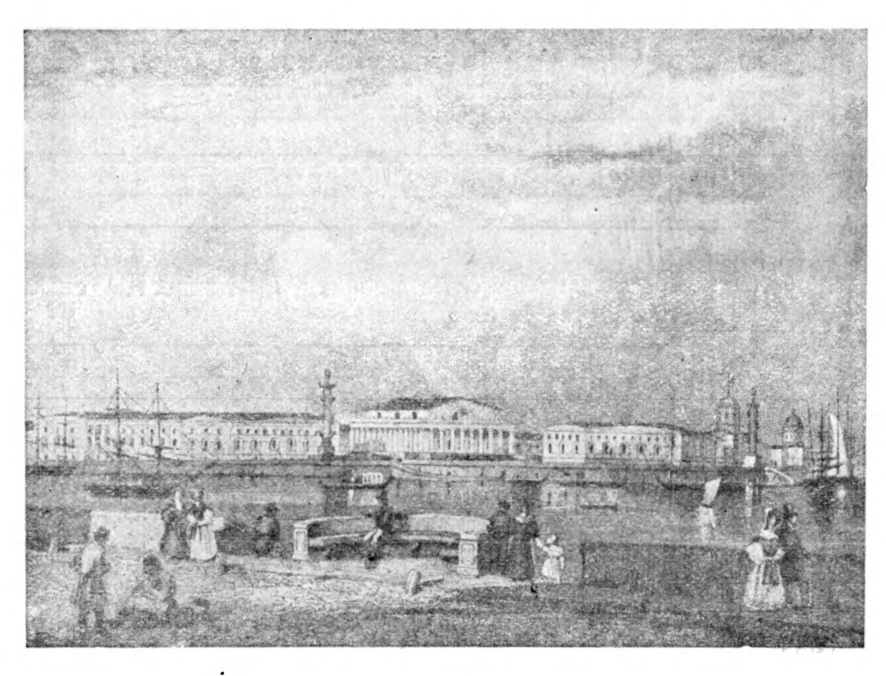
Ни с кем он, мнится, не в сношеньи,
Почти ни с кем не говорит[3].
[Меж молодых аристократов]
[Между налётных дипломатов][4]
Везде он кажется чужим.

Обрисованное в этой строфе положение Онегина в свете совершенно не похоже на то, каким он является там в годы ранней молодости. Прошло немного лет, но он уже ни с кем не имеет связей, он — л и ш н и й, ч у ж о й.

Всё тот же ль он иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
. . . .
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет...

(VIII строфа)

Когда-то Онегин-чудак не казался столь чужим, — Онегины были заметной группой; теперь он в глазах светских людей человек минувшей эпохи, его облик — «обветшалая мода», следовательно, что-то изменилось в самой общественной среде, в ней произошли какие-то перегруппировки. Думается, на этой главе



Вид с дворцовой набережной на Неву.
Из собрания гравюр 1830 г.

преимущественно лежит отпечаток последекабрьских лет, отражение новой общественной обстановки, которую наблюдал Пушкин в высшем свете. Его младший современник Герцен, исторически точно описал эту перемену в той самой среде, куда попал Онегин, где вращался и автор романа. «Пушкин возвратился [из ссылки в 1826 г.] и не узнал ни московского, ни петербургского общества. Он не нашёл больше своих друзей, — не смели даже произносить их имена; только и говорили, что об арестах, обысках и ссылке; все были мрачны и устрашены».

Онегин — среди «молодых аристократов», т. е. той новой знати, которая окружила двор, которая выдвинулась после победы над участниками восстания. Что представляла собой эта новая молодая аристократия? Герцен так писал о ней: «Высшее общество при первом ударе грозы, разразившейся над головой после 14 декабря, потеряло едва перед тем приобретённые понятия о чести и достоинстве. Русская аристократия уже не поднялась при Николае — она отцвела; всё, что имелось в её среде благородного и великодушного, находилось в рудниках или в Сибири. Всё, что оставалось или держалось в благоволении господина, пало до той степени низости и раболепия, которая известна по картине, нарисованной де-Кюстином [5].

Затем следовали гвардейские офицеры; из блестящих и образованных членов общества они становились всё более и более шаблонными, рутинными унтерами... Обстоятельства изменились, гвардия разделила участь аристократии: лучшие офицеры были сосланы, многие оставили службу, не будучи в состоянии выносить грубый и наглый тон, введённый Николаем» [6].

Пушкин, презиравший «молодых аристократов» и «напыщенных магнатов» николаевской реакции, взял под защиту Онегина, когда «благоразумные люди» в искреннем страдании Онегина увидели притворство, когда «самолюбивая ничтожность» стала неблагосклонно отзываться о нём.



Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнёт иной?..

Большой свет ищет в Онегине различные маски: Мельмота, Демона. Мельмот [7] — этот дух отрицания, иронии, неверия, демонизма — был близок охлаждённым скептикам 20-х годов, Мельмотом называли А. Н. Раевского. См. в письме С. Г. Волконского к Пушкину от 18 октября 1824 г.: «Посылаю я вам

письмо от Мельмота... Неправильно вы сказали о Мельмоте, что он в природе ничего не благословлял, прежде я был с Вами согласен, но по опыту знаю, что он имеет чувства дружбы — благородной и неизменной обстоятельствами».

Совершенно не разбираясь, тупые невежды приклеивали Онегину маску то Гарольда, то ханжи, квакера — религиозного сектанта из придворной среды Александра I [8]. Рядом с кличкой космополита Онегину ещё приписывают кличку патриота. Онегин не был ни квакером, ни ханжой, но начала Мельмота, Гарольда, всего того, что вело к отрицанию смысла жизни «посредственности», у него сохранялись.

Чтоб ясней стало, кого называли николаевские голубые мундиры патриотами, припомним, что Радищев в статье «Беседа о том, что есть сын отечества или истинный патриот» (1790) называл патриотом «свободного» человека, готового вступить в борьбу с «притеснителями, злодеями человечества». Известно, что Павел I запретил употребление слова «отечество» как революционного термина. Слово «патриот» сохраняло в либеральных кругах 20-х годов этот оттенок вражды к рабству, тирании. Н. И. Тургенев в 1818 г., после беседы с С. Трубецким, заявившим о своём желании дать свободу крестьянам, сказал о нём: «Этот человек по нашим теперешним обстоятельствам — полезный, — только честный и ревностный патриот полезным быть может». Директор канцелярии III отделения собств. е. и. в. канцелярии М. Я. Фон-Фок, составлявший по поручению шефа жандармов Бенкендорфа всеподданнейшие отчёты за 1827—1830 гг., к числу недовольных правительственным режимом относил группу русских патриотов в разных слоях общества; дворянская молодёжь в этой группе — «настоящие карбонарии»; «в этом раздражённом слое общества мы снова находим идеи Рылеева... три четверти у них либералы»; «банкротство дворянства, продажность правосудия и крепостное право — вот элементы, которые русские патриоты считают возможным использовать в подходящий момент, чтобы возбудить волнения в пользу конституции» [9].

XIII

И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.

Герой комедии Грибоедова «Горе от ума» три года странствовал за границей и в первый день приезда в Москву попал на бал.

Сравнение с Чацким подчёркивает трудное положение Онегина в общественной среде: оба одиноки, обоих влечёт в чуждый им мир людей большого света любовь к женщине, обоих ожидает разрыв с любимой, тому и другому

Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

(XI строфа)

Чацкий разоблачал репетиловщину, «разговорный» характер тайных заседаний — и репликой: «Шумите вы — и только» — намечал необходимость перехода к активному вмешательству, к делу. Онегин, «томясь в бездействии досуга», заняться, трудиться, быть чем-то захотел, быть чем-нибудь давно хотел (см. черновик V строфы). Защищая своего героя, Пушкин бросил намёк на одну из причин неблагосклонных толков об Онегине:

...слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела.

Онегина упрекали за его «резкий разговор, за колкое презренье ко всем», за то, что он вскрывал важное безделье важных людей и замену дела разговорами. Онегина и Чацкого сближает беспокойная

Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).

Чацкий и Онегин — родные братья в характеристике Герцена: «Чацкий, это резонёрствующий Онегин, его старший брат. «Герой нашего времени» Лермонтова — его младший брат» [10].

XIV

Но вот толпа заколебалась,
По зале шопот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора, наглого для всех,
Без притязаний на успех,

Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Всё тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...

По свидетельству П. А. Плетнёва, ссылавшегося на слова Пушкина, в этих стихах изображена гр. Н. В. Кочубей (1800—1855), дочь министра внутренних дел, лицейское увлечение поэта; с ней он встречался позже в Петербурге; она была замужем за графом А. Г. Строгановым. Таким образом, для зарисовки Татьяны в петербургском свете Пушкин воспользовался живой натурой, «красивой Натали», как называла её жена Николая I.

Du comme il faut — французское выражение, обозначало сочетание таких качеств, которые казались в дворянском обществе присущими наиболее совершенным его представителям, которыми они, как китайской стеной, отделялись от других смертных и отсутствие которых считалось признаком принадлежности к недостаточно высокому роду или просто к людям «чёрной кости». Классовое содержание этого выражения замечательно раскрыто в XXXI главе повести Л. Н. Толстого «Юность»: «Главное зло состояло в том убеждении, что comme il faut есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни учёным, когда он comme il faut; что, достигнув этого положения, он уже исполняет своё назначение и даже становится выше большей части людей».

Для Льва Толстого, поражённого кризисом феодально-барского строя жизни в 50-х годах XIX века, это понятие comme il faut казалось «пагубным», «ложным», привитым ему воспитанием и обществом, но вместе с тем оно срослось с ним и в годы юности было для него «не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого он желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастия, ни славы, ничего хорошего на свете».



Она казалась верный снимок
*Du comme il faut... ***, прости:*
Не знаю, как перевести.

В. Кюхельбекер, перечитывая VIII главу, увидел в трёх звёздочках «полемическую выходку» Пушкина: «Нападки на *** не слишком кстати. Мне бы этого и не следовало, быть может,

говорить, потому что очень хорошо узнаю самого себя под иероглифом трёх звёздочек, но скажу стихом Пушкина же»:

Мне истина всего дороже [11].

В. Кюхельбекер, очевидно, читал этот стих так:

... Вильгельм, прости.
Не знаю, как перевести.

Обычная в изданиях романа расшифровка трёх звёздочек фамилией Шишкова соответствует замыслу поэта, который в беловой рукописи написал: Ш *; П. А. Вяземский, перечитывая роман, сделал на берлинском издании его 1863 г. заметку против этого стиха: «вероятно, Шишков».

XIV—XVI

Образ Татьяны — великосветской дамы Пушкин хотел бы видеть в своей жене: «Ты знаешь, как я не люблю, — писал он ей 30 октября 1833 г., — всё, что пахнет московской барышнею, всё, что не comme il faut, всё что vulgar... Если при моём возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот-те Христос, и пойду в солдаты с горя...»

По поводу превращения Татьяны Лариной — провинциальной девушки — в законодательницу светского салона ещё при жизни поэта П. А. Катенин указывал, что «переход от Татьяны — уездной барышни к Татьяне — знатной даме слишком неожидан и необъясним». «Замечание опытного художника», — печатно заявил Пушкин в 1832 г., выпуская VIII главу отдельным изданием. Современные исследователи расходятся между собой по этому вопросу: Н. К. Пиксанов считает «неясностью», «недоработанностью», «натянутым художественно-психологическим парадоксом» этот внезапный переход, превращение Татьяны; указывая, что «сам Пушкин охарактеризовал всю внезапность перерождения Татьяны»:

Как изменилася Татьяна!
Как твёрдо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приёмы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал? —

комментатор романа заявляет: «действительно, трудно угадать уездную барышню в величавой законодательнице зал, действительно, Татьяна скоро, слишком скоро приняла приёмы придворного сана» [12]. Д. Д. Благой, напротив, утверждает, что «вступление Татьяны в свет было в сущности возвращением её в привыч-

ную обстановку, в которой жило и действовало несколько поколений её предков» («Социология творчества Пушкина», изд. 2-е, стр. 149).

Последний аргумент отводится самой Татьяной, которая об этом якобы «отчем доме», «привычной обстановке» отзывается весьма пренебрежительно; «постылой жизни мишура», «ветошь маскарада», вот как она называет и свой «модный дом» и «весь этот блеск и шум, и чад» светской и придворной жизни. Образ Татьяны, подобно образу Онегина, показан в романе в развитии. Путь от «девчонки» к «величавой и небрежной» светской женщине, пользующейся успехом «в вихре света», Татьяна прошла не без надлома, пережив жизненное потрясение, освободившее её кое в чём от привычек и склонностей «уездной барышни» и давшее ей в руки более критическое отношение к жизни, большее уменье владеть собой, чувство реальной почвы под собой. Приобрести то, что в облике светской женщины казалось Пушкину наиболее ценным:

Всё тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut... —

Татьяне не представляло никакого труда: поэт отметил её «милую простоту» тогда, когда она была ещё Таней Лариной. «Небрежность законодательницы зал» была лишь вариацией той «любезной небрежности», с которой она, по словам поэта, бросала нежные слова в девичьем письме к Онегину.

«Ум и воля живая» помогли ей в искусстве твёрдо усвоить роль и «приёмы утеснительного сана» в новых условиях жизни. Опыт неудачной любви и расширение душевного кругозора в связи с чтением «странного выбора книг» в библиотеке уехавшего Онегина оставили глубокие следы в душе Татьяны, убили в ней «девочку»:

И ей открылся мир иной...

Как и в других случаях, проникновенные слова Белинского являются самым надёжным ключом к уяснению причин психологического перерождения пушкинской героини: «Итак, в Татьяне наконец совершился акт сознания; ум её проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви. Но поняла ли она, в чём именно состоят эти другие интересы и страдания, и если поняла, послужило ли это ей к облегчению её собственных страданий? Конечно, поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою и телом, чтоб понять их вполне, и которых нельзя изучить в книге. И потому книжное знакомство с этим новым миром скорбей если и было для Татьяны откровением, — это откровение произвело на неё

тяжёлое, безотрадное и бесплодное впечатление; оно испугало её, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель жизни, убедило её в необходимости покориться действительности, как она есть, и если жить жизнию сердца, то про себя, в глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, посвящённой тоске и рыданиям. Посещение дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина» (статья IX).

XVI

Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы,
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

Поэт называет Нину Воронскую «блестящей», «Клеопатрою Невы», «ослепительной». Пушкин имел в виду графиню Е. М. Завадовскую (1807—1874), в честь которой, по предположению М. А. Цявловского, написал стихотворение «Красавица». Завадовская славилась своей «мраморной красотою» настолько, что одна из петербургских светских женщин, описывая бал у кн. Юсуповых в 1836 г., говорила: Завадовская, «как всегда убивала всех своею царственной, холодной красотою». Вяземский, Козлов слагали стихи в честь этой красавицы, с которой современники сравнивали только жену Пушкина [13]. Вяземский в одном из писем к жене просил прислать образцы материи для Нины Воронской: «так названа Завадовская в Онегине» («Лит. наследство» № 16—18, стр. 558).

XXIII—XXVI

Между XXIII и последующими строфами явное противоречие: в XXIII строфе гостиная Татьяны освещена благожелательно («без глупого жеманства», «разумный толк без пошлых тем» и т. д.), но в следующих строфах светское общество этой гостиной зарисовано с уничтожающей резкостью: этот «цвет столицы» состоит сплошь из глупцов, злых, «известных низостью души» представителей «знати». Первоначально Пушкин собирался дать описание гостиной, где

Со всею вольностью дворянской
Чуждались щегольства речей

И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей.
В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей...

*

Никто насмешкою холодной
Встречать не думал старика,
Заметя воротник не модный
Под бантом шейного платка.
И земляка-провинциала
Хозяйка спесью не смущала,
Равно для всех она была
Непринуждённа и мила.
Лишь путешественник залётный,
Блестящий лондонский нахал,
Полу-улыбку возбуждал
Своей осанкой беззаботной;
И быстро обменённый взор
Ему был общий приговор.

Во всей этой картине только последняя черточка («Лишь путешественник залётный. . .») нарушает общий благожелательный тон. В окончательном тексте возобладала сатирическая струя, и, начиная с XXIV строфы, подбор характеристик «цвета столицы» дан был в совершенно противоположном направлении. История переработки этих строф, изученная М. Гофманом («Пропущенные строфы «Евгения Онегина», П. 1922), Д. Д. Благим («Социология творчества Пушкина») и Н. К. Пиксановым («На пути к гибели» в сб. «О классиках», М. 1933), наглядно обнаруживает колебания и противоречия Пушкина, заставлявшие его тянуться к большому свету и одновременно задыхаться в сем «омуте». Сидя в Болдине (1830), идеализируя «модный дом и вечера» петербургского высшего света, эти «яркие и богатые залы» с «неприступными богинями роскошной царственной Невы», он набрасывал указанный выше первоначальный текст; но он давно уже враждебно настроен был по отношению к «новой знати», клеймил в стихах «злодея иль глупца в величии неправом», видел в «кругу большого света»

... важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах,
И глупость в золотых очках,
И тучной знатности похмелье,
И скуку с картами в руках...

Ещё в 1819 г. он помнил петербургских «вельмож» — «сих детей честолюбивых, злых без ума, без гордости спесивых», «украшенных глупцов, святых невежд, почётных подлецов» (А. М. Горчакову).

Пребывание в 1831 г. (по возвращении из Болдина) в аристократическом, придворном обществе (в Петербурге и в Царском Селе) усилило давно знакомые впечатления, — в итоге светский «омут», который совсем недавно был заклеймён поэтом в конце VI главы романа, был очерчен резко отрицательно в XXIV—XXVI строфах с сатирическими зарисовками «везде встречаемых лиц». Над светскими предрассудками взял перевес голос возмущения художника-публициста, которому чем дальше, тем больше



Невский проспект.

С рисунка А. Гампельна.

становилось очевидным, что окончательный разрыв даже во внешних отношениях с этой средой неизбежен. В беловой рукописи с замечательной яркостью были представлены деятели высшего дворянства, его командующей верхушки:

Тут был [К. М.], фра[нцуз] женатый
На кукле чахлой и горбатой
И семи тысячах душах;
Тут был во всех своих звездах
[Правленья цензор] непреклонный
(Недавно грозный сей Катон
За взятки места был лишён);
Тут был ещё сенатор сонный,
Проведший с картами свой век,
Для власти нужный человек.

В четвёртом черновом наброске читаем:

Тут Лиза Лосина была, —
Уж так жеманна, так мала,
Так неопрятна, так писклива,
Что поневоле каждый гость
Предполагал в ней ум и злость...
[В углу важна и молчалива]

К некоторым из светских гостей исследователями указаны прототипы.

На всё сердитый господин...
На вензель, двум сестрицам данный —

это, по словам А. О. Смирновой-Россет, хорошо знавшей «цвет столицы», — некто гр. Моден Г. К. (1774—1833), крупный чиновник, завидовавший тому, что во дворец были взяты две дочери умершего генерала Бороздина и получили знак отличия, выдававшийся фрейлинам [14]. Далее Пушкин упоминает сына французского эмигранта Э. К. Сен-При (1806—1828), известного светского карикатуриста.

Путешественник залётный — по догадке С. Глинки, Томас Рейкс, англичанин, бывший в Петербурге в 1829 г., вращавшийся в высшем свете столицы и описавший в письме к своему другу (от 24 ноября 1829 г.) своё знакомство с Пушкиным («Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, стр. 110). Н. О. Лернер предполагает, что в числе «пожилых и с виду злых дам в чепцах и в розах» была Н. П. Голицына — прообраз «Пиковой дамы» («Рассказы о Пушкине», стр. 154).

Что касается бытовых красок для «истинно дворянской гостиной», исследователи указывают, между прочим, на петербургский салон графини С. А. Бобринской, по словам П. А. Вяземского, «женщины редкой любезности, спокойной, но неотразимой очаровательности», в доме которой «дипломаты, просвещённые путешественники находили осуществление преданий о том гостеприимстве, о тех салонах, которыми некогда славились западные столицы» [15].

Заслуживает особого внимания указание Пушкина, что в «истинно дворянской гостиной» был принят «слог простонародный», отличавшийся «живою странностью». Автор романа боролся за этот слог с журналистами вроде Н. Полевого, который в своих статьях и беллетристике отражал язык буржуазной полуинтеллигенции с налётом вульгарной книжности, напыщенной фразистости, щеголеватой кудрявости. В памятниках древнерусской словесности, в устной поэзии, в говоре московских просвирен и крестьянства Пушкин черпал основу для установления литературного языка. «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограни-

ченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и странному просторечию», писал Пушкин, считая «нагую простоту», «краткость и даже грубость выражения», живой драматизм отличительными особенностями разговорного языка «простолюдинов».

Расширение книжного языка просторечьем простого народа, что защищал Пушкин, не встречало в журнале Полевого одобрения. В рецензии на повесть Погодина «Чёрная немочь» Полевой писал: «Говорят, что язык действующих лиц в «Чёрной немочи», картины и мелочные подробности взяты с природы. Очень может быть, что ч ё р н ы й народ наш говорит, думает и живёт почти так, как описывает это г-н Погодин. Но где границы вкуса? Всё ли существующее в природе и в обществе достойно быть переносимо в изящную словесность?» «Язык [в повести] вообще дурен, и во многих местах действующие лица и автор говорят одинакими выражениями. Мы думаем, что первые должны говорить свойственным им языком, напротив, автор обязан выражаться языком хорошего общества и выдерживать тон своего рассказа» [16].

Здесь было расхождение Пушкина с «журнальными судьями»: то, что в «Московском телеграфе» признавали «языком хорошего общества», — по мнению Пушкина, «просто принадлежит языку дурного общества». В противовес Полевому Пушкин подчёркивал связь «простонародного» и «истинно дворянского», светского в быту и в литературном языке: «откровенные оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха».

Рукопись романа хранила следы борьбы Пушкина с враждебной ему журналистикой. В печатном тексте конец XXIII строфы лишь приглушённо намекал на публицистические высказывания поэта об языке и его элементах.

ПИСЬМО ОНЕГИНА К ТАТЬЯНЕ

К письму Онегина относится ещё следующий набросок в черновой рукописи:

Я позабыл ваш образ милый,
Речей стыдливых нежный звук.
И жизнь сносил душой унылой,
Как искупительный недуг...
Так, я безумец, — но ужели
Я слишком многое прошу?
Когда б хоть тень вы разумели
Того, что в сердце я ношу!
. . . .
И что же... Вот, чего хочу:
Пройду — немного — с вами рядом,
Упьюсь по капле сладким ядом
И, благодарный, замолчу...

Онегин «как дитя, влюблён» в Татьяну; незамечаемый Татьяной, Онегин «бледнеть начинает»:

Онегин сохнет и едва ль
Уж не чахоткою страдает...

«Сердечное страданье пришло ему не в мочь», — так несколько раз Пушкин подчёркивал серьёзность чувства своего героя, ставшего «на мертвеца похожим» от страданий неразделённой, как ему казалось, любви.

Прав был Белинский, когда писал: «Письмо Онегина к Татьяне горит страстью; в нём уже нет иронии, нет светской умеренности, светской маски... В глазах Онегина любовь без борьбы не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему лёгкой победы. И он бросился в эту борьбу без надежды на победу, без расчёта, со всем безумством искренней страсти, которая так и дышит в каждом слове его письма» [17]. Глубина переживания вспыхнувшего чувства у Онегина раскрывается при сопоставлении его письма с письмом к нему Татьяны: оба письма созвучны друг другу, а ведь в письме Татьяны, которое поэт «свято берёг», выражение подлинной любви, «безумный сердца разговор» (ср. у Онегина: «своё безумство проклинает» — XXXIV строфа). Оба письма перекликаются, повторяют друг друга с тем лишь отличием, что герои поменялись местами, и слова Онегина звучат мольбой побеждённого мужчины, охваченного безнадёжной страстью к любимой. Письмо Онегина является, по словам исследователя, «символическим отражением письма Татьяны»:

В письме Татьяны:

Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

— в письме Онегина:

Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!

В письме Татьяны:

Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить...

— в письме Онегина:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюблёнными глазами.
Внимать вам долго...

В письме Татьяны:

Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья,
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать)...

— в письме Онегина:

Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови...

В письме Татьяны:

То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю...

— в письме Онегина:

Но так и быть! я сам себе
Противиться не в силах боле;
Всё решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе [18].

XXXV

Стал вновь читать он без разбора.
Прочёл он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочёл скептического Беля,
Прочёл творенья Фонтенеля,
Прочёл из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят...

Перечень авторов говорит, что Евгений продолжал следить за разнообразными течениями европейской науки и литературы: присоединив сюда ту беллетристику, которую Татьяна нашла в кабинете Онегина, можно сказать, что герою Пушкина были знакомы последние произведения иностранной литературы, а


Эд. Гиббон. С гравюры 1823 г.

выбор книг обнаруживал во всех периодах его жизни неизменное пристрастье к передовым темам.

Но весь этот культурный багаж, как ни велик он был, оставался бесплодным в вынужденно бесцельной, праздной жизни Онегина.

Гиббон (1737—1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1782—1788). Интерес Онегина к этой книге, некогда прочитанной Н. И. Тургеневым, говорит о его политических интересах, о стремлении разобраться в причинах гибели государственных организмов и в истории религиозных движений. Онегин жил, когда

Игралища таинственной игры,
Металися смущённые народы;
И высились, и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари —

когда

Дрожали троны, алтари...
...тревожились цари,
Толпа свободой волновалась...

Движения народных масс стали очередной исторической темой в Европе и в России. Названный далее писатель давал материал для размышлений на тему о народных мятежах.

Манзони, или Манцони (1784—1873) — глава итальянского романтизма, автор романа «Обручённые, миланская быль XVI века». Онегин мог читать трагедии Манцони, например, «Адельгиз» (1823); если же он читал роман «Обручённые», то Пушкин допустил ошибку: итальянский роман появился в 1827 г., а действие пушкинского романа закончилось весной 1825 г. Пушкину был известен французский перевод «Обручённых» (вышедший в 1828 г.); в октябре — ноябре 1831 г. он упоминал о Манцони в письме к Е. М. Хитрово, имея в виду, очевидно, итальянский оригинал. Есть предположение, что восторженный отзыв об этом романе в «Литературной газете» мог быть

написан Пушкиным: «Сочинитель с большим искусством привязал внимание и участие читателя к судьбе «обречённых», которых взял он из звания мирных поселян и бросил в самый вихрь мятежей и событий исторических, покрыв совершенной неизвестностью будущую судьбу своих героев и, можно сказать, затеряв их на время, чтобы после обрадовать читателя нечаянною с ними встречей» (ср. схему «Капитанской дочки»).

Гердер (1744—1803) — немецкий мыслитель и учёный, поднявший вопрос о ценности устной народной поэзии как основы подлинного искусства, исследователь религии, языка и истории. Ему принадлежат: «Голоса народов в их песнях», «Очерки новой немецкой литературы» (1767), «О происхождении языка» (1770), «Идеи к философии истории человечества» (1784—1791) [19].

Шамфор (1714—1794) — знаменитый французский острослов, которого любил цитировать Пушкин (Полное собрание сочинений Шамфора имелось в библиотеке Пушкина). Между прочим, ему принадлежит афоризм: «Мир хижинам, война дворцам» (указание Л. П. Гроссмана в «Этюдах о Пушкине», стр. 52).

О мадам де Сталь см. выше, комм. к X стр. III гл.

Биша (1771—1802) — знаменитый французский врач, автор многих трудов по анатомии и физиологии. Между прочим, один из его трудов («Recherches phisiologiques sur la vie et la mort», 1800) был переведён в 1865 г. П. А. Бибиковым под названием «Физиологические исследования о жизни и смерти» с обширными примечаниями переводчика о Биша.

Тиссо (1728—1797) — швейцарский врач, автор популярных медицинских сочинений.

Скептический Бель (Bayle, 1647—1706) — французский философ, автор «Словаря исторического и критического» (1696). Его скептицизм, сомнение, критика христианства, католицизма сыграли огромную роль в деле разрушения церковной ортодоксии и этики, основанной на теологии. К. Маркс в следующих словах определил значение Бэйля: «*Пьер Бэйль* не только разрушил метафизику с помощью скептицизма, очищая тем самым почву для усвоения материализма и философии здравого смысла во Франции, он возвестил появление атеистического общества, которое вскоре действительно начало существовать, посредством доказательства того, что возможно существование *общества,* состоящего из *атеистов,* что атеист *может* быть почтенным человеком, что человека унижают не атеизм, а предрассудки и идолопоклонство» («Святое семейство», Собр. соч., т. III, стр. 156).

Фонтенель (1657—1757) — автор «Бесед о множественности миров» (1686), «Истории оракулов» (1687) в лёгкой и остроумной форме защищал основы рационализма, учил «ничему

не верить без доказательств, уметь сомневаться и уметь не знать» (Лансон). Вместе с Бэйлем вёл атаку против христианства, против чудес, суеверий, подготавливая почву для просветителей XVIII в. Пушкин, как и в других случаях, приписал Онегину собственные читательские интересы: в его библиотеке находились труды Гиббона, Фонтенеля, Бэйля.

Альманахи,— сборники прозы и стихов, критических статей; в 20-х и 30-х годах служили формой выражения взглядов кружков и салонных объединений писателей. Пушкин замечает, что в альманахах и журналах «нынче (т. е. в конце 20-х годов и в 1830—1831 гг.) его бранят». Действительно, в 1828 г. «С.-Петербургский зритель», «Атеней», в 1828 г. и в 1830 г. «Московский телеграф», «Вестник Европы» недоброжелательно, резко и насмешливо выставляли разнообразные «недостатки» в романе Пушкина («нет характеров», «нет действия», «повторения», «неточные выражения» и т. д. и т. д.).

XXXVII

И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пёстрый мечет фараон.

Когда-то бывшему игроком (в вариантах II главы) Онегину явления жизни рисуются картиной карточного поля.

Фараон — азартная карточная игра; сохранился любопытный вариант в черновой рукописи:

...и в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
И перед ним воображенье
Свой пёстрый мечет фараон.
Виденья быстрые лукаво
Скользят налево и направо,
И будто на смех — ни одно
Ему в отраду не дано,
И как отчаянный игрок
Он жадно проклинает рок...
Всё те же сыплются виденья
Пред ним упрямой чередой;
За ними с скрежетом мученья
Он слабой следует душой.
[Отрады нет... он]
[Все ставки жизни проиграл]...

Безнадёжный итог, подведённый Онегиным, не входил в окончательный план автора романа: для Евгения ещё не были проиграны «все ставки жизни», ещё должна была загореться высокая цель жизни.

XXXVIII

И он мурлыкал: Benedetta,
Иль I d o l m i o, и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

А. П. Керн в своих воспоминаниях рассказывает: «Во время моего пребывания в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:

Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной (и проч.).

Мы пели этот романс Козлова на голос Benedetta sia la madre, баркароллы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку».

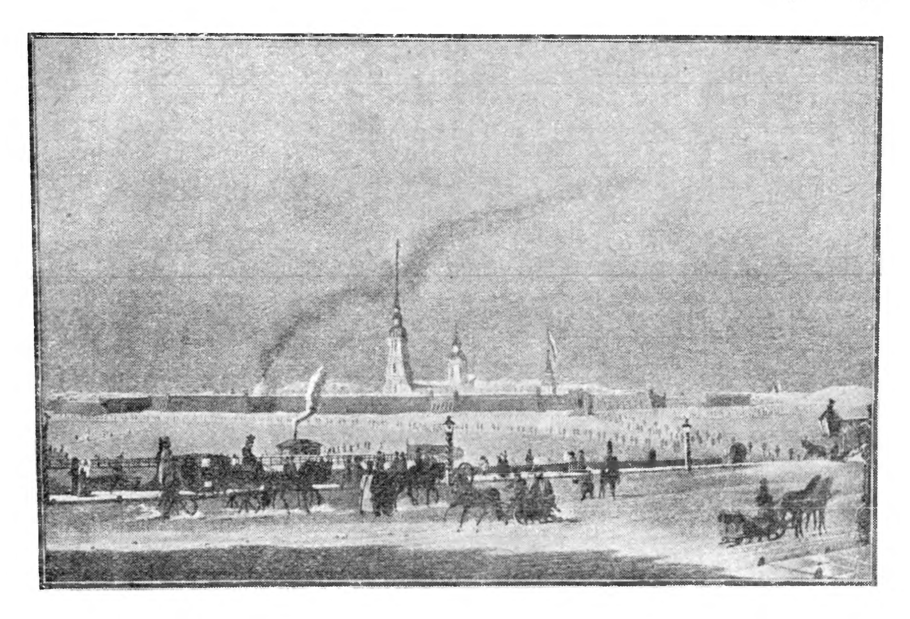
Другая итальянская песенка тоже, видимо, была популярной в пушкинском кругу, где итальянской музыкой увлекались многие, начиная с самого автора романа (Пушкин, живя в Михайловском, просил выслать ему ноты Россини; в Тригорском в 1824 г. дочери П. Осиповой «разыгрывали ему» того же итальянского композитора). Н. О. Лернер указал, что «idol mio» — припев из дуэтино итальянского композитора Габусси («idol mio, piu pace non ho» — идол мой, я покоя лишён) [20].

XXXIX

Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима...
. . . .
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он как сурок,
Двойные окна, камелёк
Он ясным утром оставляет,
Несётся вдоль Невы в санях.
На синих, иссечённых льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.

В последний раз прерывает Пушкин своё повествование картиной природы. Пейзаж занимает скромное место в романе. В центре его человеческие характеры, индивидуальное *я* героев и самого автора, постоянно вплетающего в ткань романа свои ли-

рические излияния. Городские и деревенские пейзажи чередуются с преобладанием последних: в усадьбе протекала бóльшая часть событий и жизни почти всех нарисованных лиц. Летние и зимние ночи, вечер, утро в городе, в деревне; осень, зима, весна (по два описания), долина, липовый лесок, северное лето, Крым, Кавказ, Поволжье, — всё это очерчено поэтом бегло, скупо, без лишних подробностей. Краски поэта точно и просто обозначают предмет, они обобщённо схватывают явления природы: *голубое (синее)*



Вид на Неву и Петропавловскую крепость.
С рисунка Садовникова, 1830.

небо, *зелёный* луг, *побелевший* двор (всё *бело* кругом), *бледный* небосклон, *голубой* столб дыма, небо *тёмное,* лес *зелёный, светлая* река (ручеёк), нивы *золотые,* вечер *синий.* Лишь изредка встречаются индивидуализированные образы: *полосатые* холмы, бразды *пушистые,* волн края *жемчужны,* сиянье *розовых* снегов; *кипучий, тёмный и седой* поток; *иссечённые* льды, *отуманенная* луна (река), *рыхлый* снег, *нагие* липы. Иногда поэт бросает постоянные эпитеты устной народно-поэтической традиции: *чистое* поле (дважды), *красные* майские дни.

Пушкин не столько видит и слышит природу, сколько её переживает. Лирическая настроенность так сильна в нём, что он иначе не говорит о природе, как проецируя её сквозь призму личных настроений. Поэтому пейзажные образы романа так насыщены

эмоциональными, но не картинно живописными эпитетами. Пушкинские пейзажи не блестят множеством красок (ср. Тургенева), но поражают богатством психологических нюансов, их меткой направленностью. Автор не скрывает своего субъективного отношения к явлениям природы, временам года: рады мы проказам матушки-зимы; деревня зимой докучает однообразной наготой; наше северное лето — карикатура южных зим. Как грустно мне твоё явленье, весна, весна! пора любви! (и т. д. — глава VII, строфа II—III). Приближалась довольно скучная пора: стоял ноябрь уж у двора. Я помню море пред грозою: как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою с любовью лечь к её ногам! Как часто летнею порою... дыханьем ночи благосклонной безмолвно упивались мы! (и т. д.; см. ещё в «Путешествии Онегина»).

Подбор эпитетов убедительно доказывает психологизм пушкинского пейзажа: улыбка *ясная* природы, *весёлая* природа, прохлада *сумрачной* дубравы, *томный* свет луны, *печальная* луна (мгла), *печальные* скалы (Финляндии, где скучал автор «Пиров» — Е. Баратынский), *весёлый* первый снег, *таинственная* сень лесов с *печальным* шумом обнажалась (ср. *таинственные* долины), *нахмуренная* краса сосен, *соблазнительная* ночь, северный *печальный* снег, утра шум *приятный, полудикая* равнина, *гордые* волжские берега, *величавая* луна, вод *весёлое* стекло, степь *суровая (любезная), неверный* лёд, Терек *своенравный, пустынный* снег, *философическая* пустыня, *сонная скука* полей (в выпущенной строфе), *пустыни неба безмятежны* и т. д. Пушкин вскрывает свой субъективизм в отношении природы также с помощью сравнений, заимствуя соответственные признаки из жизни человека: «природа *трепетна, бледна, как жертва пышно убрана»*... Чаще, однако, обратный приём: образ природы применяется по ассоциации к какому-либо переживанию, состоянию человека:

...Наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.

(VIII, XI)

И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнём оживлено.

(III, VII)

Сменит не раз младая дева
Мечтами лёгкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.

(IV, XVI)

На грудь кладёт тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.

(VI, XXXI)

Поэта память пронеслась,
Как дым по небу голубому.

(VII, XIV)

В выборе явлений природы для сопоставления с человеческим миром Пушкин обычно исходил из простейших наблюдений; в его речевом обиходе находим самое обыденное, бывшее уже и в современной ему поэзии не новым: она увяла, *как ландыш;* её глаза, как *небо,* голубые; встречаются сравнения *с ланью, сурком, мотыльком, зайчиком, зверем* (наиболее распространённые по форме сравнения с *волком, котом* выпущены). Столь же просты пушкинские метафоры: *увядшее сердце, плоды мечтаний, розы пламенных ланит, жизни цвет, увял венец младости;* «пред вами в муках замирать, бледнеть и *гаснуть* — вот блаженство» и пр. Единственный пример сложного по форме, одновременного ввода метафор и сравнений в XXIX строфе VIII главы:

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют, —
И жизнь могущая даёт
И пышный цвет, и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мёртвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

В пейзажных зарисовках романа чрезвычайно редки условно-поэтические, книжные обороты европейского классицизма: *луч Дианы, лик Дианы;* сад — *приют задумчивых дриад;* шум морской — *немолчный шопот Нереиды;* безыменная речка — *Геллеспонт,* — вот и весь запас традиционной мифологической стилистики [21]. Севернорусская природа, окружавшая обитателя села Михайловского, давала скромный, но устойчивый материал; социальное самочувствие Пушкина, бившегося в тисках полицейского порядка, заставляло его воскликнуть:

Воображать я вечно буду
Вас, тени прибережных ив,
Вас, мир и сон Тригорских нив,

И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги...

Пушкинский пейзаж всегда «жанровый», он обычно связывается с образами человека, животного, птицы. Рисует ли поэт осень и зиму в IV и V главах, долину в VI главе, лицейский сад в VII главе, петербургскую ночь, ночь в Венеции (I глава) и др., пейзаж оживлён присутствием «осторожного путника» на коне; девы, распевающей в избушке; крестьянина, ямщика, дворового мальчика, «голодной волчихи», каравана «гусей крикливых», тяжёлого гуся на красных лапках; то говорливой, то немой венецианки молодой и т. д. Пейзаж романа в большинстве примеров зарисован любовно, весело: *весёлые* сороки; зима, крестьянин, *торжествуя;* летит кибитка *удалая* [22], дворовому мальчику, заморозившему пальчик, и больно, и *смешно; весёлая* природа, небесная *краса; проказы матушки зимы;* вёрсты, *теша* праздный взор; зимы порой холодной езда *приятна* и *легка; весёлый* мелькает, вьётся первый снег; мальчишек *радостный* народ коньками звучно режет лёд; всегда *как утро весела;* деревня, где скучал Евгений, была *прелестный уголок;* теперь то холмы, то ручей остановляют поневоле Татьяну *прелестью* своей; пруд под сенью ив густых — *раздолье уток молодых.*

Заслуживает внимания одна деталь, упорно повторявшаяся поэтом; из зрительных впечатлений он особенно часто выбирал признак б л е с к а, — солнышко *блистало,* луна *блестит, блистает* речка, зимы *блистательный* ковёр; синея *блещут* небеса; *блеснул* мороз; глыба снеговая, на солнце искрами *блистая;* брега Тавриды... вы мне предстали в *блеске* брачном; всё *блещет* югом; при *блеске* фонарей и звёзд; везде *блистают* фонари, *блестит* великолепный дом и др.; ср. также: лунного луча *сиянье* гаснет... приют, *сияньем* муз одетый... поток *засеребрился ...серебрятся* средь полей... деревья в *зимнем серебре* (всё ярко, всё *бело* вокруг)... при свете *серебристом* луны... близ вод, *сиявших* в тишине, и др.

Несмотря на то, что количественно усадебные, деревенские пейзажи преобладают в романе, городской пейзаж занимает достаточное место, и, главное, он динамичен, заключает в себе характерные особенности городского уклада жизни. В сельских зарисовках совершенно тонет вскользь брошенное указание: *на нивах шум работ умолк,* тогда как города — Петербург, Москва, Макарьев, Одесса — показаны Пушкиным с теми классовыми противоречиями, которые придавали буржуазным центрам движение, борьбу интересов. В I главе Петербург назван *неугомонным* (см. также в VII главе: град *неугомонный);* автор романа вслед за этим пишет: проснулся утра *шум приятный*

(ср. *деревенская тишина; сонная скука полей*)... Город даже ночью полон звуков: *стук дрожек, перекликались часовые, рожок и песня удалая;* рано утром Петербург «уж барабаном *пробуждён»*... Ночью в городе есть *померкшие дома,* но *на сонной улице* кругом великолепного дома горят плошки, «двойные фонари карет *весёлый* изливают свет и радуги на снег наводят»,

По цельным окнам тени *ходят.*
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков...

Поэт любит «тесноту, шум, блеск»... «Ах, братцы! как я был доволен», — восклицает он, увидев «белокаменную Москву», часто думая о ней в годы Михайловской ссылки. XXXVIII строфа VII главы даёт детальное перечисление подробностей, в итоге слагающихся в яркую картину большого города, где дворцы и лачужки, лавки и купцы, мужики и огороды, бухарцы и магазины моды, монастыри и казаки, аптеки и сады чётко раскрывали всю пестроту общественного уклада, социальных противоречий, богатство и нищету, охранителей порядка, культурные вкусы. Ещё ярче зарисована Одесса, где всё Европой дышит, где чуть свет «площадь запестрела, всё оживилось, здесь и там бегут за делом и без дела, однако больше по делам», где торговые корабли с «новыми товарами», где тон жизни даёт «дитя расчёта и отваги» — заботливое купечество[23], где ночью блеск фонарей, где шум, споры, множество всяческих очарований... Пушкин, по его признанию, «повесил звонкую свирель ветру в дар, на тёмну ель», но та же звонкая мелодия звучит в его романе в честь города как хозяйственного и культурного очага. Стилистика пушкинского пейзажа, вскрывающая то колебания, то предпочтения, то равные симпатии поэта по адресу «города» и «деревни»[24], отражала социальные противоречия в мировоззрении Пушкина в эпоху борьбы и смены общественных классов.

XLIV

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась...

Ф. Е. Корш указал, что в пустыне имеет здесь значение solitude (уединение). В таком смысле и в других местах:

Оставь меня пустыне и слезам.

(«Элегия», 1816)

Свободы сеятель пустынный...
(1823)

В своей глуши мудрец пустынный...
(гл. II, строфа IV) [25]

Подобное словоупотребление встречалось и у других писателей, например у В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского.



...Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?

Слова Татьяны о её муже — «в сраженьях изувечен» — в связи с тем, что к нему будто бы относится выражение «важный генерал», дали повод ещё Достоевскому в его известной речи о Пушкине (на пушкинских празднествах 1880 г.) считать его «стариком», «старцем». Н. О. Лернер в заметке «Муж Татьяны» («Рассказы о Пушкине», Л. 1929) доказывает, что большой возрастной разницы нет между Онегиным (которому было лет 28—29 в VIII главе) и мужем Татьяны (ведь они «друзья»). «Изувечен» не значит ни калека, ни развалина, а просто человек был несколько раз ранен, и, говоря это — обратите внимание — Онегину, Татьяна (замечает Н. О. Лернер), бессознательно подчиняясь лишь женскому инстинкту, подчёркивает мужество и мужественность своего генерала перед изнеженным сибаритом, видевшим кровь случайно, не в героической обстановке сражения, а только на поединке с Ленским (стр. 214).

Возражая М. Л. Гофману, допускавшему, что муж Татьяны, генерал, родня и друг Онегина, с последним «вспоминает проказы прежних лет», Н. К. Пиксанов считает «невероятным», чтоб важный генерал был сверстником молодого Евгения, и видит некую «неясность» в этой подробности романа [26]. Но Н. О. Лернер привёл убедительные факты (например, друг Пушкина, Раевский, в 29 лет был генералом) для доказательства, что в пушкинскую эпоху молодые люди раньше, чем впоследствии, могли достигать видного положения в обществе.

Оперные постановки «Онегина» (музыка П. И. Чайковского) закрепили в сознании читателей «старость» князя — мужа Татьяны (с фамилией Гремина, придуманной автором либретто М. И. Чайковским).

XLVII

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Образ замужней Татьяны, как идеальное выражение «истинно дворянской» чести, семейных устоев, Пушкиным противопоставлялся распространённому типу «модной жены» (ср. «Граф Нулин»).

В борьбе любви-страсти и долга Пушкин отвёл подчинённое место влечению к личному счастью (ср. с Татьяной Машу Троекурову). Татьяна в выборе между верностью долгу и чувством любви отдала перевес моральному принципу. Этой чертой героини романа (верностью долгу) Пушкин отражал жизненный опыт лучших женщин своего круга: ему была известна история жизни Марии Раевской, вышедшей замуж (за князя Волконского) без любви, но верной ему; он знал, как, несмотря на чинившиеся препятствия официальными властями, родственниками, многие жёны декабристов поехали к своим мужьям-каторжанам во имя долга. В образе Татьяны Пушкин запечатлел характерную особенность исторического типа русской женщины в его идеальном выражении: Ярославна в «Слове о полку Игореве», Юлиания Лазаревская в старинной повести своим целомудренно-строгим отношением к жизни, своим пониманием морального долга принадлежат к тому же типу, что и пушкинская Татьяна. Отношение к Татьяне с её ответом Онегину было различным в общественном сознании читателей разных исторических периодов. Критик — революционный разночинец Белинский (в своей девятой пушкинской статье), считая Татьяну «типом русской женщины», «созданной как будто вся из одного цельного куска, без всяких переделок и примесей», в то же время заявлял, что в «Онегине» «многое устарело теперь» (в 1845 г.), и в частности, как по поводу письма Татьяны, которым он сам когда-то вместе с другими восхищался, «думая в нём видеть высочайший образец откровения женского сердца», писал: «но с тех пор много воды утекло»..., так по поводу последних слов Татьяны Онегину в их последней встрече он негодующе восклицал: «Но я другому отдана — именно о т д а н а, а не о т д а л а с ь! Вечная верность — к о м у и в ч ё м? Верность таким отноше-

ниям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности...»

После того как демократическая молодёжь с 60-х годов стала проявлять в разнообразных формах (фиктивные браки и пр.) протест против освящённых традицией, церковью взглядов на положение женщины в семье, обществе и стала строить бытовые отношения на основе своего понимания прав и обязанностей, писатель, враждебный идеологии революционных демократов, Достоевский, в знаменитой пушкинской речи 8 июня 1880 г. по поводу признания Татьяны назвал её «типом положительной красоты, апофеозой русской женщины» [27]. Татьяна, по его словам, «это тип твёрдый, стоящий твёрдо на своей почве», «тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею». Онегину-скитальцу («у него никакой почвы, это былинка, несомая ветром») она не могла иначе сказать. «Скажите, могла ли решить иначе Татьяна с её высокою душой, с её сердцем, столько пострадавшим? Нет: чистая русская душа решает вот как: «пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть моё несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика (её мужа), пусть, наконец, никто и никогда, а этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят её, но не хочу быть счастливою, загубив другого!» Тут трагедия, она и совершается...»

Достоевскому тогда же ответил Г. Успенский, назвав его аргументацию «заячьей идеей» и отдав предпочтение Маше Булатовой, «нынешней курсистке», которую её родная тётка, «состарившаяся Татьяна», хочет «упечь замуж за очень богатого человека» и которая заявляет, что «она хочет есть трудовой хлеб, учиться, знать, учить других... хочет отдаться служению на родной ниве. Ей ничего не нужно, ни женихов, ни карет, ни богатств...» Г. Успенский выразил мнение демократической интеллигенции, когда в своём ответе Достоевскому, увидевшему апофеоз русской женщины в её жертвенности: «Я другому отдана!», — резко сказал: «Вот к какой проповеди тупого, подневольного, грубого жертвоприношения привело автора обилие заячьих идей» [28].

Резкий тон Г. Успенского в известной мере объяснялся общим содержанием речи Достоевского с реакционной проповедью смирения. Как ни менялось восприятие образа Татьяны в зависимости от общественных взглядов читателей, судьба пушкинской героини продолжала волновать, в её типе читатели продолжали находить положительное, ценное, черты поведения, достойные уважения. В анкете, проведённой «Известиями ЦИК СССР и ВЦИК» в 1937 г. на вопрос «Чем дорог Пушкин советскому читателю?», среди многих сотен откликов был один, непосредственно относящийся к нашей теме. В 1918 г.

в таёжном посёлке, недалеко от Енисея, расположился штаб и политотдел партизанской армии. В один из вечеров бойцы, командиры, работники оружейных мастерских и сёстры госпиталя собрались послушать доморощенного сказителя-поэта Рагозина, по профессии маляра. В кармане своей холщёвой пижамы он всегда носил томик Пушкина. Партизанский поэт начал декламировать «Евгения Онегина», «Полтаву». По словам бывшего красного партизана П. Петрова, после прочтения указанных произведений «суровые бойцы сидели с улыбающимися, умилёнными лицами, вздыхали, смотрели на чтеца с открытыми ртами. Заметив слёзы у женщин, кто-то спросил:

— Чего вы размокли?

— Оттого, что всё правда, — ответило сразу несколько голосов. — Жалко Таню и Марию... Такой же обман и куражи бывают и среди нас... Подметил — лучше нельзя.

В развернувшейся беседе партизанки не стали на путь осуждения Татьяны и Марии, не нашли в их поведении писаревского мещанства. Чистая любовь девушек, сладкие муки ожиданий, психология влюблённых и обманутых в своих надеждах женщин были близки, понятны и горячо пережиты женщинами, закалёнными в боевой обстановке. Гордость Татьяны вызвала похвалы мужчин и женщин. Неважно, что она стала дамой «большого света», важно, что она показала характер, серьёзный взгляд на супружество, сумела постоять за честь женскую. В словах: «Но я другому отдана» — для женщин тайги прозвучало не робкое преклонение перед долгом и судьбой, а цельность личности, характер принципиальной натуры, умеющей подчинить страсти велению строгого разума. Это было созвучно партизанской психологии того времени. Ведь люди покинули семьи, хозяйства, лишились дорогих близких, и всё-таки крепко держали в руках винтовки, крепко верили в победу. Понятно, что в их глазах Татьяна отказом Онегину сделала героический поступок.

— Я так же бы погнала его, — заявила одна из сестёр...

О благородном облике Татьяны и об его отражении во многих женских образах нашей художественной литературы говорил К. М. Симонов в своем докладе о Пушкине на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР 6 июня 1949 г.: «разве можно себе представить более чистый и сильный образ замечательной русской женщины, чем тот, который он создал в «Евгении Онегине» в лице своей Татьяны?

Пушкин был реалистом и показал современное ему общество в его реальной жизненной обстановке. Его Татьяна не революционерка, но разве она не несёт в своём образе задатков всего того, что так безгранично красиво развилось в русской женщине в годы, когда она вышла на борьбу за свободу народа?

Разве мыслимы без своей предистории — без Татьяны — русские женщины Некрасова, женские образы Тургенева, Чернышевского, Толстого, Горького?»

XLVIII

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражён.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружён!

Ещё Белинский спрашивал: «Что сталось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мёртвую, холодную апатию? — Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтоб не захотелось больше ничего знать...» Гениальный критик не имел сведений о X главе, в которой Онегин должен был выступать или в роли участника декабрьского восстания или замешанного по делу 14 декабря 1825 г.; не знал, что автор романа предполагал закончить жизненный путь «праздного» героя общественной борьбой. Но замечательная проникновенность в «пафос» творчества Пушкина подсказала ему возможность подобного исхода, возможность воскрешения к «новому страданию, сообразному с человеческим достоинством» [29].

Пушкин неоднократно рисовал образ мужчины, в неудачной любви, в неудовлетворённой страсти находившего стимул к общественной, политической деятельности. Онегин дожил до 26 лет без цели. Бесцельная жизнь его томила. «Ничем заняться не умел, томясь в бездействии досуга». Он искал счастья и не нашёл его. Но вот Татьяна живёт без счастья интимной жизни, живёт с нелюбимым мужем, и что же? — она покойна и вольна (XXII строфа). В «буре ощущений» Онегин должен был прочувствовать, продумать причину такого состояния Татьяны и прийти вслед за Пушкиным к выводу, что его Татьяна нашла цель своей жизни — служение долгу, принятым на себя по своему решению обязательствам жены, матери, устроительницы семейного очага, одной из ячеек общественного быта. До сих пор — так думал Евгений — вся его жизнь была исканием то миража личного счастья, то жажды вольности и покоя. Но последнее решение также не давало удовлетворения. В его жизни, если б счастье любви по-

сетило его, скоро наступили бы дни скуки: «привыкнув, разлюблю тотчас». Заполненная только интимными переживаниями жизнь Онегина прошла бы неудачливой, раз она не была освящена внеличным идеалом, раз она не имела цели в какой-либо иной сфере, кроме личного *я*.

Та общественная среда, с которой он был связан идейно, стала жить раскалённой атмосферой стремления к делу, к подвигу. Его идейные единомышленники вследствие известных обстоятельств шли к делу, так как перед ними была цель — служение долгу для класса, для страны. Онегин через страсть к Татьяне, отринутый ею, должен был пойти к декабристам, одухотворённый целью, какая одушевляла, например, Пущина, Якушкина и других дружески близких Пушкину людей этого типа, целью, которая стояла перед самим Пушкиным, когда в Каменке на собрании у В. Л. Давыдова он думал, что участвует в тайном обществе и будет принят его членом: «Я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собою». В замысле автора романа (в последней главе) лежала идея возрождения к жизни Онегина через выстраданную им цель жизни, через приобщение его к общественному делу.

Так Пушкин уводил каждого из центральных героев своего романа к делу их жизни: одного — на заседания северян, посвящённые общественным интересам, другую — к семейным обязанностям и к роли организатора общественного мнения в светском салоне.

О том, почему в 1830 г., когда писалась X глава «Евгения Онегина», роман оборвался на весне 1825 г., на крахе интимных волнений героя, см. ниже.

LI

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

Пушкин ссылался на знаменитого персидского поэта XIII в. Са'ди (Саади). Впервые наметилась эта формула как эпиграф к поэме «Бахчисарайский фонтан»: «Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уж нет, другие странствуют далече». Источник данного эпиграфа указан в поэме «Бустан», причём переводчик Саади, К. И. Чайкин, предполагает, что Пушкин пользовался или французским переводом, или русским переводом с французского перевода, но не непосредственно с персидского оригинала. В поэме Саади читаем: «Я услышал, что благо-

родный Джемшид над некоторым источником написал на одном камне: «Над этим источником отдыхало много людей подобных нам. Ушли, как будто мигнули очами, т. е. в мгновение ока». По объяснению К. И. Чайкина, бе рэфтэнд (букв. «они ушли») соответствует «странствуют далече», а чэшм бэр хэм зэдэнд (букв. «мигнули оком») понято было как «смежили глаза» и отсюда: «иных уж нет». «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, 2», изд. Академии наук СССР, 1936, стр. 468.

Запомнившееся в начале 20-х годов изречение применено было в 1830 г.; роман дописывался тогда, когда «рок отъял» из круга Пушкина многих из тех, кому поэт «в дружной встрече строфы первые читал. . .» Достаточно указать на друзей-декабристов, томившихся в ссылке или в крепости, — Пущина и Кюхельбекера, на повешенного Рылеева.

В 1828 г. поступил донос на «Московский телеграф», в первой книжке которого обратила внимание статья «Взгляд на русскую литературу 1825—1826 годов. Письмо в Нью-Иорк к С. Д. П.». По словам доносчика, «желание издателя [30] дать почувствовать читателям, что письмо сие пишется Николаю Тургеневу под вымышленными буквами, явный ропот противу притеснения просвещения, которое называют запретною розою, и сожаление о погибших друзьях на стр. 9 [31] было всем понятно и доставило большой ход журналу. В статье все жалуются на два последние года, т. е. 1825 и 1826 — время отлучки Тургенева и ссылки бунтовщиков. Всё так ясно изъяснено, что не требует пояснений» [32].

Пушкинский эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану» был использован в журнале с политическою целью, доносчик расшифровал это нелегальное применение. Пушкин, конечно, знал хотя бы через Вяземского о московских толках по поводу указанной статьи и, по вполне основательному предположению Н. О. Лернера, поместил в изменённой форме тот же эпиграф, получивший политическое иносказание, как знак открытого изъявления сочувствия декабристам. В начале 1832 г. появилась VIII глава романа; Пушкин, оканчивая роман, демонстрировал, что, вспоминая погибших 14 декабря, он «гимны прежние поёт», что он оставался «Арионом» декабризма [33].



А та, с которой образован
Татьяны милой идеал. . .

Современники романа, мемуаристы и исследователи указывали на многих, кто был, по их мнению, прообразом Татьяны:

Е. Н. Вульф-Вревская, А. П. Керн, графиня Е. К. Воронцова, М. Н. Раевская-Волконская, Е. А. Стройновская, Н. Д. Фонвизина и другие встречаются в этом перечне прототипов героини романа, но совершенно ясно, что Татьяна, «верный идеал» Пушкина, не могла быть портретом, точным снимком с кого-либо из знакомых автора романа; она была сгущённым отражением тех бытовых деталей в окружавшей его общественной среде, которые слагались в его сознании в желанный, «идеальный» тип подлинной дворянки, способной оздоровить дворянскую семью, и вообще хорошей русской женщины.

К литературе о прототипах Татьяны, указанной Н. К. Пиксановым в его «Пушкинской студии» (П. 1922, стр. 49), можно добавить статьи Н. О. Лернера, Один из прообразов Татьяны (в «Рассказах о Пушкине», 1929) и С. П. Шестерикова, Одна из воспетых Пушкиным («Пушкин», I, Одесса 1925).

В L—LI строфах Пушкин прощается с своим «странным спутником», Евгением; говорит, что «расстался» с Онегиным. Автор романа, однако, пытался продолжить своё произведение; не говоря о переработках VIII главы и работе над письмом Онегина в 1831 г., Пушкин осенью 1833 г. набрасывал строфы, где, удовлетворяя просьбы друзей «продолжать рассказ забытый», ссылаясь на голоса друзей, что «странно, даже неучтиво роман не кончив перервать», собирался вернуться к своему многолетнему труду. Но как в этом году, так и в 1835 дальше набросков работа не пошла.

В 1833 г. в «Медном всаднике» Пушкин напомнил читателю о своём герое:

В то время из гостей домой
Пришёл Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Моё перо к тому же дружно.

Но этот Евгений уже принадлежал к другому классу, чем Онегин; его социальное положение, интересы, мечты — всё было иным сравнительно с героем романа. В 30-х годах изменилась общественная атмосфера; выросли новые классовые группы; Пушкин направил своё внимание на художественное изображение этих новых побегов социальной жизни. Картины прежней жизни, казалось, ещё такой недавней, уже отходили в старину. Поэт вращался в кругу злободневных тем живой современности. Одной из таких тем, поставленных на

очередь русской и европейской историей, была тема революции. Перед этой стихией, готовой смыть до основания, разрушить до последнего кирпича здание цивилизации господствовавших классов-эксплоататоров, бледнела военная революция дворян-декабристов. Восстание 14 декабря казалось эпизодом не столь значительным, как «трагедии» мужицкой жакерии и «судороги» революционного движения в Европе. Пушкин бросил намерение дописать роман об Онегине-декабристе не потому, что опасался царской цензуры, которая, разумеется, не пропустила бы уже первых стихов предполагаемой нами первой строфы X главы, — этот мотив я считаю внешним, второстепенным. Тема «Медного всадника», «Дубровского», «Капитанской дочки» — тема классовой борьбы, тема антидворянского фронта, тема гражданской войны основных классов тогдашней России — крестьянства с примыкавшей мелкобуржуазной городской и сельской интеллигенцией против помещичьей усадьбы, против дворянского самовластия, — эта тема заслоняла в сознании Пушкина военное пронунциаменто[34] на Сенатской площади 1825 г. Роман должен был остаться без конца, так как в политической обстановке страны Пушкин увидел, что на смену Онегиным пришли иные социальные типы, что жизнь выдвигала иные темы.

Начиная со II главы, роман выходил уже после гибели декабристов. Мрачный отсвет страшного десятилетия наложил свои краски на пушкинского героя: поэту ничего иного не оставалось делать, как продолжать биографию скучающего, «праздного» Онегина; сама действительность санкционировала необходимость быть образованному дворянину Онегиным, если «не гибнуть в публичных домах или казематах какой-нибудь крепости» (по выражению Герцена).

Онегин стал символом л и ш н и х л ю д е й, типом «умной ненужности» в николаевскую эпоху, когда вся дрянь александровского времени вылезла наружу, заняла вышки государственной жизни. Скучал М. Ф. Орлов, скучал Чаадаев, скучало, задыхаясь с платком во рту, образованное меньшинство дворянского круга. «В толпе избранной для всех Онегин кажется чужим», — таких чужих среди своих было немало в русском дворянстве после 14 декабря. «Онегина постоянно видишь около себя и в себе самом», признавался в 1851 г. Герцен, испытавший гнёт николаевского режима, когда «казарма и канцелярия сделались основаниями политической науки», когда «на поверхности официальной России, «фасадной империи», виднелись только одни потери, свирепая реакция, бесчеловечные преследования», когда «ничего не просить, оставаться независимым, не искать мест» — значило «делать оппозицию». «Правительство подозрительно смотрело на этих «бездельников» и было ими

недовольно. Они, действительно, составляли ядро образованных и дурно относившихся к петербургскому периоду». «Факт тот, что все мы — более или менее Онегины, раз только мы не предпочитаем быть чиновниками или помещиками», — так характеризовал Герцен общественное значение пушкинского героя для определённых слоёв дворянского класса в николаевской России. «Онегин, который вступал в жизнь с улыбкой на устах, с каждой песнею становится всё более и более мрачным и кончает тем, что исчезает, не оставив никакого следа, никакой мысли. Тон был найден, и с тех пор каждый роман, каждая поэма имела своего Онегина, т. е. человека, осуждённого на праздность, бесполезного, сбитого с пути, человека, чужого в своей семье, чужого в своей стране, не желающего делать зло и бессильного делать добро, не делающего в конце концов ничего, хотя и берущегося за всё, исключая, впрочем, двух вещей: во 1-х, он никогда не становится на сторону правительства, и во 2-х, он никогда не умеет стать на сторону народа» [35].

Критик-публицист революционной демократии Н. А. Добролюбов не отрицал индивидуальной значительности Онегина: «Онегин не просто светский фат; это человек с большими силами, человек, понимающий пустоту той жизни, к которой призван он судьбою, но не имеющий довольно силы характера, чтобы из неё выбраться» [36].

Но когда онегинством стали прикрываться представители дворянской культуры, как историко-бытовым и эстетическим знаком оправдания своей нерешительности, своего либерального поведения в момент нарастания классовых противоречий накануне 1861 г., в период революционной ситуации, когда крестьянство ростом своих волнений вызывало надежды на близость революционного взрыва, когда революционная интеллигенция видела в переходе к д е л у, т. е. к революции, очередную задачу для всех подлинно горевших мыслью о благе трудящихся, тогда величайшему из отрицателей «старого порядка» дореформенной России пришлось выступить против классового врага — либерального барства с уничтожающей критикой Онегина и его наследников, включить в один ряд, несмотря на действительные отличия между ними, пушкинского героя и Печорина, Рудина и Тентетникова, назвать их всех о б л о м о в ц а м и: «Раскройте «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват», «Рудина», «Лишнего человека» или «Гамлета Щигровского уезда», — в каждом из них вы найдёте черты, почти буквально сходные с чертами Обломова... Над всеми этими лицами тяготеет одна и та же обломовщина, которая кладёт на них неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете... У них у всех одна общая черта — бесплодное стремление к деятельности, сознание, что из них многое

могло бы выйти, но не выйдет ничего... В этом они поразительно сходятся» («Что такое обломовщина?», 1859).

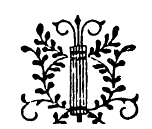
Одновременно с Чернышевским, разоблачавшим в статье «Русский человек на rendez-vous» дворян-либералов, трусивших в решительную минуту жизни, Добролюбов образом Онегина-Обломова характеризовал тех же либеральных деятелей, выполняя политическую задачу разоблачения современных врагов из дворянского лагеря, метя своими гневными сопоставлениями разнохарактерных и выросших при разных исторических условиях литературных героев в живых представителей дворянского либерализма. «Как изменилась точка зрения на образованных и хорошо рассуждающих лежебоков, которых прежде принимали за настоящих общественных деятелей!» — восклицал от имени революционной демократии Добролюбов.

В пушкинском герое прежде всего каралось отсутствие в его жизни такого «дела, которое бы было для него жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось, так что отнять его значило бы лишить жизни». Добролюбов не отрицал, что Онегин «имеет понятие и о высших вопросах, имеет некоторые честные понятия, способен не придавать особенной цены своим светским успехам». «Он выше окружающего его светского общества настолько, что дошёл до сознания его пустоты», но он, как и другие обломовцы, не дошёл до той грани, «где слово становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственной силой, двигающей человеком». «Теперь все эти герои отодвинулись на второй план», — заключал Добролюбов свой анализ онегинства, как отражения ненавистной ему обломовщины, т. е. крепостнического строя, «азиатского» помещичьего порядка, негодуя, что Обломовка продолжает быть «нашей прямой родиной», признаваясь в порыве самобичевания, что «в каждом из нас сидит значительная часть Обломова». Высокое представление о типе общественного деятеля, способного двинуть «вперёд» страну, находившуюся в конце 50-х годов в состоянии мучительного брожения, дало Добролюбову право на суровый приговор об Онегине, но не уничтожило признания в герое романа ряда ценных качеств и, следовательно, сохранило конкретные черты художественного типа в исторической раме [37].

Остроумная статья Писарева, идеолога радикальной интеллигенции 60-х годов — «Пушкин и Белинский» (1865), — лишена именно исторического принципа в анализе Онегина и, являясь замечательным документом в истории общественной мысли, представляет собою ряд парадоксальных утверждений, чуждых тому пониманию пушкинского героя, которое было установлено Белинским, Герценом и Добролюбовым. Статья

Писарева сыграла большую, но отрицательную роль в критических оценках романа последующими поколениями. Снижение интеллекта Онегина, взгляд на него как на поверхностного молодого франта, игнорирование авторских характеристик героя романа и пр. надолго утвердились в читательском сознании. Исследовательская работа над романом накопила много интересных частичных наблюдений; немало научных работников посвящало специальные этюды роману (В. О. Ключевский, Д. Н. Овсянико-Куликовский, Н. А. Котляревский, Н. К. Пиксанов, Д. Д. Благой и др.), но «Евгений Онегин» до сих пор не имеет монографического исследования, которое с надлежащей полнотой раскрыло бы значение этого вершинного памятника художественной литературы первой половины XIX в.; герой романа, «странный спутник» гениального автора, до сих пор не получил исторически правильной оценки, до сих пор окружён противоречивыми, антиисторическими суждениями литературных критиков и рядовых читателей.

Надёжной базой для научного постижения «Евгения Онегина» могут служить статьи Белинского. Углублённая конкретизация оценки, сделанной в 1844 г. Белинским, с необходимыми поправками, с включением всех достижений современной научной мысли на основе марксистско-ленинской методологии, — одна из задач советского пушкиноведения.





ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА

Пушкин указывает мотивы, почему Онегин решил путешествовать. Герой романа «быть чем-нибудь давно хотел»; он «томился в объятиях досуга» и «переродиться захотел». За кажущейся иронической формой («Проснулся раз он патриотом») в дальнейшем раскрывается, как «полурусский» по воспитанию молодой дворянин, «влюблённый» в Русь и скептически настроенный по адресу Западной Европы, —

Уж Русью только бредит он,
Уж он Европу ненавидит
С её политикой сухой,
С её развратной суетой —

как Онегин в своих наблюдениях над современным бытом его родины пришёл к горьким размышлениям: «святая Русь», «Отечество! Русь, Русь», — повторял он, полный «светлой мыслью» увидеть, «узнать Русь»,

...её поля,
Селенья, грады и моря...[1]

В итоге его впечатлений и раздумий над тем, что он видел, тоска стала его преследовать, тоска зазвучала лейт-мотивом в строфах «Путешествия Онегина», отражая настроения и самого Пушкина, задыхавшегося среди тех, кого он заклеймил в конце VI главы своего романа.



⟨Он собрался — и слава богу.
Июля третьего числа
Коляска лёгкая в дорогу
Его по почте понесла.⟩ [2]

Онегин начал свои странствования в 1821 г. Путешествовал он более трёх лет и вернулся в Петербург осенью 1824 г.

⟨Среди равнины полудикой
Он видит Новгород-великой;
Смирились площади — средь них
Мятежный колокол утих,
Но бродят тени великанов:
Завоеватель Скандинав,
Законодатель Ярослав,
С четою грозных Иоаннов,
И вкруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней.⟩

Тема Новгорода Великого с вечевым «мятежным» колоколом занимала Пушкина ещё в южной ссылке (кишинёвский период). Образ легендарного защитника новгородской вольности Вадима и его противника, «завоевателя Скандинава» Рюрика, — центральные образы в задуманной Пушкиным драме «Вадим» (отрывки из неё и из поэмы о Вадиме относятся к 1822 г.), вновь замелькали перед автором романа: в черновой рукописи названы Рюрик-скандинав и Вадим.

Мысли о вечевом строе древнего Новгорода волновали декабристские круги. Арестованный 6 февраля 1822 г. В. Ф. Раевский, с которым Пушкин вёл в Кишинёве оживлённые беседы на исторические темы, прислал из Тираспольской крепости стихотворение «Певец в темнице», где встречались упоминания о Новгороде, Пскове, Вадиме, дышавших «жизнью свободной» и погибших под ударами московского самовластья:

Погибли Новгород и Псков...
Но там бессмертных имена
Златыми буквами сияли...
Борецкая, Вадим — вы пали:
С тех пор исчез, как тень, народ...
На площади он не сбирался... (и т. д.)

По воспоминанию Липранди, это стихотворение Раевского произвело сильное впечатление на Пушкина, который был особенно поражён строками:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе.

Образ Вадима, легендарного новгородского республиканца, стоял перед Кюхельбекером, Рылеевым (дума «Вадим» 1823—

1824 гг.). Новгород — очаг древнерусской вольницы — рассматривался декабристами как прообраз близких им общественных идеалов. Когда Н. Бестужев сказал однажды Рылееву, что «Кронштадт есть наш Леон» (остров, с которого в январе 1820 г. испанский революционер Квирога с двумя батальонами начал восстание), то Батеньков отвечал, что «напротив того, наш остров Леон должен быть на Волхове, либо на Ильмене» [3]. С. Волконский 18 октября 1824 г. писал Пушкину, находившемуся в ссылке в с. Михайловском (Псковской губ.): «Соседство и воспоминания о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиитических занятий, а соотечественникам вашим труд ваш — памятником славы предков и современника».

Поэтическим отголоском интереса к этой теме социально близких Пушкину кругов является данная строфа «Путешествия Онегина» [4]. Представление о гибели «мятежной» вольности Новгорода в результате политики московских князей Иоанна III и Иоанна IV («чета грозных Иоаннов») усиливалось у Пушкина книгой Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», где он мог встретить следующее рассуждение: «Сей государь [царь Иван Васильевич] столько успел в своём предприятии, что в новгородцах не осталося ни малейшей искры духа свободы, за которую они с толиким сражалися жаром. С вещевым [5] колоколом рушилось в них даже и зыбление, так сказать, — вольности, нередко по усмирении бури остающееся. И, действительно, не видно, чтобы после того новгородцы делали какое покушение на возвращение своей свободы. Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил» [6].

«Тоска, тоска!» — так начинается следующая строфа, рисующая Онегина, который «спешит скорее далее» от тех мест, где некогда звучал «мятежный колокол» и где теперь тишина, смиренные площади, «поникнувшие церкви». Вокруг них — в воображении поэта — «кипит народ минувших дней» [7].

Размышления Онегина о новгородской вольности, уничтоженной московскими самодержцами, типичные для декабристских кругов, подтверждают наш вывод, что в лице Онегина Пушкин зарисовал образ передового дворянина, разделявшего политические идеалы декабристов, хотя и не связанного с декабристскими организациями. «Тоска» Онегина была переживанием всех тех, которые, видя разницу между воображаемым прошлым и реальной действительностью, тосковали под пятою петербургского самовластия.

В письме Катенина Анненкову 24 апреля 1853 г. по поводу «Путешествия Онегина» (первоначально VIII главы романа)

есть интереснейшее свидетельство о творческих замыслах Пушкина, неосуществлённых по вине политической системы бенкендорфов, фон-фоков, дуббельтов и тому подобных охранителей самодержавия. Катенин писал: «Об осьмой главе Онегина слышал я от покойного в 1832 году, что сверх Нижегородской ярманки и Одесской пристани, Евгений видел военные поселения, заведённые гр. Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению, и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы оскудевшую» [8]. Таким образом, выясняется главная причина, почему Пушкин лишён был возможности донести до читателя свои вольнолюбивые, антикрепостнические суждения, почему сломана была композиция романа, почему из двенадцати глав романа в трёх предполагаемых частях несколько глав не могло быть написано, — в том числе восьмая с резко выраженной политической тематикой. Очевидно, эту главу поэт читал А. И. Тургеневу, который в 1832 г. сообщал своему брату Николаю в Париж, что Пушкин «не мог издать одной части своего Онегина, где описывает путешествие его по России». Текст начальной строфы с описанием древнего Новгорода лишён политической остроты, современной для читателей пушкинской поры, которые знали об ужасах военных поселений, о восстании крестьян и жестоких наказаниях, выпавших на долю восставших против аракчеевского режима [9].

⟨. . .Теперь
Мелькают мельком, будто тени,
Пред ним Валдай, Торжок и Тверь.
Тут у привязчивых крестьянок
Берёт три связки он баранок.⟩

Ср. в письме Пушкина к Соболевскому от 9 ноября 1826 г.:

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай.

Картинка типичная, — в январе 1829 г. А. Н. Вульф, ехавший вместе с Пушкиным в Петербург, записал в своём дневнике: «Пользовавшись всем достопримечательным по дороге от Торжка до Петерб., т. е. купив в Валдае баранок (крендели небольшие)... приехали мы на третий день в Петербург» [10].

⟨Москва Онегина встречает
Своей спесивой суетой,
Своими девами прельщает,
Стерляжьей потчует ухой;
В палате Английского клоба
(Народных заседаний проба),
Безмолвно в думу погружён,
О кашах пренья слышит он.⟩

Ироническая характеристика членов московского Английского клуба, в котором консервативная дворянская фронда видела нечто вроде английской палаты лордов: «Тузы» — дворяне вроде грибоедовского Максим Петровича — задавали тон «общественному мнению». Но даже чуждые всяческому либерализму чиновники не могли не отметить в этом «клобе» тупости и пошлости. «Член московского Английского клуба! О, это существо совсем особого рода...» — восклицает Ф. Ф. Вигель в своих мемуарах: «Главною отличительною чертою его характера есть уверенность в своём всеведении»; при всём невежестве «необдуманное самолюбие... Вестовщики, едуны составляли замечательнейшую, интереснейшую часть клубного сословия». Первые распространяли «нелепости, сплетни», «им верили, их слушали». Читались в Английском клубе только «военные приказы о производстве или объявления о продаже просроченных имений или крепостных девок» («Записки Ф. Ф. Вигеля», ч. VI, стр. 29).

Насмешливая характеристика Английского клуба в этой строфе соперничает с резким отзывом Пушкина о том же учреждении в его московском письме к Е. М. Хитрово (от 21 августа 1830 г.). Выражая признательность за сообщения и газеты, посвящённые событиям Июльской революции в Париже, Пушкин писал ей: «Здесь никто не получает французских газет, и в области политических мнений оценка всего происшедшего сводится к мнению Английского клуба, решившего, что князь Дмитрий Голицын [11] был неправ, запретив ордонансом [12] экарте [13]. И среди этих-то орангутангов я принуждён жить в самое интересное время нашего века!» [14]

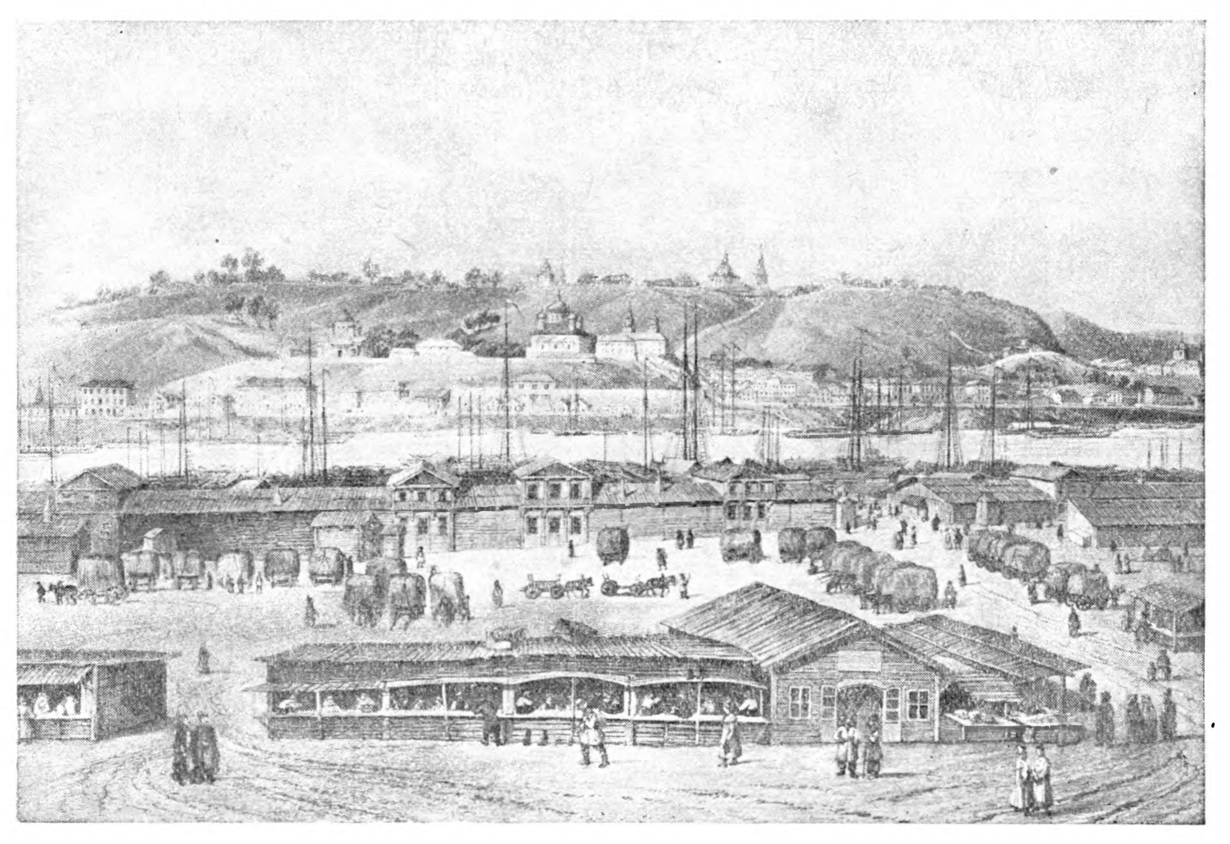
Член московского Английского клуба с 1829 г., Пушкин, вспомнив о необходимости возобновить свой билет, писал жене из Москвы 27 августа 1833 г.: «Надобно будет заплатить 300 рублей штрафу, а я весь Английский клоб готов продать за 200».

. . . . перед ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привёз индеец,
Поддельны вина европеец.
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привёз свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик — спелых дочерей,
А дочки — прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжёт за двух,
И всюду меркантильный дух.

Макарьевская ярмарка, Нижний Новгород — центры торговой и промышленной буржуазии, того класса, который при жизни автора романа заметно богател настолько, что, по собственному свидетельству Пушкина, «начинал селиться в палатах, покидаемых дворянством». Подбор штрихов, характеризующих деятельность этого класса, — «поддельны вина», «бракованные кони»; психологический облик всех вовлечённых в буржуазную сутолоку — «всяк суетится, лжёт за двух» — даёт понять, что дух торговой денежной наживы, меркантильный дух[15], антипатичен не только герою романа, на личном опыте испытавшему впечатления от «жадного полка заимодавцев» (ср. LI строфу I главы). Подобные переживания испытывали и некоторые близкие Пушкину поэты, например, Баратынский, отмечавший в «железном веке» победоносно растущего капитализма «в сердцах корысть», «бесстыдное» торжество «насущных и полезных» интересов, забвение поэзии («поэзии младенческие сны») поколениями, ушедшими в новые «промышленные заботы» (стихотворение «Последний поэт», 1834).

Напомним резко отрицательное отношение Пушкина к капиталистической действительности Англии и Америки.

Интересно сопоставить с этой строфой положительную оценку деятельности промышленной буржуазии, данную с дворянской точки зрения в «Журнале мануфактур и торговли» 1829 г. по поводу первой выставки российских мануфактурных изделий: «Смотря на сии прелестные материи, с таким вкусом и искусством сотканные, на сии остроумные машины, на драгоценнейшие изделия фарфоровые, хрустальные и проч. и проч., и потом на сих почтенных и скромных фабрикантов, кто бы по-



Макарьевская ярмарка в Нижнем Новгороде. Со старинной литографии.

думал, что сии простолюдины имеют столько вкуса, образованности, понятливости и ума изобретательного!» [16]



⟨...Бурлаки,
Опершись на багры стальные,
Унывным голосом поют
Про тот разбойничий приют,
Про те разъезды удалые,
Как Стенька Разин в старину
Кровавил волжскую волну.⟩

Пушкин называл Разина «единственным поэтическим лицом русской истории» и записал несколько устных народных песен о нём. Вероятно, он имел здесь в виду ту песню, где Разин

Подхватил персидскую царевну,
В волны бросил красную девицу,
Волге-матушке ею поклонился.



Он видит, Терек своенравный
Крутые роет берега;
Пред ним парит орёл державный,
Стоит олень, склонив рога;
Верблюд лежит в тени утеса,
В лугах несётся конь черкеса,
И вкруг кочующих шатров
Пасутся овцы калмыков,
В дали — Кавказские громады... (и т. д.)

Пушкин передал в двух строфах свои кавказские впечатления (ср. его стихотворение «Кавказ», 1829).

В черновых вариантах встречается указание, что Онегин

Авось их дикою красою
Случайно тронут будет...

В дали — Кавказские громады... — Изображение гор в виде громад было постоянным у Пушкина:

...Неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада...
Вперял он неподвижный взор

На отдалённые громады
Седых, румяных, синих гор...
В дали прозрачной означались
Громады светлоснежных гор...

(«Кавказский пленник».)

Теснят его грозно немые громады.

(«Кавказ».)



Уже пустыни сторож вечный,
Стеснённый холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный...

Ср. в «Кавказском пленнике»:

Где пасмурный Бешту, пустынник величавый
Аулов и полей властитель пятиглавый...



...— Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? Тоска, тоска!..

Мрачное настроение этой строфы в значительной мере обусловлено впечатлениями общественно-политической жизни в период николаевской реакции, когда у Пушкина вырывались горькие строки:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучной жизни шум [17].

Младшие современники Пушкина — Белинский, Герцен и другие, которым пришлось жить в «железном веке», в страшные годы политического безвременья, испытывали с особенной остротой те чувства и мысли, которые возникали у пушкинского героя. Превосходным комментарием этой строфы («питая горьки размышленья») могут служить слова Белинского:

«Какая жизнь! Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах и в прозе, на которое столь многие жалуются, как будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз, страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днём, видеть,

что все из чего-то хлопочут, чем-то заняты, один деньгами, другой женитьбою, третий — болезнию, четвёртый — нуждою и кровавым потом работы, — видеть вокруг себя и веселье и печаль, и смех и слёзы, видеть всё это и чувствовать себя чуждым всему этому, подобно Вечному Жиду, который, среди волнующейся вокруг него жизни, сознаёт себя чуждым жизни и мечтает о смерти, как о величайшем для него блаженстве; это страда-



Кавказ. Набег.
С рисунка Г. Гагарина, 1834.

ние не всем понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединённые с умом, сердцем: чего бы, кажется, больше для жизни и счастия? Так думает тупая чернь и называет подобное страдание модною причудою. И чем естественнее, проще страдание Онегина, чем дальше оно от всякой эффектности, тем оно менее могло быть понято и оценено большинством публики. В двадцать шесть лет так много пережить, не вкусив жизни, так изнемочь, устать, ничего не сделав, дойти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения: это смерть. Но Онегину не суждено было

умереть, не отведав из чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его духа» («Сочинения Александра Пушкина», ст. VIII).

Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И посреди прибрежных скал
Свою Литву воспоминал.

В письме к брату 24 сентября 1820 г. Пушкин рассказывал свои крымские впечатления: «С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я, — на ближней горе, посереди кладбища, увидел я груду камней, утёсов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни, — не знаю. . .» (см. также в письме к Дельвигу, декабрь 1824 г.).

Поэт, овеянный воспоминаниями о столь знакомом ему ещё по лицею классическом мире, посетил храм Дианы (Артемиды) на мысе Фиоленте (недалеко от Севастополя), где, по мифологическому преданию, Ифигения, жрица храма, едва не принесла в жертву своего брата Ореста, связанного тесной дружбой с Пиладом, приехавшим за кумиром Артемиды в страну дикого народа тавров (по имени которого названа Таврида).

Митридат (132—63 гг. до н. э.) — царь Понта и Босфора, знаменитый завоеватель. Близ г. Керчи на восточной оконечности Крыма находится гора, носящая его имя. На ней, по преданию, сохранились развалины гробницы Митридата.

Польский поэт Мицкевич выпустил в конце 1826 г. сборник сонетов, во второй части которого были «Крымские сонеты». Пушкин имеет в виду сонет «Аккерманские степи», где Мицкевич, между прочим, вспоминает Литву на «просторе сухого океана» степей, а не среди прибрежных скал. В сонете «Суровый Дант» (1830) Пушкин также вспомнил о пребывании Мицкевича в Крыму:

Под сенью гор Тавриды отдалённой,
Певец Литвы в размер его [сонета] стеснённый
Свои мечты мгновенно заключал.



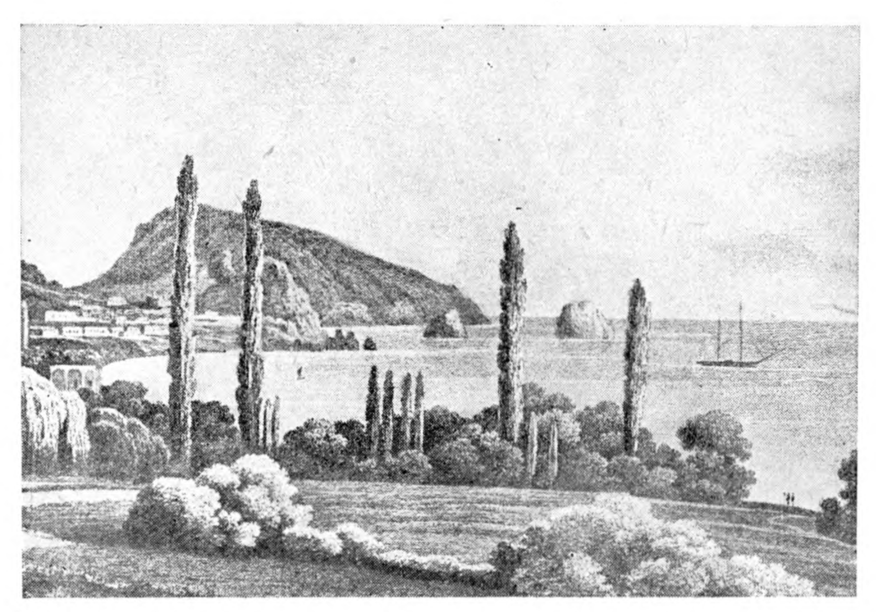
А. Мицкевич.
С портрета Ванковича, 1828.

Эпитетом *вдохновенный* Пушкин отметил исключительный дар импровизации, которым владел польский поэт. Пушкин с восхищением слушал эти импровизации Мицкевича.

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я... (и т. д.).

Эти строфы воспроизводят реальные впечатления поэта, подъезжавшего на бриге к Гурзуфу в августе 1820 г.: «Из Фео-

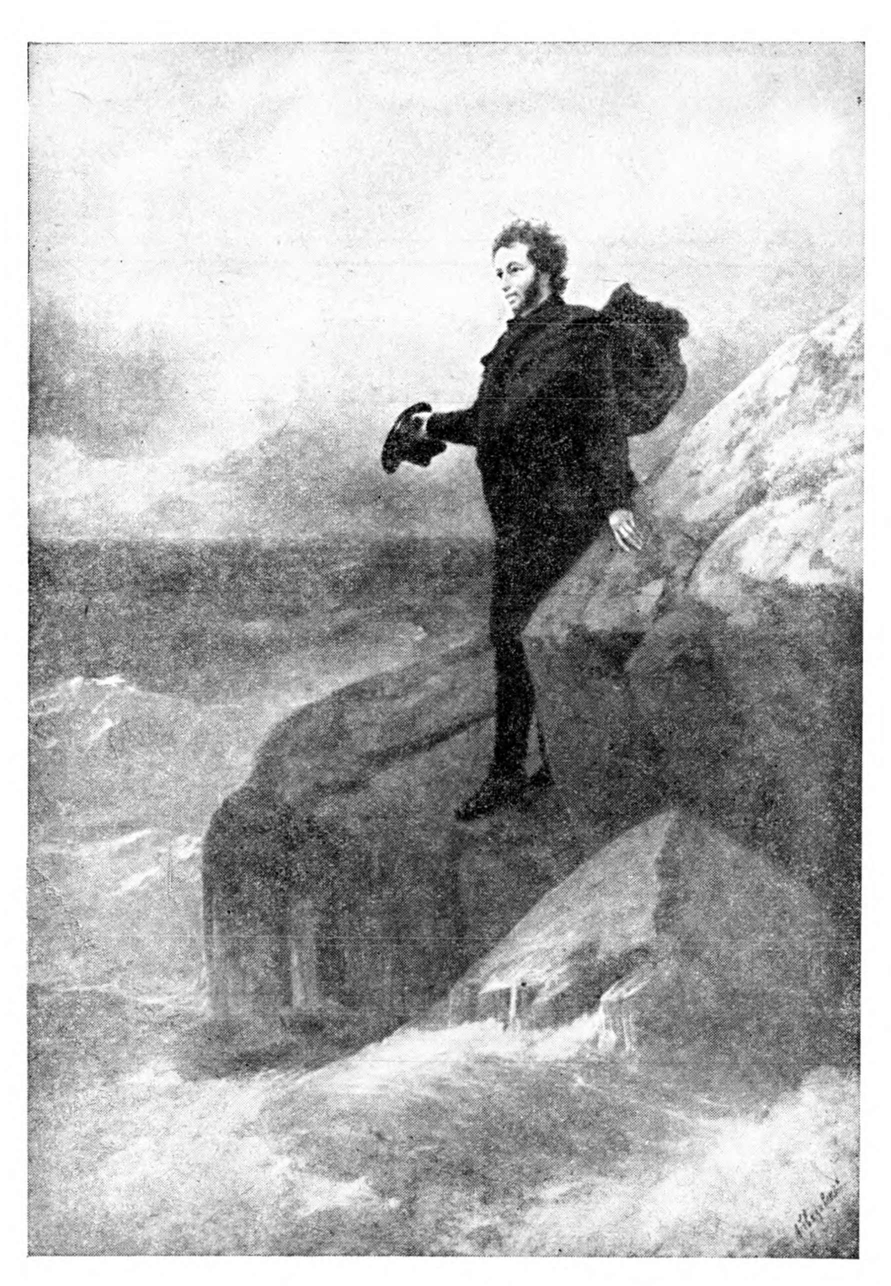
досии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звёзды блистали; передо мною, в тумане тянулись полудённые горы... «Вот Чатырдаг», сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зелёные колонны,



Вид на Гурзуф и Аю-Даг.
Со старинной литографии.

стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-Даг... и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полудённый...» (Письмо к А. Дельвигу, декабрь, 1824).

«При свете утренней Киприды». — Планета Венера в августе — сентябре 1820 г. была утренней звездой. Ещё П. Бартенев отметил, что в стихе «а там, меж хижинок татар...» подразумевается воспоминание о доме Раевских, пребывание в котором поэт называл «счастливейшими минутами» своей жизни. Конец этой строфы и начало следующей строфы дают возможность предполагать о длительности и глубине чувств, испытанных поэтом к одной из дочерей Раевского.



Пушкин на берегу Чёрного моря.
С картины И. Айвазовского и И. Репина.

В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.

(См. также следующую строфу.)

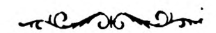
В этих строфах вскрыта эволюция поэтического творчества Пушкина за 1820—1830 гг. — изменение идей, тематики и стилистики от периода «Кавказского пленника» до болдинской «Шалости» (1830) и «Истории села Горюхина» (начатой в 1830 г.). Повторность деталей в этой строфе, в стихотворении «Шалость», в черновых набросках к «Станционному смотрителю» указана Д. Благим («Социология творчества Пушкина», стр. 243—244). «Идеал» поэта также повторён в мечтах Евгения в «Медном Всаднике» (1833):

Кровать, два стула, щей горшок,
Да сам большой — чего мне боле.

Мечты о независимой жизни в усадьбе, в поместье — «обители трудов и чистых нег», в 30-х годах получили у Пушкина устойчивую форму. Но безнадёжность этих мечтаний была ясна и самому поэту. Ненависть к бюрократическому режиму, к петербургскому двору была настолько сильной, что Пушкин рвался в имение, надеясь в своей помещичьей усадьбе найти спасение от отвратительных картин петербургской полицейщины, освободиться от наглого вмешательства даже в личную жизнь со стороны Бенкендорфа и других приспешников венценосного хозяина Зимнего дворца; но разорённое имение (отражение кризиса дворянского землевладения), признание важности в капитализирующейся стране городских центров, необходимость жить литературным заработком и материальная зависимость от города с его развивающейся культурой, с его журналами, газетами, государственными архивами; живое чувство современности, жажда общения с людьми, горение творческой мысли художника-публициста, поэта и историка-государствоведа с политическими планами, — всё это необходимо учесть, чтобы признать утопичность мечтаний Пушкина о болдинском рае.

Сад и пруд в селе Болдине.
С фотографии.

Не забудем, что к концу жизни Пушкин уже вышел из класса помещиков-душевладельцев, отказавшись от ничтожных доходов Кистенёвки в пользу сестры и брата. Он хотел купить небольшой участок земли у однодворцев Савкина, т. е. усадьбу без крепостных, но и из этого плана ничего не вышло.



Иные нужны мне картины...

Эта строфа давно признана манифестом пушкинского художественного реализма. Предельная простота формы была завоёвана Пушкиным в длительном процессе творческого труда.

Мастер слова, он, подобно другим художникам, знал «муки слова», приходил к итогу после долгих поисков.

Я приведу эту строфу полностью в окончательном и в первоначальном виде; перед читателем наглядно выступит творческая лаборатория поэта:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор.
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка,
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Мне милы скромные картины
Люблю песчаный косогор
Перед избушкой две рябины
[Ручей среди долины]
[Избушку] сломанный забор —
[Ручей, обрушенный забор]
[Да] через [светлую] полянку
[Да с вёдрами]
В дали бегущую крестьянку
[К ручью бегущую крестьянку]
За нивой дымные овины
[Солому дымную в овине
Солому свежую в овине]
Да стройных [прачек] у плотины
[Под коромыслом
Веселых прачек на (плотине)]
Мой идеал теперь хозяйка
[Теперь мой идеал хозяйка]
Простая, тихая жена
[Простая добрая жена]
Подруга трудов и сна
Теперь мила мне балалайка,
Иль колокольчик ямщика
[Иль песня или]
Пред ветхой дверью кабака
[На лавке ветхой кабака]

Последняя строка («да щей горшок, да сам большой») заимствована из народного просторечья.



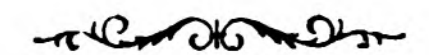
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пёстрый сор!

Пушкин имеет в виду художников фламандско-голландского направления в живописи XVI—XVII в., рисовавших житейские сценки городских низов и крестьянства, — таковы художники Остаде, которому принадлежат картины «Шинок», «Деревенский праздник», «Крестьянское угощенье», «Пирушка», Поттер («Ферма»), Кейп («Коровница»), Теньер и др. (указанные картины находились в Эрмитаже).

В рукописи к существительному *сор* был эпитет — *гадкий*. «Пёстрый и гадкий сор» прозаических подробностей, рассыпанных в романе (например: сосед *сопит* перед соседом, *храпит* тяжёлый Пустяков, — *чуть с ума не своротил*) картинок «низ-

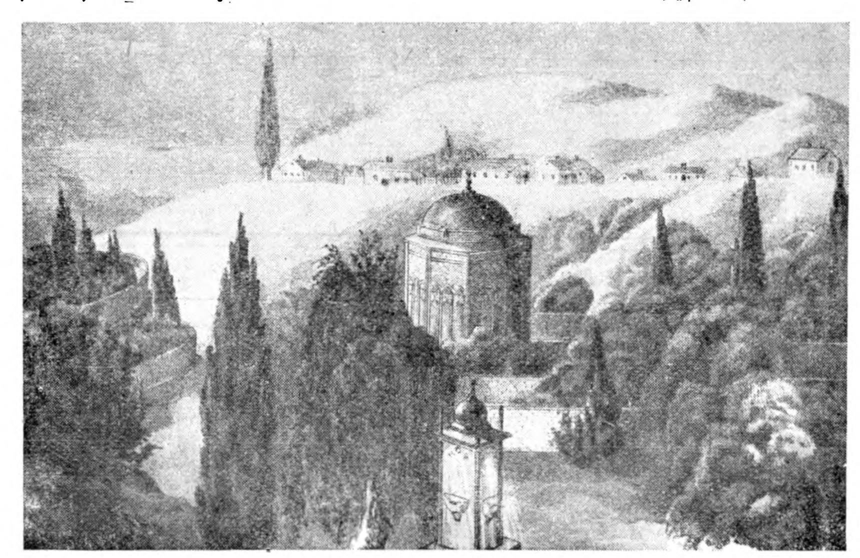
кой природы» (которых было ещё больше в выпущенных строфах), противополагается автором романа прежнему романтическому стилю.

По поводу прозаизмов в романе вообще уместно напомнить замечание Пушкина в наброске «О драме» (1830): «Если иногда герой выражается в его [Шекспира] трагедиях, как конюх, то нам это не страшно, ибо мы чувствуем, что и знатные должны выражать простые понятия, как простые люди».



Скажи, фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум
Навёл твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Зарему я воображал...
Средь пышных, опустелых зал,
Спустя три года, вслед за мною,
Скитаясь в той же стороне,
Онегин вспомнил обо мне.

Пушкин был в Бахчисарае в сентябре 1820 г. В письме (1824) Дельвигу он вспоминал о посещении полуразрушенного



Гробница Марии в Бахчисарае.
С гравюры М. Дараган.

ханского дворца и фонтана: «Я прежде слыхал о странном памятнике влюблённого хана [18]. К. поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes [19]. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан: из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат» [20]. Итак, Евгений Онегин был в Бахчисарае в 1823 г.

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там всё Европой дышит, веет,
Всё блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице весёлой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжёлый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

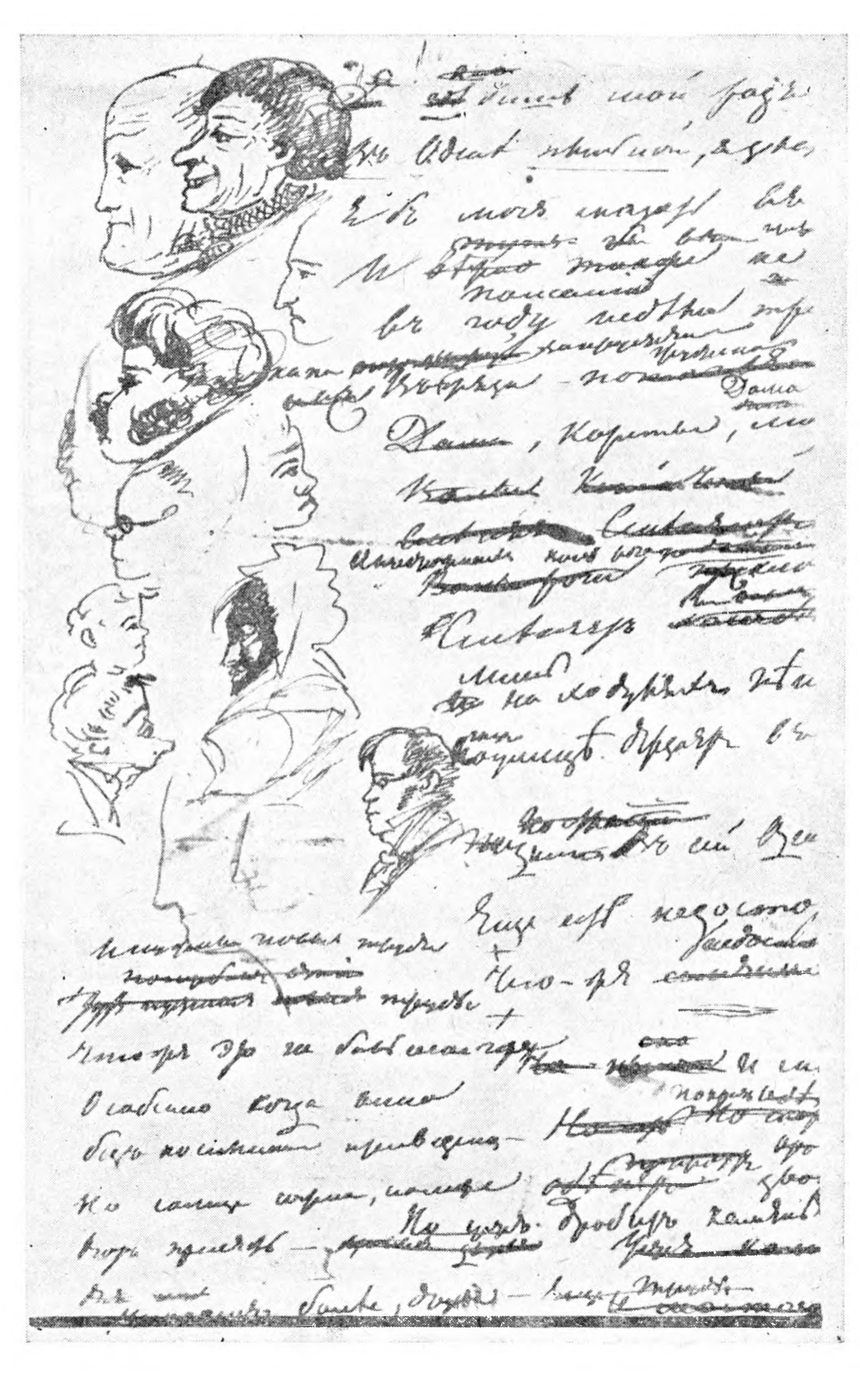
Пушкин жил в Одессе с начала июля 1823 г. до конца июля 1824 г.

В Одессе 20-х годов XIX в. почти половина городского населения состояла из итальянцев.

Пушкин в Одессе сблизился с каким-то неизвестного происхождения человеком, о котором в Одессе поговаривали, что он из разбогатевших египетских пиратов. Об этом арабе Морали рассказывал Липранди: «Проходя мимо номера Пушкина, зашёл к нему. Я застал его в самом весёлом расположении духа, без сюртука, сидящим на коленях у мавра Али. Этот мавр, родом из Туниса, был капитаном, т. е. шкипером коммерческого или своего судна, человек очень весёлого характера, лет тридцати пяти, среднего роста, плотный, с лицом загорелым и несколько рябоватым, но очень приятной физиономии. Али очень полюбил Пушкина, который не иначе называл его, как корсаром. Али говорил несколько по-французски и очень хорошо поитальянски. Мой приход не переменил их положения. Пушкин



Одесский порт в 1832 г. Со старинной литографии.



Часть страницы черновой рукописи «Отрывков из путешествия Онегина» (1825).

Среди профилей — араб в чалме и бурнусе и П. Вяземский.

мне рекомендовал его, присовокупив: «У меня лежит к нему душа: кто знает, может быть, мой дед с его предками были близкой роднёй».



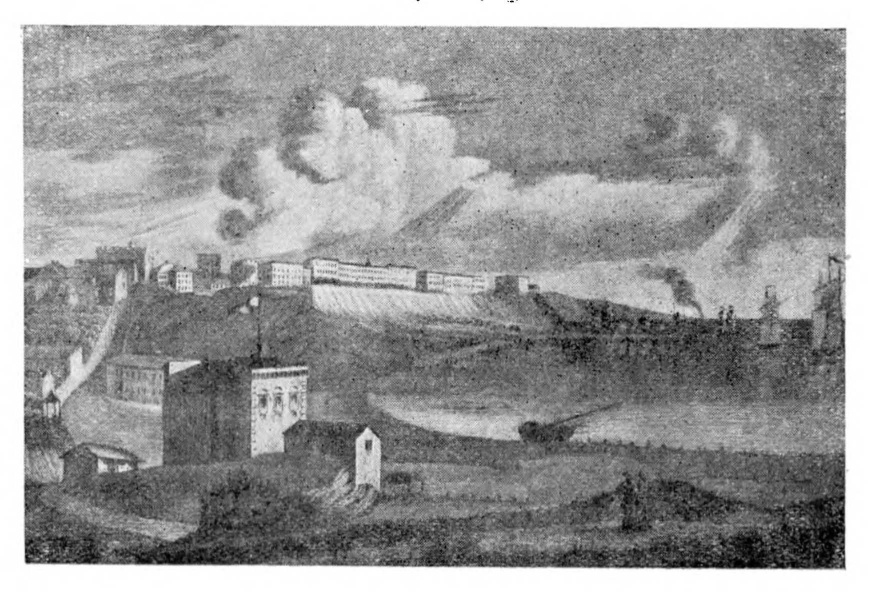
Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на неё взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошёл бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Всё хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень.

В. И. Туманский (1802—1860), состоявший одновременно с Пушкиным при генерал-губернаторе Воронцове, в 1824 г. написал стихотворение «Одесса»:

В стране, прославленной молвою бранных дней,
Где долго небеса — отрада для очей,
Где тополи шумят, синеют грозны воды,
Сын хлада изумлён сиянием природы.
Под лёгкой сению вечерних облаков,
Здесь упоительно дыхание садов,
Здесь ночи тёплые, луной и негой полны,
На злачные брега, на серебрянны волны
Сзывают юношей весёлые рои...
И с пеной по морю расходятся ладьи.
Здесь, тихой осени надежда и услада,
Холмы увенчаны кистями винограда.
И девы, томные наперсницы забав,
Потупя быстрый взор иль очи приподняв,
Равно прекрасные, сгорают наслажденьем
И душу странника томят недоуменьем.

Пушкин последними строками своей строфы «снизил» идиллическое описание Туманского, подмешал «воды» в «поэтический бокал» лорнирующего поэта, не заметившего ни «насильственной тени» «младых ветвей в знойный день», ни «нагой степи» кругом Одессы.

Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздаётся; на балкон
Маркёр выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.



Одесса.
С рисунка П. Свиньина, 1839 г.

Клуб, игорный дом, находился в пушкинскую пору на углу б. Ришельевской и Ланжероновской улиц; там игроки «скрывались в подвалах кофейни; между ними и богатые негоцианты, и молодые люди, и чиновники, и заезжие помещики; в продолжение одной только ночи десятки тысяч рублей переходили из рук в руки» [21].

Эта и следующая строфы живо и полно воспроизводят «меркантильный дух» торговой Одессы. В письмах П. Д. Киселёва, бывшего тогда начальником штаба 2-й армии в Тульчине, к И. С. Ризничу, крупному одесскому коммерсанту, обычно говорится о поручениях «по очистке пошлиной и пересылке заграничных товаров, по получению из цензуры выписанных из Парижа книг, о ценах на хлеб, о приходящих из Константинополя судах и о получаемых при их посредстве вестях о ходе греческого восстания, о турецких делах, об эпидемии чумы».

Шум, споры — лёгкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном;
Часы летят, а грозный счёт
Меж тем невидимо растёт.

Цезарь Отон в 20-х годах содержал в Одессе небольшую гостиницу, где Пушкин жил первое время после своего переезда в Одессу. Безденежье Пушкина в Одессе, получавшего 700 рублей жалованья в год (см. в варианте: «Я жил поэтом — без дров зимой, без дрожек летом»), отразилось в упоминании «грозного счёта» [22].

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в Оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.

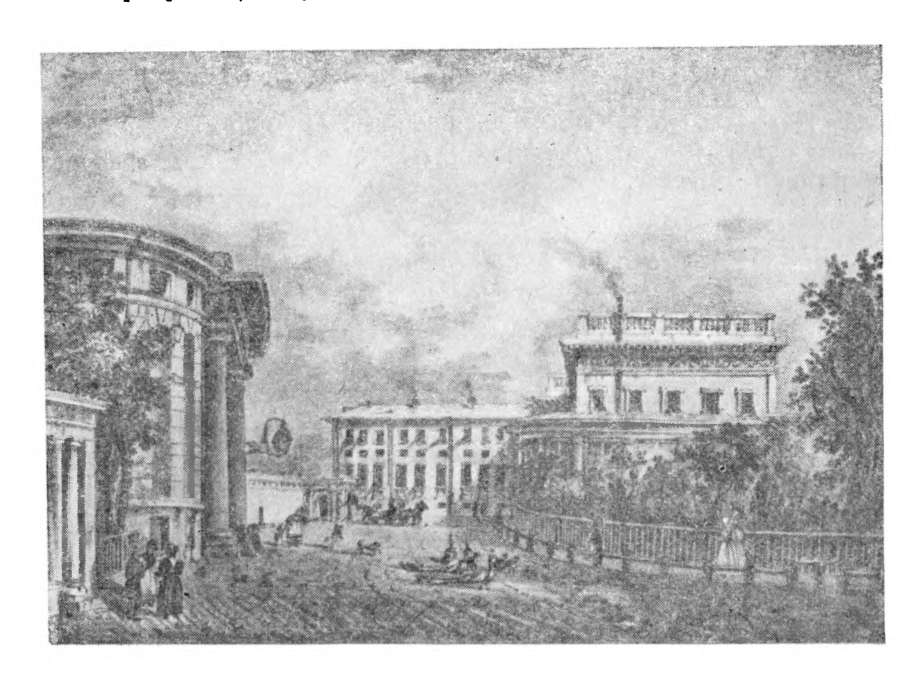
Пушкин в Одессе был постоянным посетителем Итальянской оперы. «Я нигде не бываю, кроме в театре», — сообщает он в одном из писем, а 16 ноября спрашивает Дельвига: «Правда ли, что едет к нам Россини и Итальянская опера? — Боже мой, это представители рая небесного» (ср. в письме к Вяземскому 15 августа 1825 г.: «твои письма... оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини...»). В одесском театре ставились оперы «Севильский цырюльник», «Сорока-воровка» и др. [23].

Россини (1792—1868) — итальянский композитор — назван Орфеем по имени мифологического героя, укрощавшего своим пением зверей, приводившего в движение неодушевлённые предметы, вызвавшего из царства теней свою возлюбленную Эвридику.

А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,

В просонках фора закричит,
Зевнёт — и снова захрапит.

Предположение, что указание на «негоциантку молодую», окружённую толпою рабов, и её мужа относится к Амалии Ризнич, жене одесского коммерсанта И. С. Ризнич, отвергается Н. Лернером (см. указанную статью во II т. сочинений Пушкина, изд. Брокгауза-Эфрона) и новейшим исследователем А. А. Сиверсом (этюд «Семья Ризнич» в XXXI—XXXII выпуске «Пушкин и его современники»; здесь приведены данные, что И. С. Ризнич, образованный человек, был большим любителем театра и Итальянской оперы).



Одесса. Бульвар и дом М. С. Воронцова.
Со старинной литографии.

По поводу возгласа «фора» у театральной публики 20-х годов имеется любопытная справка В. Ф. Одоевского в «Московском телеграфе», 1825, № 4, февраль: «Нельзя не отметить странного обыкновения, у нас существующего: желание, чтобы актёры повторили понравившееся место, у нас объявляется восклицанием форо, когда это слово совсем не означает повторения... Слово ф о р о, или ф о р а, происходит от латинского

foras... однозначущее с нашими выражениями: чрез меру или выходящее за пределы... Следовательно, форо по-русски значит только: прекрасно, несравненно, ибо произносят сие слово, желая вызвать актёров не для повторения, но изъявления благодарности; желая же заставить повторить, итальянцы и французы употребляют технический термин: bis; предлагаем это слово и нашим любителям» [24]. Но предложение Одоевского не прививалось долго; по крайней мере в одной повести Вельтмана (1835) провинциальные зрители награждали актёров возгласом форо (см. сборник «Старинная повесть», изд. 1929 г., стр. 289, 292); Белинский тоже по поводу игры Асенковой в 1839 г. писал: «Каждый её жест, каждое слово возбуждали громкие и восторженные рукоплескания; куплеты встречаемы и провожаемы были кликами «форо» [25].



Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый...

Авзония — Италия. Так у Овидия, Вергилия назывался весь полуостров Италии по имени одного из латинских народов (авзоны); так же Италия именовалась в поэтическом языке и современников Пушкина.

По поводу строф, описывающих Одессу, К. Зеленецкий, живший там в 30-х годах, писал в 1854 г.: «Описание Одессы, оставленное Пушкиным в его «Онегине», чрезвычайно верно и дышит поэтическим впечатлением действительности...

Я б мог сказать: в Одессе грязной.

В 1824 г., даже позднее, разные места на одесских улицах, где можно было погрязнуть по шею, были огораживаемы для предостережения пешеходов и экипажей. Особенно топко было низменное место между лицеем и Казённым садом, место, по которому Пушкину часто приходилось проходить от себя в дом графа [Воронцова].

Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает в брод.

В то время многие дамы, да и мужчины во время грязи, носили на ногах род котурнов, так называемые галензи.

Но уж дробит каменья молот.

С первого же своего приезда в Одессу в 1823 г. М. С. Воронцов приказал мостить улицы Одессы туземным известняком, по системе [английского инженера] Мак-Адама.

Ещё есть недостаток важный;
Чего б вы думали? — воды!
Потребны тяжкие труды...

В то время по улицам Одессы беспрестанно разъезжали водовозы с криком: воды, воды!

Особенно, когда вино
Без пошлины привезено.

В Одессе в то время много было греческих и молдавских вин.

Бывало, пушка заревая
Лишь только грянет с корабля —

с брандвахты, которая каждой весной приходит в Одессу из Севастополя, чтобы содержать караул между Практической и Карантинной гаванью, и уходит поздней осенью.

С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.

В то время купальня помещалась у «Камней». Теперь камни срыты, сделана набережная, а купальни перенесены под бульвар. К купальне ходили по крутой прибрежной отлогости...

А prima donna? а балет?

При Пушкине на одесской сцене отличалась Каталани, сестра знаменитой певицы.

Толпа на площадь побежала...

на Театральную, вблизи которой жила тогда большая часть посетителей театра.

А мы ревём речитатив.

Слова, буквально верные в отношении ко многим из нашей немузыкальной молодёжи» [26].

Ср. в письме М. П. Розберга (одесского литератора) от 5 декабря 1830 г. Пушкину: «Надо вам сказать, что Одесса совсем уже не такова, как была при вас. Правда, здесь та же пыль, хотя менее грязи; те же очаровательные звуки Россини кипят и блещут в опере; те же славяне, греки, итальянцы, турки на улицах; тот же Оттон; та же золотая луна по вечерам рисует светлый столб в ясном зеркале моря, но мало жизни, действия...»

⟨Как Цицероновы авгуры,
Мы рассмеялися тишком...⟩

Насколько Пушкин был начитан в античной литературе и как точно передавал «анекдоты» в сочинениях античных писателей, подтверждает это сравнение. У Цицерона в его сочинении «О гадании» (книга 2, глава 24) Пушкин запомнил указание римского писателя: «Давно известно замечание Катона (старшего), который удивлялся, что два авгура[27] могут глядеть друг на друга без смеха».



⟨Недолго вместе мы бродили
По берегам Эвксинских вод.⟩

Так называлось у античных греков Чёрное море; Эвксинское море — в переводе на русский язык Гостеприимное море.



⟨Судьбы нас снова разлучили
[И нам назначили] поход.
Онегин, очень охлаждённый,
И тем, что видел, насыщённый,
Пустился к невским берегам,
А я от милых южных дам,
От [жирных] устриц черноморских,
От оперы, от тёмных лож
И — слава богу — от вельмож,
Уехал в тень лесов Тригорских,
В далёкий северный уезд.
И был печален мой приезд.⟩

Пушкин из Одессы уехал 30 июля 1824 г. и 9 августа прибыл в село Михайловское (Псковской губернии, Опочецкого уезда). Здесь он попал помимо надзора местных властей — светских и духовных — ещё под специальное наблюдение отца своего. — Это привело к резким вспышкам и ссорам в семье, закончившимся отъездом родителей и одиночеством поэта. «Затворник опальный» нашёл приют в Тригорском, имении П. А. Осиповой (находившемся верстах в трёх от Михайловского), в много-

численном женском обществе, в обществе её сына А. Н. Вульфа и товарища Вульфа — Н. М. Языкова, студентов Дерптского университета.

Вельможа — граф М. С. Воронцов (1782—1856), новороссийский генерал-губернатор, по доносу которого Пушкин был выслан из Одессы. По адресу этого «просвещённого вельможи» поэт бросал резкие словечки: «Придворный хам и мелкий эгоист» и эпиграммы вроде следующей:

Полу-герой, полу-невежда,
К тому ж ещё полу-подлец.
Но тут однако ж есть надежда,
Что полный будет наконец.

〈О, где б судьба не назначала
Мне безыменный уголок,
Где б ни был я, куда б ни мчала
Она смиренной мой челнок;
Где поздний мир мне б ни сулила,
Где б ни ждала меня могила, —
Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей.
Нет, нет! Нигде не позабуду
Их милых, ласковых речей, —
Вдали, один, среди людей,
Воображать я вечно буду
Вас, тени прибережных ив,
Вас, мир и сон Тригорских нив,

*

И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы —
Приют, сияньем Муз одетый,
Младым Языковым воспетый,
Когда из капища наук,
Являлся он в наш сельский круг, —
И нимфу Сороти прославил
И огласил поля кругом

Очаровательным стихом.
Но там и я мой след оставил,
Там ветру в дар, на тёмну ель
Повесил звонкую свирель.

Ср. в послании «П. А. Осиповой»:

Но и в дали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней.
Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

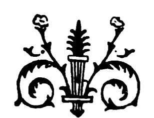
(Село Михайловское, 25 июня 1825 г.)

Сороть — река в том пушкинском уголке б. Опочецкого уезда Псковской губ., где были имения Михайловское, Тригорское, воспетые поэтом. Языков в 1826 г. посвятил П. А. Осиповой стихотворение «Тригорское», в котором находятся, между прочим, следующие строки:

В стране, где Сороть голубая,
Подруга зеркальных озёр,
Разнообразно, между гор,
Свои изгибы расстилая,
Водами ясными поит
Поля, украшенные нивой, —
Там, у раздолья, горделиво
Гора трехолмная стоит;
На той горе, среди лощины,
Перед лазоревым прудом,
Белеется весёлый дом,
И сада тёмные куртины
Село и пажити кругом.

Приют свободного поэта,
Не побеждённого судьбой,
Благоговею пред тобой,
И, дар божественного света,
Краса и радость лучших лет,
Моя надежда и забава,
Моя любовь и честь и слава,
Мои стихи — тебе привет.
. . . .
Туда, туда, друзья мои!
На скат горы, на брег зелёный,
Где дремлют Сороти студёной
Гостеприимные струи;
Где под кустарником тенистым
Дугою выдалась она

По глади выгнутого дна,
Песком усыпанной сребристым.
Одежду прочь! Перед челом
Протянем руки удалые
И бух! — блистательным дождём
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая Наяда.
Дышу вольнее, светел взор,
В холодной неге оживаю,
И бодр и весел выбегаю
Травы на бархатный ковёр.
Что восхитительнее, краше
Свободных, дружеских бесед,
Когда за пенистою чашей
С поэтом говорит поэт.
Жрецы высокого искусства,
Пророки воли божества, —
Как независимы их чувства,
Как полновесны их слова!
Как быстро мыслью вдохновенной,
Мечты на радужных крылах,
Они летают по вселенной
В былых и будущих веках!
Прекрасно радуясь, играя,
Надежды смелые кипят,
И грудь трепещет молодая,
И гордый вспыхивает взгляд.
Певец Руслана и Людмилы,
Была счастливая пора,
Когда так веселы, так милы
Неслися наши вечера,
Там, на горе, под мирным кровом
Старейшин сада вековых,
На дёрне мягком и шелковом,
В виду окрестностей живых...





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
(СОЖЖЁННАЯ)

Летом 1829 г. на Кавказе Пушкин рассказывал своему брату и адъютанту Н. Раевского М. В. Юзефовичу, что по первоначальному плану «Онегин должен был или погибнуть на Кавказе или попасть в число декабристов». П. А. Вяземский 19 декабря 1830 г. записал в дневнике, что поэт третьего дня читал ему «строфы о 1812 годе и следующих» из «предполагаемой X главы», и отметил, подчеркнув, следующие слова: «У вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи». В 1832 г. А. И. Тургенев передавал в письме из Мюнхена своему брату, Николаю Ивановичу, в Париж: «Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России, но она останется надолго под спудом».

Сам Пушкин 21 ноября 1830 г. в предполагаемом предисловии к изданию двух последних глав романа (VIII и IX: VIII называлась «Странствие Онегина», IX — «Большой свет») писал: «Вот ещё две главы Евгения Онегина, последние, по крайней мере для печати» [1]. По указанию Н. О. Лернера, на последней странице «Метели» (в черновой тетради «Повестей Белкина») сохранилась заметка, сделанная пушкинской рукой: «19 окт. сожж. X песнь». Это аутодафе было совершено в болдинскую осень 1830 г. Но Пушкин, несмотря на опасения, что отрывки из десятой главы могут попасть в жандармские руки, записал их особым приёмом. Опасения были основательны: X глава вся насыщена была политическим содержанием, что́ Пушкин

для себя подчеркнул пометкой на листе со строфой «Путешествия» («Наскуча или слыть Мельмотом»), на полях стиха «С её политикой сухой»: «в X песни».

В 1910 г. П. О. Морозов расшифровал сохранившиеся отрывки, отдельные стихи из этой сожжённой главы («Пушкин и его современники», выпуск XIII). Целый ряд позднейших исследователей внёс поправки в чтение П. О. Морозова: Н. О. Лернер, Д. Н. Соколов, М. Л. Гофман, С. М. Бонди и др. Но несколько кусков до сих пор остались неразобранными, а главное, в их расположение, порядковое размещение внесён был неправильный принцип, приведший пушкиноведов к ложному истолкованию идейного смысла наиболее значительных строф, к ложному пониманию вопроса об отношении Пушкина к декабризму в 1830 г. Здесь предлагается иное, сравнительно с общепринятым, размещение некоторых строф, в итоге чего читатель приходит к другим выводам, более соответствующим мировоззрению Пушкина и современной поэту исторической действительности.

Ещё в 1913 г. Н. О. Лернер указал на историческую и логическую несообразность заключать X главу строфой «Сначала эти заговоры»; но, поместив её между строфами: «У них свои бывали сходки... Витийством резким знамениты» и строфой «Друг Марса, Вакха и Венеры», исследователь ошибочно понял эту строфу как «жестокий приговор» поэта Северному обществу декабристов. Н. О. Лернер не заметил, что содержание этой строфы, относящееся к Союзу благоденствия, заставляет поместить её раньше, перед описанием «тайной сети» декабристских организаций [2].

Последующие редакторы X главы — М. Гофман в гизовском издании «Евгения Онегина», 1919 (см. его же «Пропущенные строфы «Евгения Онегина», П. 1922), Б. Томашевский в шеститомнике — приложении к «Красной ниве» (и в последующих изданиях) и те, кто приготовлял к печати роман в разных изданиях в гизовской «Дешёвой библиотеке классиков», — все утвердили в общественном мнении принятую П. О. Морозовым систему читать X главу с концовкой «Сначала эти заговоры», на основании которой прочно осело в разных учебных руководствах и исследовательских работах представление, что в оценке Пушкина 1830 г. «вообще декабризм» был делом несерьёзным, что отрывки X главы — «иронические, порой почти издевательские» [3] и пр. Каким образом могла сложиться эта традиция?

Николаевский жандарм, разбиравший посмертные бумаги Пушкина, на том черновом листке, который у Пушкина на одной стороне начинался стихом «Сначала эти заговоры», а на другой стороне «Друг Марса, Вакха и Венеры», поставил клеймо — цифру 55 на страничке, начинавшейся стихом «Друг Марса...».

Этому неизвестному жандарму пушкиноведение обязано признанием, что основная страничка пушкинского автографа — та, которая начинается: «Друг Марса, Вакха и Венеры», а оборотная — та, которая начинается стихом: «Сначала эти заговоры». П. О. Морозов, не разбираясь в эволюции декабристского движения и, в полном согласии с господствовавшей в буржуазной науке эстетической критикой, полагая, что «его [Пушкина] общественные убеждения были сбивчивы, лишены программной прямолинейности... что Пушкин был прежде всего и больше всего поэт, т. е. человек впечатления и чувства, воплощаемых в художественном творчестве, а не мыслитель и публицист» [4], — П. О. Морозов авторитетно утвердил случайную жандармскую помету.

Так основная страничка Пушкинского автографа была признана оборотной; так возникла пресловутая традиция печатать пушкинскую строфу в конце X главы вопреки историческому содержанию, заключённому в ней, вопреки элементарной логике чтения по связи с предыдущими и последующими строфами; так благодаря текстологам-пушкинистам, игнорировавшим историю дворянского движения 20-х годов XIX в., не взявшим на учёт конкретную историческую обстановку поэтической работы Пушкина над его романом, утвердилась неверная, ложная концепция социального мировоззрения Пушкина, механически разрывавшая автора X главы по дробным хронологическим клеточкам, подменявшая конкретный анализ общественных мнений поэта ссылками на их изменение под влиянием прочитанных поэтом в промежутке между 1830 и 1834 гг. книг по русской истории.

Комментатору романа важно уяснить идеологический смысл данной строфы («Сначала эти заговоры»); правильный анализ её политической тематики, проливая свет на идейный комплекс X главы, помогает раскрыть основную тенденцию романа, его публицистическую подоснову, его идеологическую направленность, место Пушкина-художника в классовой борьбе 20-х и 30-х годов. Признавая антиисторичным заканчивать X главу строфой, изображающей Союз благоденствия, совершенно не относящейся к подлинно декабристским организациям, мы предлагаем новую композиционную перестановку строф, вследствие чего сдаётся в архив начатая П. О. Морозовым и поддержанная некоторыми пушкинистами традиция видеть в Пушкине противника идеологии дворянских революционеров 20-х годов.

Считается (впредь до новых находок автографов X главы) установленным, что Пушкин записал особым приёмом первые четверостишия 16 строф и что печатать основной корпус X главы необходимо согласно тому порядку, какой указан поэтом. Но варианты отдельных стихов, пропуски между строфами,

стихи, не укладывающиеся в общую концепцию главы, — всё это свидетельствует против утверждения, что перед нами завершённая художественная работа.

П. Вяземский, прослушав отрывки X главы, записал в дневнике: «Славная хроника». У него осталось впечатление, что строфы этой главы связаны исторической нитью, дают своего рода историческое обозрение. Мы располагаем строфы и отдельные стихи, напечатанные в современных изданиях в случайных связях, руководствуясь хронологическим стержнем событий, входивших в план X главы. При таком порядке устраняется непонятность двустиший и единичных стихов, восстанавливается их необходимость в общей смысловой композиции главы.

В таком ли порядке находились эти строфы в последней редакции X главы, — вопрос при современном состоянии пушкинских фрагментов неразрешимый и, следовательно, бесполезный.

До сих пор наши литературоведы в большинстве случаев приходили к выводу об отрицательном отношении к декабризму Пушкина в 30-х годах, и лишь сравнительно недавно наметился решительный отход от этой антиисторической точки зрения.

Вопрос о правильном прочтении этой главы и об осмыслении её строф имеет исключительно важное значение для определения политической позиции Пушкина после крушения декабрьского движения. Необходимо твёрдо порвать с рутиной и остановиться на мнении, соответственном историческому положению дел.

Мы полагаем, что таковым должно служить следующее утверждение: строфа «Сначала эти заговоры» характеризует период дворянского либерализма до организации конспиративных тайных обществ; ею нельзя заканчивать X главу после характеристики Северного и Южного обществ (с упоминанием Общества соединённых славян); её место — в композиции главы перед строфой: «У них свои бывали сходки».

Логика исторического движения в зарисовке Пушкина, мыслившего исторически и собиравшегося в X главе дать историческую хронику, диктует этот вывод как наиболее отвечающий политическому мировоззрению поэта, продолжавшего и в 30-х годах оставаться верным декабристской идеологии, продолжавшего бороться с самовластием Николая I, с абсолютистско-бюрократической монархией, как он боролся в одних рядах с декабристами в эпоху аракчеевщины, возглавлявшейся «кочующим деспотом». В тот год, когда Пушкин читал X главу П. А. Вяземскому и другим, он писал замечательные строки: «Дух века требует великих перемен». Декабристская глава «Евгения Онегина», если б она была окончена по-

этом и напечатана, вновь напоминала бы его читателям, что идеи декабристов о борьбе с самовластьем и крепостничеством были вызваны исторической действительностью и что их реализация должна стать исторической задачей «николаевской» современности, если последняя не хочет погибнуть от надвигающейся бури — крестьянского движения, грозовые раскаты которого уже были слышны и скоро разразились «трагедией» (по выражению Пушкина) в восстании 1831 г.

I

Вл[аститель] [5] *слабый и лукавый,*
Плешивый щёголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
. . . .

Внешний облик Александра I метко схвачен в двух словах. Отношение поэта к внутренней политике «плешивого щёголя» дано в 1830 г. с той же направленностью, которая была присуща Пушкину и «либералистам» 20-х годов [6].

Когда-то в юности воспевавший императора, в полном согласии с патриотическим одушевлением дворянской массы («Воспоминания в Царском Селе», 1815, «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.», «Принцу Оранскому», 1816), поэт в изменившейся общественной атмосфере стал «подсвистывать» Александру I, и свист этот раздавался не только «до самого гроба» (как писал Пушкин Жуковскому), но и значительно позже. «Noël», «Воспитанный под барабаном», эпиграмматические зарисовки («венчанный солдат» и пр.), «К бюсту завоевателя» (1829), — все эти стихотворения по адресу «кочующего деспота», «в лице и в жизни арлекина», ярко свидетельствовали, что Пушкин, действительно, «с своим тёзкой не ладил», что он выражал и организовывал недовольство против «лукавого властителя», обещавшего в 1818 г. ввести в России «законно-свободные учреждения» и ставшего душителем европейских революционных движений и столпом политической реакции своей страны.

Властитель [владыка?] слабый и лукавый. Историческая верность этой характеристики подтверждается П. В. Долгоруковым, который на основании исторических документов и бытового предания писал об Александре I: «Ум имел он недальний и невысокий, но хитрый до крайности; лукавый и скрытный, он вполне заслужил сказанное об нём Наполеоном I:

«Александр лукав, как грек византийский». Слабый характером, он скрывал эту слабость под величавостью своей осанки. Его постоянною, но главною заботою было привлечь и удержать на своей стороне общественное мнение Европы, и в этом, равно как в хитрости и в лукавстве своего характера, он был достойным внуком Екатерины, хотя весьма далёк был от неё умом» («Петербургские очерки», М. 1934, стр. 413).

Враг труда. Ср. в стихотворении 1818 г. «Noёl»: «И делом не измучен».

Нечаянно пригретый славой — в этой оценке Пушкина Александр—полное ничтожество, незаслуженно и случайно, благодаря грандиозным историческим событиям, приобревший славу.

II

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
. . . .

Указание на поражение армии Александра I при Аустерлице (в Моравии) в 1805 г. Этот эпизод из неудачной борьбы Александра с Наполеоном был отмечен Пушкиным в эпиграмме 1824 г.:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном,
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал...[7]

Пушкинская характеристика Александра I относилась и к следующему, 1806 г., когда русский император был испуган неудачами его армии, участвовавшей в прусском походе против Наполеона.

Пушкин весьма непочтительно отзывается о государственном гербе российской империи. В 1830 г. этот герб вызывает в нём те же протестующие размышления, которые возникали у него и у будущих декабристов в начале 20-х годов. На заседании «Зелёной лампы» читался «Сон», произведение утопического содержания, где находим следующую сценку: «Мы находились посреди Дворцовой площади. Старый флаг вился над чёрными от ветхости стенами дворца, но вместо двуглавого орла с молниями в когтях я увидел феникса, парящего в облаках и держащего в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника. — Как

видите, мы изменили герб империи, — сказал мне мой спутник. — Две головы орла, которые обозначали деспотизм и суеверие, были отрублены, и из пролившейся крови вышел феникс свободы и истинной веры» [8].

Вольнолюбивый поэт, в юности бичевавший «кочующего деспота», в 1830 г. продолжал отрицательно относиться к деспотическому режиму абсолютистской монархии Николая I. Пушкин во все периоды своей жизни сохранял враждебное отношение к политическому строю, символом которого был двуглавый орёл.

III

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
. . . .

Первый стих был повторён в стихотворении «Была пора» (1836):

Тогда гроза двенадцатого года
Ещё спала...

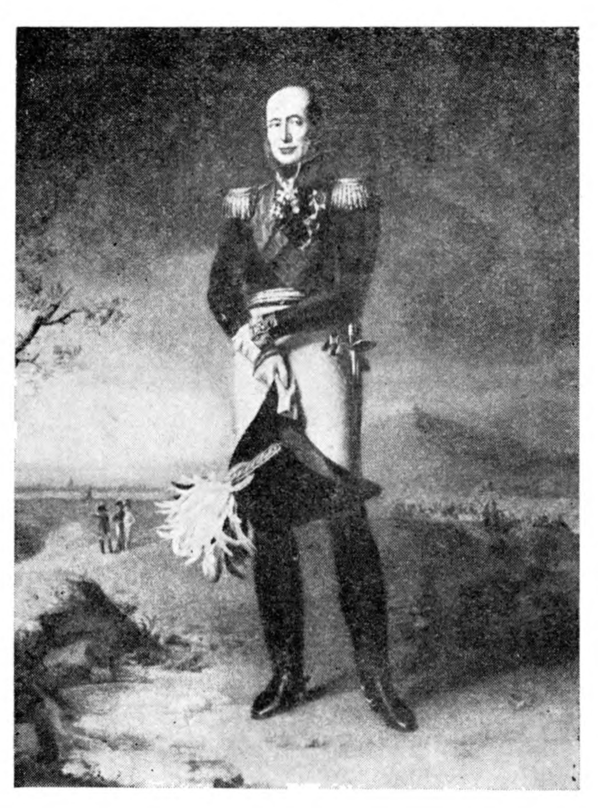
Весь фрагмент — прямая антитеза официальной, казённо-патриотической истории Отечественной войны. Неподготовленность страны к войне, всяческая расхлябанность, случайности вроде зимы, бескультурье и азиатчина политического строя, символизируемые «русским богом» [9], — иронически приводятся, как причины спасения в войне с Наполеоном. «Остервенение народа» надо понимать так же, как у Грибоедова в плане драмы «1812 год»: народная масса — единственная сила, с страшным напряжением вынесшая невзгоды войны и нанесшая сокрушительный удар врагу. «Сам себе преданный, — что бы он [т. е. народ] мог произвести?» — спрашивает герой драмы, размышляя «о юном, первообразном сем народе». «Всеобщее ополчение без дворян». См. ещё комментарий к следующему фрагменту.

Б а р к л а й д е Т о л л и был привлекателен Пушкину как исторический деятель со «стоическим сердцем», как человек, «несмотря на вражду и злоречие, убеждённый в самого себя, молча идущий к сокровенной цели» («Полководец», 1835, и «Объяснение» к нему). План борьбы с наполеоновскими армиями путём отступления внутрь страны, признанный, по словам Пушкина, «ныне ясным и необходимым действием», вызвал нарекания на Барклая и обвинения его в измене.

Пушкин называл Барклая «высоко поэтическим лицом» и в применении к военным событиям 1812 г. придавал ему огромное значение:

Народ, таинственно спасаемый тобой...

Образ Барклая в стихотворении «Полководец» явно идеализирован. Военные историки — русские, как Д. В. Давыдов, и



М. Б. Барклай-де-Толли.
С портрета Дау.

европейские, как прусский офицер, участник бородинского сражения в русской армии, Клаузевиц, — иначе расценивали главнокомандующего русской армией: первый говорил, что «эта высокая личность... имела, однако, слабые стороны... малую природную сметливость к окружающим и подчинённым»; второй писал: «Простой, честный, дельный, но умственно убогий Барклай был неспособен просмотреть до дна обстановку в целом и

был подавлен моральной потенцией французских побед». «На его траурном и глубоко озабоченном лице каждый солдат мог прочитать, что положение армии и государства — отчаянное». Впрочем, Пушкин и сам знал о теневых сторонах Барклая: «не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства», отвечал он в октябре 1836 г. Н. Гречу на письмо по поводу «Полководца».

IV

Но бог помог — стал ропот ниже,
И скоро, силою вещей,
Мы очутилися в Париже,
А русский царь — главой царей.
. . . .

Декабристы, участники войны, указывали на огромное возбуждение, вызванное событиями двенадцатого года. По словам декабриста Якушкина, «война двенадцатого года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ попрежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило всё народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы» [10].

А. Бестужев писал из крепости Николаю I: «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, впоследствии народной. Вот начало свободомыслия в России. Правительство само произнесло слова: «свобода, освобождение!» Само рассевало сочинения о злоупотреблении власти Наполеона, и клик русского монарха огласил берега Рейна и Сены. Ещё война длилась, когда ратники, возвратясь в домы, первые разнесли ропот в классе народа. «Мы проливали кровь», говорили они, «а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа».

Война 1812—1815 гг. повлекла за собой тяжёлые экономические последствия: разорение крестьянских хозяйств, расстроенных реквизициями, грабежами, призывами многочисленных ополчений, рост налогов и разнообразных государственных повинностей, дороговизна товаров, обесценение рубля, сокращение торговых операций, сожжение московских фабрик, уничтожение

живой человеческой силы (по указанию историка той эпохи, одно крестьянство потеряло более миллиона человек, т. е. не менее 6% всей земледельческой массы страны); всё это вызывало ропот в разнообразных слоях населения. «Вопиющие язвы самодержавно-крепостного порядка обнажились с особенной резкостью. Уже в начале 1813 г. доверенный корреспондент сообщал Аракчееву: «Чем далее идут военные действия, тем чувствительнее становятся общие тягости. Со всех мест пишут и говорят со вздохом». Немного позднее полицейский чиновник, собиравший петербургские слухи, доносил уже о критике недовольных, которые действуют против правительства сатирою и насмешками. Недовольство накапливалось на обоих полюсах русского общества: крестьянские массы начинали открыто сопротивление вотчинной власти, помещичье дворянство прониклось глухой оппозицией против правительственной бюрократии... Послевоенный кризис затянулся на несколько лет; в экономической сфере он скоро сменился торгово-промышленным и сельскохозяйственным оживлением, но в социальной и политической области ещё долго звучали отголоски всеобщего возбуждения. Крестьянство бродило и волновалось надеждою на близкое освобождение; консервативное дворянское большинство нападало на частности, но охраняло незыблемые устои существующего порядка; прогрессивные дворянские группы переносили свою критику на самые основы политического порядка. Так настроение послевоенного кризиса сделалось исходным моментом широкого либерального течения» [11].

«Мы очутилися в Париже». — Союзные войска, действовавшие против Наполеона, вместе с русской армией вступили в Париж в 1814 г. (19 марта).

По указанию редакции «Пушкин и его современники» (вып. XVI, стр. 7), прозвание Александра I «главой царей» не придумано Пушкиным, а происходит из стихотворения, пропетого со сцены Большой оперы в Париже 20 марта 1814 г. актёром Лаисом (Lays) и начинавшегося стихами (на мотив бурбонского гимна «Vive Henri Quatre»):

Vive Alexandre,
Vive le roi des rois...

V

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный [12],
Исчезнувший, как тень зари,
Измучен казнию покоя...

Образ Наполеона сходно был зарисован в стихотворении 1823 г. «Недвижный страж дремал на царственном пороге»:

То был сей чудный муж, посланник провиденья,
Свершитель роковой безвестного веленья,
Сей всадник, перед кем склонилися цари,
. . . .
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари [13].

Тождественная зарисовка в стихотворении «Герой», 1830:

Всё он, всё он — *пришлец сей бранный,*
Пред кем *смирилися цари,*
Сей ратник, вольностью *венчанный,*
Исчезнувший, как тень зари.

В этом же стихотворении стих:

Сей, мучим казнию покоя —

тянется из отрывка 1823 г.:

...не обличали в нём изгнанного героя,
Мучением покоя,
В морях *казнённого* по манию царей.

Корсиканский офицер, ставший императором буржуазной Франции, заставил трепетать охранителей феодальных порядков на континенте: Пушкину, конечно, известны были случаи унижений, которым Наполеон подвергал европейских монархов (например, приглашение Наполеоном прусского короля охотиться в тех местах под Иеной, где он нанёс сокрушительный удар прусской армии). Сочувствием к Наполеону дышат строки, посвящённые его жизни в ссылке на острове св. Елены, где он провёл последние годы (с 1815 по 1821), где «угас великий человек», искупив «стяжания и зло воинственных чудес тоскою душного изгнанья под сенью чуждою небес».

VI

Моря достались Альбиону.

. . . .

Англия, разбившая в 1805 г. французский и испанский флоты в бою при Трафальгаре (у берегов Испании), содействовавшая заточению Наполеона на острове св. Елены, торжествовала свою победу, но, — видимо, таков был ход мыслей Пушкина, — французский император, «сей ратник, вольностью венчанный», недаром был детищем французской революции; борьба с идеями этой революции, занесёнными в разнообразные уголки Европы наполеоновскими войсками, была нелегка для защитни-

ков реакции. Всюду возникали революционные восстания, в руках отдельных лиц вспыхивало лезвие «карающего кинжала».

Припоминая собственные настроения в эти годы, автор «Вольности», «Кинжала», естественно, должен был дать широкую картину западноевропейского общественного движения, за всеми перипетиями которого он сам и его современники, как известно, жадно следили. Немецкий студент Занд, заколовший 23 марта 1819 г. реакционного деятеля Коцебу, рабочий Лувель, заколовший 13 февраля 1820 г. герцога Беррийского, претендента в королевском роде Бурбонов на французский трон, встречали яркий отклик в поэзии Пушкина.

На листке, где сохранились шифрованные отрывки X главы, имеется стих с чётко написанным первым словом *Кинжал;* в чтении последующих слов исследователи разошлись: Н. О. Лернер читает: *«Л. пел Б.»,* М. Л. Гофман: *«Л. тень Б.»,* Д. Н. Соколов весь стих предлагает читать: *Кинжал Лувеля пел Бирон.* Н. О. Лернер считает это чтение «довольно вероятным». Не вызывает возражений чтение первых двух слов. Третье слово — *тень* должно быть признано наиболее точным (у П. О. Морозова *тем*). В стихотворении «Кинжал» (1821) Пушкин, обращаясь к Занду, восклицал:

О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казнённом прахе.
Твоей Германии он вечно *тенью* стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

(Курсив наш. — *Н. Б.*)

Итак, кинжал Лувеля — тень, угрожающая «преступной силе». Такой «силой» был продолжавший существование род Бурбонов, олицетворение Франции «старого порядка». Так как большинство исследователей согласно читают начальную букву последнего слова (Б), а чтение Бирона можно признать несостоятельным из-за отсутствия у Байрона поэтического отклика на «кинжал Лувеля», то остаётся возможность прочитать шифр этого стиха;

Кинжал Лувеля тень Бурбону.

Время, когда Пушкин писал X главу, подчёркивало тему о непрочности династии Бурбонов. Июльская буржуазная революция 1830 г. в Париже привела Карла X к отречению от престола и оставлению Франции (19 августа). Лозунг «долой Бурбонов» раздавался на парижских улицах. Революционные движения в том же году в Бельгии (август), Дрездене (сентябрь), в Дармштадте (2 октября) падают на месяцы, предшествующие

сожжению X главы. Мы не знаем, когда Пушкин стал восстановлять сожжённую главу, но движение народной массы в Париже в связи с очередным выступлением монархистов и реакционного духовенства в день годовщины убийства принца Беррийского Лувелем (13 февраля 1831 г.) вызвало уничтожение герба Бурбонов, что могло быть известно Пушкину, проявлявшему значительный интерес к французским событиям. В лицейскую годовщину 1831 г. поэт отметил:

С престола пал другой Бурбон [14].

Воспоминание о кинжале, карающем монарха, стояло перед Пушкиным и в 1835 г., когда Фиески покушался на жизнь преемника Карла X, представителя Орлеанской ветви, короля Луи-Филиппа, выдачи которого французский пролетариат требовал ещё в октябрьские (17—18) дни 1830 г.

В вышеприведённой строке один из исследователей, предлагая читать: *Кинжал Лувеля, тень Бурбона,* видит криптограмму поэтической формулы, в которую Пушкин вкладывал политический смысл, намереваясь его раскрыть (или раскрыв в не дошедшей до нас строфе!) приблизительно в таком направлении: Александра I — деспота, опирающегося на такого «преданного» ему слугу, как Аракчеев, — ожидает или гибель от кинжала Лувеля (т. е. цареубийство, свершённое кем-либо индивидуально), или вследствие суда революционного народа тень, т. е. призрак (например, Людовика XVI).

VII

Тряслися грозно Пиринеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинёва уж мигал.

. . . .

В январе 1820 г. вспыхнула революция в Испании, временно закончившаяся победой инсургентов под предводительством Квироги и Рафаэля Риеги, воспетого Пушкиным, Рылеевым и др.; революция, которую восторженно встретили Чаадаев, Н. Тургенев и другие декабристы, о которой приходил беседовать с Пушкиным, сидевшим под арестом, даже старик Инзов, кишинёвский начальник поэта.

Неаполитанское восстание в июле 1820 г., вскоре задушенное австрийскими войсками, также вызвало отклик Пушкина. В начале 1821 г. в послании к В. Л. Давыдову, вспоминая итальянских карбонаров, за здоровье которых поэт и его «демократические» друзья в Каменке «спасенья чашу наполняли беспенной,

мёрзлою водой» и «до дна, до капли выпивали», Пушкин, не желая примириться с мыслью, что исчез «луч надежды» на победу народов, восклицал:

Но — нет! мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся. . . [15]

Особенно горячо Пушкин и его либеральные современники встретили известие о революционном движении в Греции. «Безрукий князь» (упоминаемый в том же послании 1821 г.), лишившийся под Дрезденом руки [16] генерал князь Александр Ипсиланти (1783—1828), 22 февраля (6 марта) 1821 г. перешёл русскую границу и поднял восстание в Молдавии против турок. Он жил в Кишинёве, откуда подготовлял к национальному движению греческих гетеристов с полуострова Мореи [17], на этом полуострове для руководства восстанием в июне 1821 г. высадился один из братьев А. Ипсиланти. По поводу греческого восстания Пушкин в марте 1821 г. писал В. Л. Давыдову (?): «Восторг умов дошёл до высочайшей степени; все мысли [греков] устремлены к одному предмету — на независимость древнего отечества. . . . .В лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков, все продавали за ничто своё имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты; все говорили об Леониде [18], о Фемистокле [19], все шли в войско счастливца Ипсиланти: жизнь, имения греков в его распоряжении! . . Первый шаг Ипсиланти прекрасен и блистателен! Он счастливо начал — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! Отныне и мёртвый или победитель, он принадлежит истории!»



Князь А. К. Ипсиланти.

К. Ф. Рылеев откликнулся двумя стихотворениями (1821) на греческое движение, выражая сожаление, что не может лететь туда, в Морею; Пушкин, пережив в той же Одессе разочарование в «современных Леонидах» [20], много лет спустя называл Грецию «страной героев и богов», вновь обращался к ней с призывом расторгнуть «рабские вериги» («Восстань, о Греция, восстань! . .»).

VIII—IX

«Я всех уйму с моим народом!» —
Наш царь в конгр[ессе] говорил.

. . . .

И чем жирнее, тем тяжеле.
О русский глупый наш народ,
Скажи, зачем ты в самом деле

. . . .

«Двуязычный» Александр показан Пушкиным путём антитезы: активный политик, содействовавший торжеству на Западе реакционного Священного союза [21] и вялый, ленивый, жиреющий царь [22]. Увеличение тучности царя — иронизирует поэт — шло параллельно с ростом в России общественно-политической тяжести, испытываемой всеми классами и общественными группами, особенно крестьянской крепостной массой.

X

Потешный полк Петра Титана,
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей.

. . . .

Организованный из потешных при Петре I Семёновский гвардейский полк, в солдатской массе насчитывавший немало героев военных походов, в октябре 1821 г. в знак протеста против невыносимых условий службы при командире Шварце отказался подчиниться приказам начальства и был подвергнут жестоким наказаниям (военному суду было предано 802 человека). Большинство солдат было разослано по другим полкам. Они были, по свидетельству декабриста Горбачевского, «ревностными агентами Тайного общества, возбуждая в своих товарищах ненависть и презрение к правительству». В том же Семёновском полку служили будущие деятели Южного общества — С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин.

Движение нижних чинов Семёновского полка было первой репетицией того военного восстания, которое в 1825—1826 гг. было связано с Черниговским полком под начальством С. И. Муравьёва-Апостола. Это движение в пушкинской концепции свидетельствовало о непрочности самодержца Александра: восстание вспыхнуло в том полку, шефом которого был Александр I в бытность наследником престола, караула которого дожидался

он, чтобы дать разрешение на убийство Павла — тирана, увенчанного злодея, павшего под «бесславными ударами» «вином и злобой упоенных» убийц, вторгшихся 11 марта 1801 г. во дворец, «как звери» («Вольность» — стихотворение, написанное на квартире Н. И. Тургенева).

XI

Россия присмирела снова
И пуще царь пошёл кутить,
Но искры пламени[23] *иного*
Уже издавна может быть
. . . .

Внешним поводом перемены политического настроения Александра I было восстание в Семёновском полку и целый ряд военных восстаний в Западной Европе (в Испании, Неаполе, Пьемонте). Реакционная внутренняя политика с 1821 г. окончательно стала определять систему управления в России. Пушкин, исторически точно указывая на более ранние побеги либерализма в стране, чем в эпоху господства аракчеевщины, подошёл к изображению оппозиционных течений русской общественности. Где же и как первоначально сверкали эти «искры пламени» дворянского либерализма?

XII

Сначала эти за[*говоры*]
Всё это были разговоры
Между лафитом и клико
[*Куплеты, дружеские споры*] [24]
И не [*входила*] [25] *глубоко*
В сердца мятежная наука.
[*Всё это было подражанье*] [25]
[*Всё это было только*] [25] *скука,*
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.
Казалось [*пал*] [25]
Но
[*Везде беседы недовольных*] [25]
Узлы к узлам [26]

[И постепенно сетью тайной] [27]
[Россия]
Наш ц[арь] дремал

В начальных стихах этого фрагмента обычно видят ироническое отношение Пушкина к либеральным заговорщикам 20-х годов. Необходимо указать, что пушкинская терминология полна иного осмысления, чем наша современная: забавы у Пушкина означают и светский образ жизни (милые забавы света, 1819), и чувство любви:

Что ж истинно? — Одна *забава,*
Поверь: одна любовь не сон. (1816)

и творческую работу («но скрылись от меня парнасские забавы», 1816; «душе наскучили парнасские забавы», 1825; роман «Онегин» — «небрежный плод моих забав»). В поэтическом языке Пушкина встречаем: «философическая забава» (1815), «площадная забава» (1830), «гармоническая забава» (1820), «суровой простоты забавы», «сии кровавые забавы» (1820—1821), «исчезли юные забавы» (1818). Во всех этих словосочетаниях выражение забава применяется с различной и совершенно иной, чем теперь, семантической наполненностью.

В «Первом послании к цензору» (1822) Пушкин писал:

...Поверь мне, чьи *забавы*
Осмеивать закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью твоему...
. . . .
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали...

Шалун (шалость, шалить) в языке Пушкина и его современников обычно в той или иной степени и форме нарушитель порядка, чинной жизни, протестант.

Вольтер — «седой шалун» («Городок», 1814); шалун может быть и философом, остряком небогомольным (А. М. Горчакову, 1819). Дельвиг — одновременно «муз возвышенный пророк» и «шалун, мой брат по крови, по душе» («К Языкову», 1824). Шалун — участник «Зелёной лампы»:

Вот он приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной,
Скрепили вечный мы союз...
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни *шалуна...*

(«Я. Н. Толстому», 1822)

Ср. ещё:

Тогда, мой друг, забытых *шалунов*
Свобода, Вакх и музы угощают. (1818)

Ср. ещё:

Мне ль было сетовать о толках *шалунов?* (1821)

Граф М. С. Воронцов называл Пушкина шалуном, узнав о попытках его бегства из Одессы за границу перед ссылкой в Михайловское (в письме 24 декабря 1824 г. А. Булгакову). Сообщая об этом своему брату, А. Булгаков также назвал Пушкина поэтом-шалуном (12 июня 1825 г.). Пушкин демонстративными выходками против церковных лиц и полицейского строя заслужил то же прозвание шалуна у своего кишинёвского начальника Инзова, у своего приятеля П. А. Вяземского, который при известии о ссоре поэта с Воронцовым воскликнул: «эх, он шалун!.. Грешно тем, которые не уважают дарования даже и в безумном». Пушкин сам называл себя ещё в лицее шалуном, а Булгарин в политическом доносе 1826 г. («Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного») писал о лицеистах: «Молодые люди, желая дать доказательства своего вольнодумства, начали писать пасквили и эпиграммы противу правительства, которые приносили громкую славу молодым шалунам».

Об итальянских революционерах Пушкин писал:

Но те в Неаполе *шалят.*

(«В. Л. Давыдову»)

Раненный на площади 14 декабря граф Милорадович, «когда ему вырезывали из раны пулю, то он, не смотря на оную, сказал: «Я уверен был, что в меня выстрелил не солдат, а какой-нибудь шалун, потому что эта пуля не ружейная» («Смерть Милорадовича»). Марлинский (Бестужев), вспоминая о возвращении гвардии из Парижа, писал в 1829 г., что офицер, который метил в генералы, привозил оттуда «чугунную статуйку Наполеона и томы Жомини», а «ветреник для шалунов-приятелей песни Беранжера» («Альциона», Альманах на 1832 г., П. 1832, стр. 4).

Шалостью Вяземский называл «Гавриилиаду» и одну из политических эпиграмм Пушкина; шалостью назывались «Бесы» и «Румяный критик мой»; ср. «в архиве шалости младой» (1818), «сладкие тревоги любви таинственной и шалости младой» (1818);

И мы не так ли дни ведём,
Щербинин, резвый друг *забавы,*
С Амуром, *шалостью,* вином? (1819)

В набросках к «Капитанской дочке»: «Башарин за шалости послан в гарнизон». 13 октября 1824 г. С. М. Салтыкова, приятельница Ольги Сергеевны Пушкиной, писала подруге: «Дорогой наш Пушкин выслан в деревню к своему отцу за новые шалости». Булгарин считал шалостью поступок воспитанника виленской гимназии, выразившийся в том, что тот написал на доске: «Виват, да здравствует Конституция 3 мая», за что был сослан в солдаты. Пушкин писал о «студенческих шалостях» Радищева и его товарищей, которые «проказничали и вольнодумствовали». П. А. Вяземский 12 июня 1826 г. советовал ссыльному Пушкину сознаться Николаю I в «шалостях языка и пера», чтобы получить скорейшее освобождение. Батюшков вспоминал в письме к Жуковскому от 3 ноября 1814 г. московские вечера с ним и Вяземским: «и споры, и шалости, и проказы». В 1825 г. Баратынский писал Дельвигу перед его женитьбой:

Так распрощался с братством шумным
Бесстыдных, бешеных, но добрых *шалунов;*
С бесчинством дружеским весёлых их пиров
И с нашим счастьем вольнодумным.

Евгений Онегин в характеристике Полевого — «шалун с умом» (1825, в «Московском телеграфе»).

Шалостью называл А. И. Одоевский либеральные кружки: «Эти общества для многих одна только шалость, но шалость до случая, как это оказалось»; следственной комиссии он рассказал, что 14 декабря после подавления восстания он зашёл к П. Н. Чебышеву и, передавая подробности «безумного и преступного возмущения, употребил слово тогда шалости! но теперь не смею и повторить такое непристойное слово, когда дело идёт о злодеяниях» [28].

В «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам прикосновенным к делу, произведённому Высочайше учреждённою 17 декабря 1825 г. следственною Комиссиею» (1827) есть указание, как подпоручик Вилламов вместе с прочими отказывался от присяги Николаю, как офицеры кричали солдатам: «Ребята! измена! вас обманывают, Константин Павлович не отказывается, ура, Константин!» Когда полковник Гербель приказал схватить их, то Малиновский, обнажив саблю, ударил одного часового в лицо и все разбежались. По возвращении в казармы они были арестованы. Николай, по донесению об оном, «повелеть соизволил освободить их с тем, что не желает знать и имени сих шалунов» («Восстание декабристов», т. VIII, стр. 53—54).

Герцен в 1862 г. писал: «И прежде были шалуны. 14 декабря они доигрались до виселицы» (Сочинения, т. XV, стр. 114).

Поэтому, в забавы взрослых шалунов могло быть отнесено и демонстративное показывание молодым Пушкиным в

театре портрета Лувеля и политические разговоры молодых умов из «Зелёной лампы», которых скука, порождённая бездействием (ср. ум, кипящий в действии пустом), в скованной аракчеевщиной стране, толкала на разнообразные шалости, косо встречавшиеся благонамеренным обществом. Скучающий, без дела, умный взрослый шалун, дело заменяющий забавами — разного рода выходками против Максим Петровичей, Скалозубов всяческих рангов — типичный молодой либералист из пушкинского круга перед ссылкой поэта на юг.

Если припомнить высказывания декабристов о внутренней жизни Союза спасения (1817), Союза благоденствия (1818—1821), если представить заседания «Зелёной лампы» — филиала Союза благоденствия, то характеристика раннего периода декабристского движения, набросанная в пушкинском отрывке, существенно не отклонялась от оценки и восприятий исторической действительности у целого ряда общественных деятелей той эпохи.

Один из активных участников движения, Н. И. Тургенев, 17 апреля 1826 г., узнав за границей о привлечении его к следственному делу, высказал резкое суждение о тайном обществе: «Моё убеждение всегда было, и есть, и будет, что все эти общества и так называемые заговоры — вздор. Думая об этом, идя по улице, невольно «Ребятишки!» — сорвалось с языка. Этот упрёк жесток, ибо они теперь несчастны». Так думал Тургенев, припоминая дела, преимущественно в Союзе благоденствия: «Было восстание, бунт. Но в какой связи наши фразы — может быть, две или три в течение нескольких лет произнесённые — с этим бунтом? Какое правосудие может требовать отчёта в разговорах, между приятелями бывших? А что было, кроме разговоров? И можно ли судить за мнения?» Умеренный либерал, принципиальный противник Пестеля, аграрный проект которого показался ему доказательством «необыкновенного невежества», оставаясь в рядах даже Северного общества, упорно держался с 1823 г. мысли о практической бесполезности, бездейственности общества [29].

Пушкинская оценка ранних общественных организаций настолько совпадает с точкой зрения Н. И. Тургенева, изложенной им во второй оправдательной «Записке» (18 октября 1826 г.), что возникает предположение, не был ли известен этот материал Пушкину, которого мог познакомить с ним Жуковский, подавший Николаю I в конце декабря 1827 г. вместе с своим письмом о помиловании Тургенева его «Записку» о тайном обществе? Известно, как ценил Пушкин этого общественного деятеля, выделив его в своей «Записке о народном воспитании» (1826). Оценка Союза благоденствия в «Записке» Н. И. Тургенева должна была

казаться Пушкину авторитетной. Тургенев сознаётся царю, что он «теперь видит всю опасность существования каких бы то ни было тайных обществ, видит, что из тайных разговоров дело могло обратиться в заговор и от заговора перейти к бунтам и убийствам». Но, по его убеждению, в первой стадии тайного общества, в Союзе благоденствия, по преимуществу, были только разговоры. «Все сии толки, все разговоры между членами общества не могли удивлять меня, не могли казаться особенно значительными, в каком бы то ни было отношении, ибо я то же самое слыхал и от людей посторонних, к обществу не принадлежащих... Собирались (у Муравьёва) на совещания. Жаловались на худое устройство общества, но так как никто не мог придумать лучшего, то скоро разговоры об обществе прекращались и переходили к общим предметам: один сообщал новости о камере депутатов во Франции, хвалил новую книгу Прадта, Констана, другой читал новые стихи Пушкина, третий смеялся над цензурою журналов и театров и пр. Бывали разговоры общие о различных формах правления. Я не один раз мог участвовать в сих разговорах... Пустословные совещания в Петербурге... Всё и везде ограничивается одними словами...» Так, постоянно повторяясь, Тургенев настойчиво доказывал «разговорный» характер Союза благоденствия (См. «Красный архив», т. XIII, стр. 74, 78, 81, 84, 99, 105, 131, 135). Собирались для подобных разговоров «несколько молодых людей» (там же, стр. 99).

Отстраните от тайных обществ всё злодейское, и что останется? Что, кроме заблуждения? Что, кроме ребячества? — спрашивал Тургенев (стр. 110) и вновь подчёркивал, ссылаясь на мнение Никиты Муравьёва, «ничтожность общества, ребячество (его) членов» (стр. 134, 135). Из той же «Записки» Пушкин мог почерпнуть сведения о «цареубийственных замыслах» некоторых членов тайного общества (стр. 78; ср. ниже у Пушкина: цареубийственный кинжал). Оценочный материал собраний Союза благоденствия Пушкин мог получить от Жуковского, Вяземского, знавших содержание первой оправдательной записки Н. И. Тургенева (май 1826 г.), а также и от А. И. Тургенева.

В бездействии упрекали членов Союза благоденствия Пестель и Лунин; С. П. Трубецкой в своих записках говорит о развале этой организации. У Пушкина споры в Каменке с «демократическими друзьями» (Раевские, М. Ф. Орлов, Давыдов) рисовались в такой специфически барской обстановке:

...В беседе шумной
За ужином с бутылками Аи
Сидят Раевские мои [30].

Политические беседы в кружке «Зелёной лампы» обычно разгорались «между лафитом и клико»... Но все эти аморфные объединения (от Союза спасения до Союза благоденствия с его филиалами) ни в какой мере не характеризуют декабристских заговорщических организаций. Настоящий заговор возник с момента ликвидации Союза благоденствия [32].

Пушкин и не смешивал ранней эпохи дворянского либерализма с заговором декабристов. Там были «куплеты и дружеские споры», но «мятежная наука» ещё не забирала глубоко общественную сердцевину. Лишь тогда, когда «везде [стали звучать] беседы недовольных», когда экономические и политические факторы стали вызывать быструю и сложную реакцию в общественной психологии разнородных классовых группировок, Россия стала покрываться сетью тайных, конспиративных организаций.

Пушкин совершенно точно констатировал состояние страны во второй половине 20-х годов: везде недовольные. Достаточно привести несколько строк из письма декабриста А. А. Бестужева к Николаю I, чтоб убедиться в тождественности оценок тогдашнего настроения в общественных кругах, сделанных поэтом декабристов и поэтом-декабристом: «Во всех углах виделись недовольные лица; на улицах пожимали плечами, везде шептались — все говорили, «к чему это приведёт?», все элементы были в брожении». Пушкин своими зарисовками Северного и Южного обществ дал ответ, к чему шли идеологи революционного дворянства, обе фракции дворянской интеллигенции 20-х годов в намечавшейся перестройке политической и экономической жизни страны под напором роста капитализма и крестьянского движения.



Наш царь дремал.

Александр I знал о существовании тайных обществ. В 1821 г. Бенкендорф представил ему обширную записку Грибовского о Союзе благоденствия с перечнем участников и характеристикой некоторых лиц (Н. Тургенева, Муравьёвых и других), но записка эта оставалась без движения. Бенкендорф, извещая о закрытии Союза благоденствия, высказал предположение, что активные члены его, освободившись «от излишнего числа с малым разбором навербованных, коим неосторожно открыли всё», пожелают составить «скрытнейшее общество и действовать под завесою безопаснее». Действительно, в 1821 г. вместо Союза благоденствия возникли конспиративные организации южан и северян.

Александр I получил донос от Шервуда и также не дал ему ходу. Органы власти не могли не знать о широком разливе в дво-

рянских кругах либеральных настроений. В «Записках одного недекабриста» переданы любопытные подробности о том, насколько распространено было дворянское фрондирование в 20-х годах: «Кто не знал о донкихотских выходках Якубовича [который хвастался, что хочет убить Александра I]? В то время жалобы на правительство возглашались громко. Все желали перемены, но не надеясь на великого князя Константина Павловича и не понимая характера Николая, предавались всяким предположениям и мечтаниям. Если бы сослать всех тех, которые слышали о необычайных замыслах и планах того времени, не нашлось бы места в Сибири. . . Эти вольные разговоры, пение не революционных, а сатирических песен и т. п. было дело очень обыкновенное, и никто не обращал на то внимания. Однажды Булгарин давал нам ужин. Собралось человек пятнадцать. После шампанского давай читать стихи, а там и петь рылеевские песни. Не все были либералы, а все слушали с удовольствием и искренно смеялись. Помню антилиберала В. Н. Берха, как он заливался смехом. . .»

XIII

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки

. . . .

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

. . . .

XIV

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Им резко Лунин предлагал
Свои решительные меры [32]
И вдохновенно бормотал,
Читал свои ноэли Пушкин [33],
Мел[анхолический?] Я[кушкин],
Казалось, молча обнажал [34]
Ц[ареубийственный], кинжал.
Одну Россию в мире видя [35],
Лаская в ней свой идеал [36],

Хромой Тургенев им внимал
И, слово[37] *рабство — ненавидя,*
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Таково было в изображении Пушкина Северное общество, возникшее в то время, когда он находился в южной ссылке, в его отсутствие развивавшее свою работу. Историк найдёт в этой картине ряд неточностей: поручик Илья Долгоруков, как указано в «Алфавите декабристов», после ликвидации Союза благоденствия «не только не принадлежал ни к какому обществу, но и не подозревал существования оного и ни с кем из бывших членов не имел никакого сношения». «Осторожный» князь, некогда принимавший участие в выработке устава Союза благоденствия, не пострадал: следственная комиссия, судившая декабристов, признавала, что он «заслужил при милостивом прощении совершенное забвение кратковременного заблуждения, извиняемого отменною молодостью».



М. С. Лунин.
С литографии.

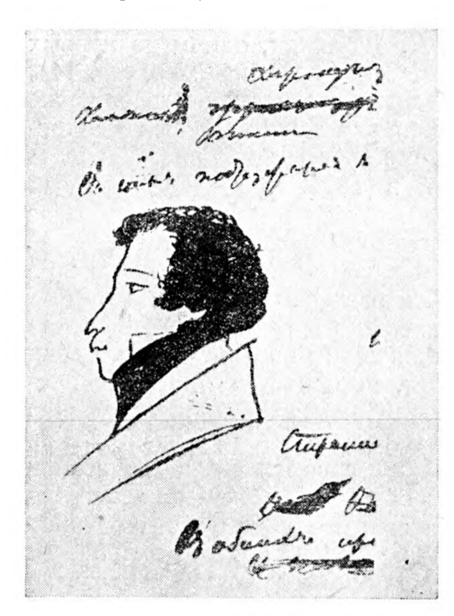
Включив себя в декабристскую организацию северян, Пушкин допустил другую ошибку против исторической правды: он не был членом тайного общества, как ни стремился к этому (см. воспоминания Якушкина, Пущина). Тем не менее поэт исторически точно обозначил своё место среди декабристских организаций: Северное общество соответствовало его социальной идеологии. Автор проекта конституции, Никита Муравьёв, противник «крепостного состояния и рабства», но оставлявший «земли помещиков за ними», признававший «право собственности, заключающее в себе одни вещи, священным и неприкосновенным»; Н. И. Тургенев, Лунин и Якушкин, сторонники конституционной монархии и освобождения крестьян[38], — все эти перечисленные Пушкиным члены Северного общества, выступая против феодально-крепостнического строя, выражали точку зрения

той передовой помещичьей группы, которая расчищала дорогу промышленному капитализму. Их взгляды в отношении к «самовластью», к «рабству» народа разделял Пушкин; но одновременно реалистическим изображением современной ему жизни поэт преодолевал свою классовую ограниченность, художественной и публицистической критикой господствовавшего помещичье-крепостнического строя переходил на позиции демократического фронта от Белинского, ещё не ставшего революционным демократом, до представителей «крепостной интеллигенции».

Исторически верно Пушкин подчеркнул наличие среди декабристов идеи цареубийства [39]. И. Д. Якушкин, одним из первых предложивший эту идею (см. в его «Записках», изд. 2-е, стр. 14), Якубович, Каховский, Рылеев и другие северяне, не говоря уже о Пестеле, С. Муравьёве-Апостоле, не раз ставили вопрос о «цареубийственном кинжале». Припоминая собственную настроенность 20-х годов, Пушкин, воспевавший в 1821 г. «свободы тайный страж» — кинжал [40], конечно, без всякой иронии рисовал образ Лунина (1787—1845), предлагавшего «решительные меры» [41]. Гвардейский офицер, проделавший военные походы своего времени («друг Марса»), отличавшийся исключительной храбростью, Лунин, несмотря на бреттёрские выходки и разные молодечества (друг «Вакха и Венеры»), выделялся своим оригинальным характером, умственными способностями, поражавшими, между прочим, французского мыслителя Сен-Симона [42], он принадлежал к числу тех людей пушкинского круга, о которых поэт сказал, что «дружно можно жить с Киферой, с портиком, и с книгой и с бокалом, что ум высокий можно скрыть безумной шалости под лёгким покрывалом». Лично известный Пушкину [43], сохранившему много лет спустя после последней встречи с Луниным (1825) впечатление о нём как о подлинно выдающемся человеке (в 1835 г. на балу у кн. С. Голицына Пушкин сказал племяннику Лунина, А. Ф. Уварову: «Michel Lounin est un homme vraiment remarquable» — Михаил Лунин человек действительно выдающийся), Лунин схвачен поэтом в наиболее характерной черте его личности, проявлявшейся и в его политических высказываниях на заседаниях декабристов. Рылеев показывал на следствии: «О Лунине... слышал я от Никиты Муравьёва, что он человек решительный [44] и исполненный любовью к отечеству. Причём Муравьёв заметил: «Жаль, что его нет, он был бы пламенный член общества» [45].

Пушкин, помимо личных впечатлений, как справедливо предполагает С. Гессен, в 1830 г., когда писал X главу, мог почерпнуть следующее примечание о Лунине из «Донесения Следственной комиссии»: «Пестель утверждает, что ещё прежде (вызова на цареубийство Якушкина), в том же 1817 г., Лунин говорил, что если «при начале открытых действий Общества» решатся убить

императора, то можно будет для сего выслать на царскосельскую дорогу несколько человек в масках. Лунин признаётся, что он, между прочим, говорил это». Один из первых директоров Северного общества, Лунин в 1821 г. снова завёл разговор о покушении на Александра. Сергей Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин, А. Поджио и другие показывали на следствии, что в 1823 г., обсуждая с Пестелем вопрос о цареубийстве, предполагали с этой целью организовать специальную группу под названием «garde perdue» [46], под начальством Лунина. Лунину принадлежала идея завести литографский станок для размножения уставов, воззваний. Комментатор пушкинского отрывка о Лунине по поводу текстологических исправлений поэта верно отметил: «осуждающий эпитет губительные меры поэт заменил нейтральным — решительные, который, в общем контексте, окрашивается в явно положительный тон» [47].



Пушкин.
Автопортрет 1823 г.

Читал свои ноэли Пушкин. — Ноэль (Noël) — святочная (рождественская) песенка сатирического содержания. Пушкину принадлежало несколько таких песен. Одна из них до нас дошла («Ура! В Россию скачет кочующий деспот», 1818); о другой известно из письма поэта брату Льву (Михайловское, в декабре 1824 г.): Пушкин опасался, как бы его письмо, где была вложена «святочная песенка», не было затеряно «ветреным юношей» Рокотовым (соседом по имению) — «ничуть не забавно мне попасть в крепость pour des chansons». В пасквильном стихотворении на Пушкина одного его современника, А. Родзянко, читаем:

И все его права: *иль два иль три Ноэля,*
Гимн Занду на устах, в руках портрет Лувеля.

«Noël» 1818 г., по словам И. Д. Якушкина, «распевали чуть не на улице» [48].

Беспокойный Никита. — Пушкин чрезвычайно точно подметил в Н. М. Муравьёве ту особенность молодого офицера,

полного тревожных исканий, которую близко знавший Никиту Муравьёва Батюшков включил в своё послание будущему декабристу-северянину:

Твой дух встревожен, беспокоен,
Он рвётся лавры пожинать.

Меланхолический Якушкин. — Пушкин указал в молодом Якушкине характерную черту его личности. В 1821 г. Якушкин писал Чаадаеву: «Ах, бог мой, ты позволяешь себе слишком быстро осудить человека, которого не знаешь. Вынести приговор, меня не выслушав, приписать мне лишённое любви сердце и омертвевшую душу! Но если бы это и было так, разве ты знаешь, что́ меня таким сделало? Причина — в печальной участи не иметь сердечного друга, никогда не слышать слова приязни. Правда, моя душа утратила часть своей энергии, она устала от страданий и разбилась, она не хотела принять жизнь, полную горечи, и ослабела в борьбе. Я выносил бремя существования одиноким. Время от времени встречалась душа, способная, может быть, симпатизировать мне, — но судьба, обстоятельства, я уж не знаю, что именно — нас всякий раз разлучали, и я оказывался более одиноким и обособленным, чем раньше. Над жизнью моей тяготели годы разочарований, горькие слёзы жгли мне лицо, лишённый утешения молитвы, я был предоставлен себе. Не суди же меня по наружности, будь настолько проницателен, чтобы понять, каков я на самом деле; мне тяжело видеть, что и ты разделяешь суждение обо мне толпы, полагающей, будто душа, сложившаяся в таком мире, который несколько возвышается над людской пошлостью, ничего иного, кроме одиночества, и не заслуживает. Слишком длинно то, что я тебе написал; взгляни на эту полуисповедь как на одну из редких минут излияний, которым подвержены люди, всегда сосредоточенные и замкнутые в себе самих» [49].



И. Д. Якушкин.

Они за рюмкой русской водки. — Указание на знаменитые «русские завтраки» на собраниях у Рылеева. Русская

капуста, русская водка, русское платье, рассуждения о русских названиях государственных учреждений (после будущей революции) — всё это было отражением своеобразного национального чувства первых дворян-революционеров.

Поместив себя рядом с Луниным и Якушкиным, Пушкин сохранил в отрывке 1830 г. свой психологический облик начала 20-х годов, когда темы «кровавых чаш», «карающего кинжала», «вольнолюбивого Брута» особенно волновали поэта.

Из всех декабристов только Н. И. Тургеневу он придал черты общественного деятеля с определённой социальной программой: Тургенев — пропагандист идеи «уничтожения рабства», крепостного состояния. Сам Тургенев именно в преданности этой идее видел пафос своей жизни, называл её своей «нравственной болезнью, какой-то лихорадкой, которая мучила [его] беспрестанно и не позволяла [ему] хладнокровно видеть вещи в настоящем их виде» («Красный архив», т. XIII, стр. 123). В своей «Записке», текст которой мог быть известен Пушкину, Тургенев пространно рассуждал:

«Одна главная мысль владела и направляла моими поступками во всю мою жизнь, — мысль уничтожения крепостного состояния в России. Сия цель казалась мне священною и достойною целью всей жизни. В стремлении к ней я видел все мои обязанности и иногда почитал себя каким-то миссионером в святом деле. Я почитал для себя непременным долгом всегда и везде содействовать к достижению сей цели, цели моего существования. На все обстоятельства, на все дела, на все происшествия я смотрел с одной и той же точки зрения. Везде и во всём я искал одного. При всяком случае я спрашивал самого себя: нельзя ли из этого извлечь чего-либо для освобождения крестьян? Эта мысль, наконец, так сильно овладела мною, что всё прочее казалось мне незаслуживающим внимания. Просвещение, законодательство, одним словом, всё казалось мне ничтожным в сравнении с освобождением крестьян. Эту мысль, это убеждение я всегда желал сообщить и другим членам и не членам общества. Я солгал бы, если б сказал, что никогда не любил конституции вообще. Нет, я в сем отношении мог разделять мнения других. Но в отношении к России все мои мысли, все желания были подчинены условию, в моём мнении гораздо важнейшему, — уничтожению рабства. В разговорах о предметах политических и с членами общества и с посторонними лицами я всегда представлял освобождение крестьян самою главною необходимостью» (там же, стр. 96—97).

Тургеневу казалось, что, пропагандируя в тайном обществе свои идеи, он имел дело с людьми, которые или его не понимают или не хотят понять, но он «старался извлечь из них пользу для дела, ему священного»; «они молоды, необразованы, думал я, но

они помещики, имеют крепостных людей. Разговаривать с ними для меня скучно, но разговоры мои могут иметь последствием несколько отпускных!» — писал он в своей «Записке», несколько раз повторяя ту же тему (стр. 123, 78) [50], которую Пушкин схватил в двух строчках:

[Тургенев] предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Когда пушкинские строки дошли до декабриста-эмигранта, он написал (20 августа 1832 г.) брату, А. И. Тургеневу, что стихи Пушкина «заставили [его] пожать плечами. Судьи, меня и других осудившие, делали своё дело: дело варваров, лишённых всякого света гражданственности, цивилизации. Это в натуре вещей. Но вот являются другие судьи! .. Можно иметь талант для поэзии, — много ума, воображения и при всём том быть варваром. А Пушкин и все русские — конечно, варвары. . .» («Журнал Мин. народн. просв.», 1913, март, стр. 17). Раздражение Н. И. Тургенева, мирно проживавшего в Париже, можно объяснить только тем, что пушкинские стихи напомнили ему содержание той «Записки», которую он согласился послать царю Николаю, наполнив её, по совету Александра Тургенева, лживыми вставками и такими репликами по адресу казнённых и ссыльных товарищей по общему делу, как «настоящее скопище разбойников», «истинные злодеи», «адское дело со всеми подробностями беспримерного разврата и бешеной кровожадности»... («Красный архив», т. XIII, стр. 73).

Включив себя в группу северян раннего призыва, выделив Н. И. Тургенева как мирного защитника идеи о «рабстве падшем», зная принципиальную вражду последнего против бунта, против революционного насилия, его исконное убеждение, что «волею правительства», опирающегося на просвещённую группу передового дворянства, могут быть разрешены в России основные вопросы общественной жизни, Пушкин выразил определившиеся у него к 30-м годам симпатии тому крылу дворянской оппозиции, которое 14 декабря пыталось произвести г о с у д а р с т в е н н ы й п е р е в о р о т. (К концу жизни Пушкин отрицал реформаторскую роль *современной* ему государственной власти в лице Николая I и думы, считая, что не одно «просвещённое» дворянство, а более широкие общественные круги примут участие в преобразовании страны, в борьбе с самовластьем и крепостничеством.)

Самое же Северное общество в его оценке было организацией, где участники имели большую склонность к «витийству резкому», к теоретическим анализам проектов конституций и всяческих законоположений (Н. Муравьёв и Н. Тургенев) [51],

XV

Так было над Невою льдистой.
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли, —
Дела [иные уж] пошли [52].
Там П[естель] — кинжал [53]
И рать... [54] *набирал* [55]
Холоднокровный генерал [56]
Там Р[юмин]... [57].
В союз славянов вербовал [58].
Его... [59]
И Муравьёв его склонял,
Исполнен дерзости и сил,
Союза [вспышку][60] *торопил.*

Здесь названы главные центры заговорщиков из Южного общества — К а м е н к а, имение В. Л. Давыдова в Чигиринском уезде, Киевской губернии, и Т у л ь ч и н (Подольской губ.), где был штаб 2-й армии, которой командовал генерал граф П. Х. Витгенштейн; названы крупнейшие представители южного заговора — командир Вятского полка полковник Пестель; подполковник Черниговского полка С. И. Муравьёв-Апостол; подпоручик Полтавского пехотного полка М. П. Бестужев-Рюмин.



П. И. Пестель.

Первый из них, автор «Русской Правды», в оценке Пушкина — «один из самых оригинальных умов», которых знал поэт: «Только революционная голова, подобная Пестелю, может любить Россию так, как

писатель только может любить её язык», — читаем в заметках Пушкина 1822—1823 гг. [61]



С. И. Муравьёв-Апостол.

С. И. Муравьёв-Апостол — активнейший член Южного общества, глава Васильковской управы, автор агитационного «Катехизиса», собиравший солдат из разных полков, в том числе ссыльных из Семёновского полка, и склонявший их к возмущению, открывший сношения с самым радикальным из декабристских кружков, Обществом соединённых славян, — поднял 27 декабря 1825 г. свой полк и двинулся на соединение с другими полками в целях захвата власти. М. П. Бестужев-Рюмин (как сказано о нём в «Алфавите декабристов») «действовал и даже мыслил нераздельно с С. Муравьёвым-Апостолом», между прочим, пропагандировал среди офицеров из Общества соединённых славян идею цареубийства пушкинским стихотворением «Кинжал» [62]. Все четыре декабриста были лично известны Пушкину. Трое из них были повешены 13 июля 1826 г. [63]

Можно ли на основании отрывков X главы говорить, что Пушкин в 1830 г. неглубоко и несерьёзно отнёсся к «декабризму вообще» [64], что только после 1830 г. в итоге своих «исторических разысканий и размышлений над историческими событиями» Пушкин увидел в декабристском движении «трагический социальный конфликт», «убедился в классовом характере 14 декабря» и пр.? [65] Наш комментарий приводит к совершенно противоположному выводу. Пушкин итоги своего классового самосознания чётко вскрыл в «декабристских» отрывках X главы романа: он — за «декабризм», за освобождение народа от рабства, от «самовластья», за новый прогрессивный путь развития страны. В 1830 г., так же как и в 1834 г. во время беседы с вел. кн. Михаилом Павловичем, Пушкин с полной политической ясностью понимал причины «страшной стихии мятежей» в России, знал, какие важные общественные причины привели на Сенатскую площадь 14 декабря и к военному восстанию на юге, вызвали

к жизни Никиту Муравьёва и Пестеля, Тургенева и Сергея Муравьёва-Апостола.

Нам неизвестно, как Пушкин развернул бы канву X главы, каковы были бы его «лирические отступления» по поводу декабристского движения [66]. Бесспорным остаётся факт: Пушкин в 1830 г. достиг наивысшей объективной правды в изображении общественного движения своего класса, обнаружил ту высокую степень политической зрелости, которая соответствовала его историческому пониманию общественного дела «дворянских революционеров» [67].

XVI

А про тебя и в ус не дует,
Ты, А[лександровский?] холоп...

. . . .

Пушкин имел в виду всесильного при Александре I временщика Аракчеева [68], которого Николай не приблизил к себе после подавления восстания; после 1825 г. Аракчеев быстро сошёл на нет как государственный деятель [69].

XVII

Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплёт великородный
Меня уже предупредил.

. . . .

Слово *шиболет* — по-еврейски колос — встречается в библейском повествовании о том, как мужи галаадские, истребив почти всё племя Ефраима, заняли проходы у Иордана, чтоб не пропустить уцелевших ефраимитов, и спрашивали каждого: «А вы не из Ефраимова племени?» — «Нет» — отвечали те. — «А скажите: шибболет! — Те, затрудняясь произнести правильно, отвечали «сибболет» и таким образом выдавали своё происхождение. И брали его, и закалали его у переправы через Иордан...»

Это слово в литературном языке современников Пушкина играло роль признака, которым отличались люди, принадлежавшие к

определённому кругу, партии, от инакомыслящих; так, в 1833 г. в «Московском телеграфе» Бестужев-Марлинский писал (о карамзинистах): «И слова: чувствительность, несчастная любовь стали шибболетом, лозунгом для входа во все общества» [70] (Марлинский, Полное собр. соч., т. XI, стр. 282). Особенностью, определяющей политическую действительность тогдашней России, лишённой, по мнению Пушкина, твёрдого основания закона, было слово авось, в чём поэт соглашался со своим предшественником-поэтом.



А. П. Юшневский.

Авось как главная пружина правительственной политики было отмечено в сатире князя П. Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвою» (1811), где Москва говорила Петербургу:

У вас авось —
России ось —
Крутит, вертит,
А кучер спит.

XVIII

Авось, аренды забывая,
Ханжа запрётся в монастырь,
Авось, по манью [*Николая?*]
Семействам возвратит [*Сибирь?*]...

. . . .

Авось, дороги нам исправят...

Д. Н. Соколов напомнил пушкинское послание к Н. И. Гнедичу (1821), где известный реакционер александровского времени («холопская душа», «просвещения гонитель») и член следствен-

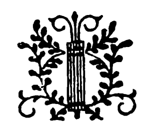
ной комиссии по делу о декабристах, князь А. Н. Голицын, был назван ханжой:

> ...спасаясь от гоненья
> *Ханжи* и гордого глупца.

Пушкин надеялся, что Николай «простит» декабристов, томившихся «в пропастях земли», в сибирской ссылке. Ещё в январе 1826 г., до известия о приговоре, он писал А. А. Дельвигу: «Твёрдо надеюсь на великодушие молодого нашего царя»; 20 февраля писал ему же: «Что Иван Пущин? Мне сказывали, что 20-го, т. е. сегодня, участь их должна решиться — сердце не на месте, но крепко надеюсь на милость царскую». Приговор Верховного суда и дальнейшая судьба декабристов в связи с горькими эпизодами собственной жизни поэта подтачивали эти надежды на «милость царскую», и в год написания X главы Пушкин, судя по тому смысловому оттенку, который лежал в слове «авось», иронически относился к своим былым настроениям [71].

Общие жалобы на бездорожье, мешавшее хозяйственному развитию страны, нашли отклик в правительстве Николая I: к 1830 г. была закончена постройка первой шоссейной дороги — между Москвой и Петербургом [72].





ПРИМЕЧАНИЯ

РОМАН ПУШКИНА

[1] См. письмо А. Тургеневу от 1 декабря 1823 г.

[2] См. черновое письмо Бестужеву от 8 февраля 1824 г.

[3] Белинский по цензурным условиям не мог сказать, что этим «моментом» были годы общественной борьбы внутри дворянского класса, которая привела к декабризму и после поражения «дворянских революционеров» к глухой реакции николаевского царствования.

[4] «В «Анне Карениной» и в «Онегине» не решён ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют потому только, что все вопросы поставлены в них правильно» (из письма А. П. Чехова к А. Суворину от 27 октября 1888 г).

[5] Указание Д. Д. Благого в его статье «Великий мировой поэт» («Литературная газета», 1949, № 47).

[6] См. статью Вл. Нейштадта «Пушкин в мировой литературе» («Красная Новь», 1937, № 1).

[7] Из воспоминания С. Сенькина, Ленин в коммуне Вхутемас, «Молодая гвардия», 1924 г., № 2—3.

[8] М. Горький, О литературе, М. 1935.

[9] Павловское — имение П. И. Вульф в Тверской губ.

ПУШКИН ОБ «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ»

[1] Включены также письма корреспондентов Пушкина с их отзывами о романе.

[2] Ср. черновое письмо: «Первая песнь или глава кончена — я тебе её доставлю. Пишу его с упоеньем, что уж давно со мной не было...»

[3] Не в Петербурге.

[4] И. В. Сленин — книгопродавец и издатель.

[5] 15 мая А. Н. Голицын был отставлен от Министерства народного просвещения: А. А. Шишков был назначен министром.

[6] См. V строфу гл. II «Евгения Онегина».

[7] См. строфу XXVIII гл. I.

[8] См. 18-й стих письма Татьяны в гл. III.

[9] Воронцов.

[10] См. строфу LVI гл. I.

[11] «Неистовый Роланд», поэма итальянского автора Ариосто (1474—1533).

[12] «Сэр Гудибрас» поэма в 3 частях (1663, 1667, 1678) английского поэта Самюэля Ботмера (1612—1680), осмеивавшая ханжество пуритан, насыщена

намёками на лица и события, которые рисуются в карикатурной форме; его герои — рыцарь Гудибрас и оруженосец его Ральф.

[13] «Орлеанская дева» — поэма Вольтера, о которой Пушкин писал в стихотв. «Бова» (1814):

...вчера, в архивах роюся,
Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Катехизис остроумия,
Словом — Жанну Орлеанскую.

[14] Vert-vert — французская поэма Ж. Б. Грессе (1709—1777), остроумно изображавшая трагическую смерть «благочестивого» попугая, воспитанного в женском монастыре, а потом попавшего в весёлое общество.

[15] Поэма в 8 песнях Гёте, написана в 1793 г.; сатирическая переработка сказаний из устного животного эпоса.

[16] Французский писатель (1621—1696).

[17] Цензор Бируков подписал 29 декабря 1824 г. разрешение I главы романа.

[18] В № 23 «Северной Пчелы» 1825 г., 21 февраля, было объявление, что книжка (романа) продаётся по 5 руб. в книжном магазине И. В. Сленина.

[19] Н. И. Хмельницкий (1789—1845) — драматург и переводчик.

[20] Буквально: «улыбка читателя мне улыбается».

[21] Е. И. Голицына, в салоне которой бывал поэт и в честь которой написал в 1817 г. стихотворение («Краёв чужих неопытный любитель»).

[22] Ф. И. Толстой-американец.

[23] См. комментарий к XIX строфе гл. IV.

[24] См. гл. III, строфы XX—XXI.

[25] Имеется в виду статья А. А. Бестужева в «Полярной звезде» на 1825 г. «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» (о воспитании, стр. 7 и др.). В этой статье Бестужев писал о романе: «Первая глава стихотворного романа Онегин, недавно появившаяся, есть заманчивая, одушевлённая картина неодушевлённого нашего света. Везде, где говорит чувство, везде, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества — стихи загораются поэтическим жаром и звучней текут в душу» (стр. 14).

[26] См. XVIII строфу гл. I.

[27] Журнал «Московский телеграф».

[28] Плетнёв просил переписать «Бориса Годунова» и прислать.

[29] Отрывок из VII главы «Евгения Онегина», потом вошедший в «Путешествие Онегина», был напечатан в «Московском Вестнике» (в VI книжке без подписи имени Пушкина).

[30] В «Московском Вестнике» 1827 и 1828 гг. помещались отрывки «Евгения Онегина».

[31] Соболевский печатал II гл. «Онегина» по поручению Пушкина в Москве, а III гл. печаталась Плетнёвым в Петербурге, как это видно из предыдущего письма.

[32] В № 1 «Московского Вестника», 1828 г., был помещён отрывок из «Евгения Онегина»: описание Москвы, гл. VII, строфы XXXVI, XXXVIII и XLI—XLIII.

[33] Письмо Е. М. Хитрово Пушкину с замечаниями на IV и V главы «Евгения Онегина» неизвестно.

[34] IV—V (вместе) и VI главы.

[35] На этом экземпляре (IV—V главы) Пушкин сделал надпись: «Евпраксии Николаевне Вульф от Автора. — Твоя от твоих. 22 февраля 1828».

[36] Отрывок из VIII главы («Прекрасны вы, брега Тавриды», кончая стихом «я воображал») в № 1 «Литературной газеты», 1 января 1830 г.

[37] Речь идёт о гл. VIII.

[38] В февральской книге «Атенея» была напечатана мелочно-придирчивая статья Воейкова, на которую Пушкин отвечал в своих «Критических заметках» (1830), появившихся в «Деннице», 1831 г.

[39] Сотрудник «Вестника Европы», писавший против Карамзина-историка.

[40] Известный в то время московский шут.

[41] Ив. Ерм. Великопольский (1797—1868), автор стих.: «К Эрасту. Сатира на игроков», хотел напечатать в «Северной Пчеле» Булгарина ответ на стих. Пушкина к нему, где Пушкин шутливо упрекнул его в том, что он пишет сатиры на игроков, а сам готов понтировать всю ночь. В ответе своём Пушкину Великопольский написал, что давно знаком с автором послания и

Очень помнит, как сменяя
Былые рублики в кисе,
Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе.

[42] Имение Н. И. Вульф в Тверской губ., где временно гостил Пушкин.

[43] В Малинниках Пушкин однакоже написал несколько строф VII гл. «Онегина».

[44] Восьмая глава при печатании была выпущена, а девятая обращена в восьмую.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

[1] Белинский, Сочинения Александра Пушкина, статья 8-я.

[2] В «Трутне» (1769) Н. И. Новикова, в «Смеси», было напечатано письмо к издателю, где встречается это выражение: «Вы выводите пороки без околичности, осмеиваете грубость нравов испорченных и тем показываете, что вы прямой друг истинного человечества»; в «Беседующем гражданине» (1789, ч. 1, стр. 23): «Сколь счастлив народ, управляемый другом человечества»; в романе Этина «Роза» (1786), в комедии того же автора «Мнимый мудрец» (1786) к некоторым героям также было применено выражение «друг человечества». Этим указанием я обязан Л. В. Крестовой.

[3] Е. Ф. Будде, Опыт грамматики языка А. С. Пушкина, 1904, стр. 19, ср. также комм. к XXXV строфе VII главы.

[4] Карамзин, Сочинения, т. VII, изд. 3-е, 1820, стр. 91.

[5] См. LIII строфу:

...досель
Порядка враг и расточитель.

[6] Д. Благой, Социология творчества Пушкина, изд. 2-е, стр. 115.

[7] Ср. выводы историка Романовича-Славатинского: «Большая часть великорусских помещиков... новейшего происхождения: XIX и уже никак не далее XVIII столетия. Поместья весьма редко задерживались в трёх-четырёх генерациях одной и той же дворянской фамилии» («Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права», Киев 1912, стр. 170).

[8] В «Отрывке из Путешествия» («Мнемозина», 1824), Кюхельбекер сообщил, что он в Дрездене «много рассказывал (поэту Тидге) о молодом творце «Руслана и Людмилы» (ч. 2, стр. 57).

[9] «Русский архив», 1901, № 5, стр. 55.

[10] «Из писем и показаний декабристов», под ред. А. К. Бороздина, П. 1906, стр. 9 и 39.

[11] См., например, «Недоросль» Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова. Иной образ гувернёра дан Герценом в «Былом и думах».

[12] «Записки Ф. Ф. Вигеля», М. 1892, ч. 1, стр. 128.

[13] «Полярная звезда», «Карманная книжка на 1825 год», изд. А. Бестужевым и К. Рылеевым, СПБ 1825, стр. 7—8.

[14] Л. Поливанов, Вступит. статья к «Евгению Онегину», Соч. Пушкина, изд. Л. Поливанова, т. IV, М. 1894, стр. 38. В этой статье автор применил к Онегину оценку, данную декабристам в манифесте Николая I 13 июля 1826 г. (в день казни пятерых вождей восстания).

[15] «Дни досад», «Вестник Европы», 1823, № 18, сент., стр. 113—114.

[16] Цитата по автографу В. Одоевского в книге П. Н. Сакулина. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель, т. I, ч. 1, М. 1913, стр. 550.

[17] См. ещё в «Горе от ума»:

А дамы! — Сунься кто, попробуй, овладей,
Судьи всему, везде, над ними нет судей.

«Зловещие» и «вздорные» старухи, вроде Татьяны Юрьевны, графини-бабушки, княгини и пр., называют Чацкого безумным, фармазоном, якобинцем. Онегина те же «судьи» также называют сумасбродом, фармазоном (см. ниже комм. к V строфе II гл.).

[18] Никола-Антуан Буланже (1722—1759), автор «Разоблачённой древности» (1766) и «Разысканий о начале восточного деспотизма» (1761) (обе книги были изданы Гольбахом), был религиозным вольнодумцем, рассматривал библию как собрание астрономических символов. Участник Энциклопедии, Буланже ставился Карамзиным в одном ряду с атеистом Ламетри и знаменитым разрушителем церковных верований Вольтером.

[19] Эпиграмма — в современном Пушкину «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (1821 г., ч. 1, стр. 386—387) дано следующее объяснение: «Краткие стихи сатирического содержания, кончающиеся острым словом, укоризной или шуткой».

[20] «Русская старина», 1877, т. XVIII, «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного».

[21] «Записки Якушкина», М. 1925, стр. 26.

[22] См. у Рылеева — «К временщику», 1820, «Гражданское мужество», 1824; у Пушкина — «Кинжал», 1821.

[23] См. ещё «К Батюшкову», 1821.

[24] В повести «Безонские рыбаки» рассказывалось даже о жизни героя в России, о «самовластном господине» и пр. (Переводы Карамзина, т. II, стр. 5, 18—19, изд. 3-е, 1820.)

[25] В. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, стр. 364—365.

[26] Из писем и показаний декабристов, под ред. А. Бороздина, СПБ 1906, стр. 76.

[27] «Русский архив», 1901, № 5, стр. 59—60.

[28] Студент Карл Занд убил в марте 1819 г. Коцебу, немецкого чиновника, агента русского правительства (см. «Кинжал» Пушкина); парижский рабочий Лувель заколол в феврале 1820 г. герцога Беррийского.

[29] «Русская старина», 1896, октябрь, стр. 136—137.

[30] «Голос минувшего», 1916, октябрь, стр. 154.

[31] См. замечания Пушкина в его «Записке о народном воспитании»: «Мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический, литературу... превратившуюся в рукописные пасквили на правительство».

[32] Н. И. Тургенев, Россия и русские.

[33] См. § 26 «Законоположения Союза благоденствия»: «Всякий член Союза... должен для подавания примера согражданам: 4) не расточать попусту время в мнимых удовольствиях большого света, но досуги от исполнения обязанностей посвящать полезным занятиям или беседам людей бла-

гомыслящих»; в § 51 рекомендовалось убеждать, что «сила и прелесть стихотворений не состоит... в созвучии слов», но... «более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих».

[34] «Восстание декабристов», т. II, стр. 60.

[35] Там же, стр. 451.

[36] Однако, поживя в усадьбе, он привык к помещичьей жизни:

И нечувствительно он ей
Предался, красных летних дней
В беспечной неге не считая,
Забыв и город и друзей
И скуку праздничных затей.

(XXXVIII—XXXIX строфы, гл. IV)

[37] Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, М. — Л. 1935, стр. 228.

[38] См. у В. Ф. Одоевского в его «Психологических заметках» 30-х годов. «Если б перенести героев древних во всей их полноте в наше время, они были бы величайшими злодеями, а наши преступники были бы героями в древности» (П. Н. Сакулин, цит. соч., т. I, ч. 1, стр. 546—547). Остроумная пародия («Циклоп») на одну из идиллий Феокрита была написана в 1813 г. Н. И. Гнедичем, большим поклонником античных поэтов, переводчиком Гомера (с 1807 г.) и автором идиллии «Рыбаки» (1822). См. Н. И. Гнедич. Сообщил П. Тиханов, П. 1884, стр. 21—23 (оттиск из Сборника Отд. русск. яз. и словесности Академии наук, т. XXXIII, № 3).

[39] Н. В. Святловский, История экономических идей в России, 1923, стр. 130.

[40] Составлено из двух греческих слов: фюзис — природа, кратос — власть.

[41] Проф. В. М. Штейн, Развитие экономической мысли, т. I, «Физиократы и классики», Л. 1924, стр. 32—33, 34, 40—41, 45—46, 50, 56—66.

[42] Проф. В. М. Штейн, цит. соч., стр. 99—100. Проф. Штейн в доказательство этой мысли приводит следующую цитату из А. Смита: «Люди и рабочий скот, употребляемые в земледелии, не только возвращают, подобно фабричным работникам, ценность, равную их содержанию или капиталу, затраченному на них с присоединением к ней прибыли владельца капитала, но производят ещё большую ценность» (стр. 101). См. ещё на 102 и 104 стр. характерные выдержки из А. Смита в типично физиократическом духе.

[43] Там же, стр. 101.

[44] Там же, стр. 125—126.

[45] Проф. В. М. Штейн, цит. соч., стр. 122—123. Ср. любопытное письмо приказчика помещику-декабристу М. С. Лунину: «Зная вашу единственную цель — по уплате долгов накопить и приумножить сумму капитала и тем обезопасить себя и имение на будущее время, сколько можно, буду способствовать вашему желанию» и т. д. (Б. Д. Греков, Хозяйственное состояние России накануне выступления декабристов. Сборник «Бунт декабристов», Л. 1926, стр. 16).

[46] Не из этой ли книги Пушкин усвоил мнение Смита о значении золота. На 337-й стр. 1-го изд. «Опыта теории налогов» (1818) Тургенев привёл эпиграф из Адама Смита: «Золотые и серебряные деньги, обращающиеся в государстве, могут весьма справедливо быть уподоблены большой дороге, которая, доставляя на рынок сено и хлеб, не производит сама ни малейшего количества ни того, ни другого» (проф. Е. И. Тарасов, Декабрист Николай Иванович Тургенев в александровскую эпоху. Очерк по истории либерального движения в России, Самара 1923, стр. 149).

[47] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, стр. 160.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Гос. изд. политической литературы, 1948, стр. 441.

[48] Т. е. Александру I.

[49] В. В. Сиповский, Из истории русского романа и повести, ч. 1, СПБ 1903, стр. 199.

[50] Н. Полевой, Редакция В. Орлова, стр. 44—45.

[51] Ср. «Послание к Я. Н. Толстому» от 26 сентября 1822 г., где ссыльный Пушкин вспоминал собрания «Зелёной лампы»:

В изгнаньи скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас:
Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз...
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство...

[52] Н. О. Лернер, Пушкинологические этюды, «Звенья», V, 1935, стр. 63—64.

[53] А. Яцевич, Пушкинский Петербург, Л. 1935, стр. 292.

[54] Богиня любви (Киприда).

[55] Место учёных собраний в античной Греции.

[56] Ср. конец послания в соч. Пушкина, т. 1, М. 1934, стр. 244.

[57] См. в послании к Щербинину 1819 г.: «И жирный страсбургский пирог». Страсбургские пироги — пироги с изрубленной гусиной печёнкой, привозимые из Страсбурга в запаянных жестяных коробках. Лимбург — город в Бельгии, славился производством особого сорта сыра. Живым этот сыр назван потому, что вследствие брожения он насыщен был бродящими бактериями. Трюфли — сорт грибов.

[58] «Московский телеграф», стр. 314—315, отдел «Камер-обскура», статья «Мелкая промышленность, шарлатанство и диковинки московские».

[59] Балет Дидло «Федра и Ипполит» был представлен в сентябре 1825 г., т. е. спустя два года после написания первой главы романа.

[60] Пушкин, Мои замечания о русском театре, Соч., т. VI, М. — Л. 1934, стр. 10.

[61] «Литературное наследство», № 16—18, стр. 635.

[62] Ср. у В. Ф. Одоевского: «Хотя уже пробило семь часов, но театр был ещё почти пуст, когда я пришёл к креслам; тут я вспомнил, что жертвующие хорошему тону наперерыв стараются как возможно позже приехать: мужчины — для того, чтобы, торопливо пробегая ряды кресел, на вопросы знакомых отвечать с лицом будто бы негодующим: «я обедал у князя Знатова, он задержал меня» и проч. А дамы для того, чтобы, входя в ложу, иметь удовольствие застучать стульями, оборотить на себя несколько лорнетов и произвести в театре маленький шопот, который женское самолюбие толкует в свою пользу» (В. Ф. Одоевский, Дни досад, «Вестник Европы», 1823, август, № 15, стр. 220—221).

[63] См. комм. к «Отрывкам из путешествия Онегина».

[64] «Пушкин и его современники», вып. XXXVI, стр. 84.

[65] Пушкин в письме к С. А. Соболевскому от 1 декабря 1826 г. назвал мелких литературных торгашей-издателей «щепетильными литературщиками».

[66] «Философом ленивым... живу я в городке» («Городок», 1814), Батюшков — «мечтатель юный», «философ резвый и пиит» (1814), «уж я не тот философ страстный» (1815); в поэтическом языке юного Пушкина фавн — «философ козлоногий» (1816).

[67] Л. Майков, Пушкин, П. 1899, стр. 124, 418.

[68] «Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого», стр. 273.

[69] «Русская старина», 1899, сентябрь, стр. 602—603.

[70] Н. Котляревский, Декабристы А. Одоевский и А. Бестужев, П. 1907, стр. 116. Ср. ещё образ жизни М. А. Щербинина (Ю. Щербачёв, Приятели Пушкина М. Щербинин и П. Каверин, М. 1913, стр. 36).

[71] П. Чаадаев вышел в отставку в 1821 г.; знакомство Пушкина и Чаадаева состоялось в 1816 г.

[72] М. Жихарев, П. Я. Чаадаев, Из воспоминаний современника, «Вестник Европы», 1871, июль, стр. 182—183.

[73] «Мелочи о П. Я. Чаадаеве». Из рукописи Жихарева, «Вестник Европы», стр. 398. Враждебный Чаадаеву поэт Языков в 40-х годах называл его: «...красивый идол строптивых душ и слабых жён». См. ещё «Записки Вигеля», ч. 6, М. 1892, стр. 20.

[74] Т. е. пресыщенный человек.

[75] М. Гершензон, П. Я. Чаадаев, П. 1908, стр. 36.

[76] А. О. Смирнова-Россет, Автобиография, изд. «Мир», 1931, стр. 120.

[77] См. в ранней лирике Пушкина:

Кого жена по моде
Рогами убрала.
(«Городок», 1814)

И мужа модные рога.
(Послание «К В. Л. Пушкину», 1817)

[78] «Записки кн. М. Н. Волконской», изд. 2-е, 1914, стр. 61—62. Ср. по этому поводу критические замечания Б. Недзельского «Пушкин в Крыму», Симферополь 1929, стр. 85.

[79] Ср. в III главе, X строфа, о Татьяне:

Она с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты.

[80] Ю. Н. Щербачёв, Приятели Пушкина. Михаил Андреевич Щербинин и Пётр Павлович Каверин, М. 1913, стр. 31.

[81] Н. Рожков, Русская история, т. X, стр. 117—118.

[82] Ср. запись Н. Тургенева в дневнике 1818 г.: «Как посмотришь, в каких руках управление, в каких руках финансы, торговля и промышленность, полиция, правосудие, законодательство! Что после этого остаётся для честных людей?» — «У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость самая простая, просвещение и, одним словом, всё, что не позволяет земле превратиться в пространную пустыню или вертеп разбойников!»

[83] Ср. замечания Белинского о «страдающем эгоисте» Онегине: «Его можно назвать эгоистом поневоле; в его эгоизме должно видеть то, что древние называли «fatum». Благая, благотворная, полезная деятельность! Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал в ней своего удовлетворения? Зачем? — затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать...»

[84] Ср. в стих. «Поэт», 1830 г.:

...Но ты останься
Твёрд, спокоен и угрюм.

[85] В первоначальном замысле поэта тема: «рано чувства в нём [Онегине] остыли» раскрывалась на фоне политической жизни; онегинская охлаждённость, его мрачный скептицизм были прямым ответом на политическую реакцию в Европе и в России; в 1823 г. идейный кризис переживали в итоге крушения на западе революционного движения Пестель, Н. Тургенев и др. После XXXVI строфы I гл., писавшейся, как известно, в 1823 г.

(«Но был ли счастлив мой Евгений?»), в рукописи романа находится отрывок незаконченного стихотворения:

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил? (и т. д.)

«Остановка» в политической жизни народов была причиной, что у Онегина «сердца жар погас», что он стал «угрюм». См. конец XLVII строфы I гл., где брошено указание на первоначальные мечты Онегина и образом колодника из тюрьмы подчёркнута безысходность положения в изменившихся общественных условиях:

Как в лес зелёный из тюрьмы
Перенесён колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

[86] Ср. в послании «Чаадаеву» (1821): «В изгнании моём... врагов моих предал проклятию забвенья».

[87] Н. Дашкевич, Статьи по новой русской литературе, П. 1914, стр. 212—213.

[88] Ср. высказывания о Грибоедове Пушкина: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 г. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и порывы, неизбежные спутники человечества, всё в нём было необыкновенно привлекательно».

[89] См. комментарий к стихотворению: «Я пережил свои желанья» в этюде С. Гессена, Пушкин в Каменке («Литературный современник», 1935, № 1).

[90] Проф. В. М. Штейн, Развитие экономической мысли, т. I, стр. 141—142.

[91] В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, П. 1909; А. Н. Пыпин, Русские отношения Бентама, в сборн. «Очерки литературы и общественности при Александре I», П. 1917.

[92] «Мнемозина», изд. В. Одоевским и В. Кюхельбекером, ч. IV, М. 1825, стр. 35 — «Ещё два аполога. I. Новый демон».

[93] См. Л. И. Поливанов, Демон Пушкина, «Русский вестник», 1886, август; В. В. Сиповский, Пушкин. Жизнь и творчество, 1907, стр. 598—600; Н. О. Лернер, Примечания к т. II Сочинений Пушкина, изд. Брокгауз — Эфрон, стр. 618—623.

[94] Река в Италии, впадающая в Адриатическое море.

[95] «Русский архив», 1901, № 6, стр. 187.

[96] Приятное безделье.

[97] О, человечество!

[98] Сочинения К. Н. Батюшкова, СПБ 1886, т. III, стр. 101—103.

[99] М. Горький, История русской литературы. Гослитиздат, 1939, стр. 88.

[100] Б. Недзельский, Пушкин в Крыму, стр. 54.

[101] Вопросу об утаённой любви Пушкина к М. Н. Раевской посвящены этюды П. Е. Щёголева в сборн. «Пушкин», изд. 2-е, и Б. М. Соколова «Кн. Мария Волконская и Пушкин», М. 1922.

ГЛАВА ВТОРАЯ

[1] «Остафьевский архив», III, 1899, стр. 73—74.

[2] Пушкин, Языков и Вульф.

[3] П. М. Устимович, Михайловское, Тригорское и могила Пушкина, очерк, изд. Академии наук, 1927.

[4] А. П. Керн, Воспоминания, изд. «Academia», 1929, стр. 254—256.

[5] По словам П. М. Устимовича, «на барский дом он не походил, так как был приспособлен под господский из заводского строения».

[6] Ср. в «Деревне»: «Там тягостный ярем до гроба все влекут».

[7] Н. Рубинштейн, Экономическое развитие России в начале XIX в. как основа движения декабристов, журн. «Каторга и ссылка», 1925, № 8, стр. 22—23.

[8] Н. Рубинштейн, Цит. соч., журн. «Каторга и ссылка», 1925, № 8, стр. 33.

[9] Н. Рубинштейн, Цит. соч., журн. «Каторга и ссылка», 1925, № 8, стр. 33.

[10] Ср. показания декабриста А. А. Бестужева: «А как ропот народа, от истощения и злоупотребления земских и гражданских властей происшедший, грозил кровавою революцией, то [тайные] общества вознамерились отвратить меньшим злом большее и начать свои действия при первом удобном случае». «Мы более всего боялись народной революции», заявил Бестужев, объясняя, почему он с Рылеевым, написав народным языком либеральную песню («Ах, скучно мне») для распространения в народной массе, быстро «одумались»: «народная революция не может быть не кровопролитна и не долговременна, а подобные песни могли бы оную приблизить» и потому «в народ и между солдатами никогда их не пускали» («Восстание декабристов», т. I, стр. 458).

В том же направлении думал один из влиятельных деятелей Северного общества, С. Трубецкой: «Должно представить помещикам, что рано или поздно крестьяне будут свободны, что гораздо полезнее помещикам самим их освободить, потому что тогда они могут заключить с ними выгодные для себя условия, что если помещики будут упорствовать и не согласятся добровольно, то крестьяне могут вырвать у них себе свободу, и тогда отечество может быть на краю бездны. С восстанием крестьян неминуемо будут ужасы, которых никакое воображение представить себе не может. Государство сделается жертвой раздоров и, может быть, добычею честолюбцев... Вся слава и сила России может погибнуть, если не навсегда, то на многие лета. Члены общества были молодые люди, не имевшие ещё собственных поместьев, они не могли дать примера согражданам освобождением собственных крестьян, и потому им предстоял один только способ действия — убеждение словом».

[11] «Остафьевский архив», т. I, стр. 14—17.

[12] Н. К. Кульман, Из истории общественного движения в России в царствование императора Александра I, П. 1908, оттиск из Известий Отделения русского языка и словесности Академии наук, т. XIII, 1908, кн. 1.

[13] Молоток — один из символов масонства. Франкмасоны — по-французски означает «вольные каменщики».

[14] Ю. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, журн. «Литературное наследство», № 16—18, стр. 368.

[15] Там же, стр. 369.

[16] «Мнемозина», ч. 2, стр. 150.

[17] «К друзьям», «Нереида», «Редеет облаков летучая гряда», «Домовому» и др. в «Полярной звезде» на 1824 г. (цензурное разрешение книги — 20 декабря 1823 г.).

[18] «Русская старина», 1888, ноябрь, стр. 327.

[19] Подчёркнуто автором.

[20] См. в варианте:

Он, впрочем, уважал решимость,
Гонимой славы нищету,
Талант и сердца правоту,
Гонимый гений, простоту...

[21] Варианты:

И мира [жизни] тайны роковые...
Вселенной тайны роковые.

[22] П. Щёголев, Исторические этюды, изд. 2-е, стр. 167.

[23] См. рассуждения проф. Павлова: «Теории от практики никак отделить нельзя: одна неминуемо предполагает другую. Практика есть теория в действии, а теория есть практика в мысли» («Земледельческий журнал» 1823, кн. VII).

[24] Ср. указание Пушкина (в VII главе) на В. А. Левшина, тульского помещика, автора многочисленных работ по сельскому хозяйству («Полная хозяйственная книга», М. 1813—1815).

[25] «Литературное наследство», № 16—18, стр. 362—363.

[26] Там же, стр. 364.

[27] То-есть родных, русских. В черновой рукописи в споре с Ленским о русских поэтах Евгений «венчанных наших сочинений, достойных похвал, немилосердно поражал». В той же тетради, через одиннадцать листов, т. Зенгер обнаружила конец окончания этой строфы, где Онегин называл Жуковского — «Парнаса чудотворца» — «царедворцем», а о Крылове говорил, что тот «разбит параличом». Комментатор этого фрагмента указывает, что точка зрения Онегина на Жуковского была отголоском мнения декабристски настроенных кругов, где была распространена эпиграмма А. Бестужева («Из савана оделся он в ливрею» и т. д.); о поражённом в 1823 году параличом Крылове ходила молва, что он перестал писать басни; Рылеев написал эпиграмму:

Нет одобрения талантам никакого:
В России глушь и дичь.
О даровании Крылова
Едва напомнил паралич.

См. сборник «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», 1941, стр. 43—47.

[28] Выражение «страсть нежная» (см. VIII строфу I гл.) было ходовым уже в XVIII в. В «Собрании разных песен» М. Д. Чулкова, ч. I—III, 1770—1773 (в академич. изд. 1913 г., стр. 737), в отделе «Театральных песен»:

Любовь сердцам угодна,
Страсть нежная природна.

У Пушкина встречаем в лицейских стихотворениях:

Восторги страсти нежной...
О жертва страсти нежной.

В поэме «Руслан и Людмила»:

Так, сердце я теперь узнала,
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено.

[29] Мы не должны забывать, что тема о страстях занимала значительное место в сочинениях Карамзина и Жуковского, которые отражали интерес к ней известных кругов дворянства в годы перелома и изменения общественной психологии. См. стихотворение Карамзина «Страсти и бесстрастие»:

Как беден человек! нам страсти — горе, мука;
Без страсти жизнь — не жизнь, а скука.

См. также «Рыцарь нашего времени», «Разговор о счастье» Карамзина; см. статейку Жуковского: «Жизнь и источник» (1798), его же стихотворения «Мир» (1800), «К человеку» и др.; речь о страстях в Дружеском литературном обществе («Что мы получим от бесстрастия? Мы только вооружимся против радостей жизни... пускай страсть повинуется рассудку» и пр.).

30 Софья Вайнштейн, Госпожа Сталь. Мыслитель передовой эпохи, П. 1902, стр. 24—26.

31 Н. О. Лернер, Рассказы о Пушкине, 1929, «У возможных истоков «Евгения Онегина».

32 Рылеев, Полное собр. соч., под ред. А. Г. Цейтлина, «Academia», М. — Л. 1934, стр. 256—257.

33 Ср. о Татьяне: «с утра одета»; «в открытом платьице».

34 См. также гл. III, строфа XII. Для Ленского — XXVI строфа, VI гл.

35 В черновой рукописи первоначально было:

Вы можете, друзья мои,
Себе [её лицо] представить сами,
Но только с чёрными глазами.

36 Судя по XLI строфе гл. VII, так звали жену Дмитрия Ларина.

37 М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, 1939, стр. 103, 104.

38 Н. О. Лернер, Из «Журнала» И. М. Снегирёва о Пушкине, Пушкин и его современники, выпуск XVI, стр. 47.

39 Ср. в романе: «Весёлый мой закат» (III, XIII).

40 Ср. в стихотворении «К вельможе» (1830):

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живёшь.

41 Ср. в романе: «На что грустить?» (VII, XIV).

42 Л. П. Гроссман, Борьба за стиль, М. 1927.

43 «Дневник Кюхельбекера» изд. «Прибой», Л. 1929, стр. 39.

44 Ср. страничку воспоминаний восхищённого читателя пушкинского романа: «С появлением I главы «Онегина» все читали и перечитывали эту поэму, многие, не учив, знали наизусть эти лёгкие и прекрасные стихи. Картины, мысли, остроты и умные замечания из обыкновенной жизни в ней так верны природе, что всякому при встрече с милым существом или с человеком смешным и порочным невольно приходили на ум стихи из «Онегина». Это учебник светский, не всегда нравственный, но столько полный по всем предметам, что многие жили умом Онегина, и те, которые хотели сказать или написать что-либо своё в том же роде, никогда и ничего не сказали лучше Пушкина» (М. М. Попов, «Русская старина», 1874, август, стр. 698).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1 «Лицей, или Курс литературы древней и новой» был издан Лагарпом в 1799 г.

2 76: Phillida mitte mihi; 78: Phillida amo ante alias.

3 Герой романа Бенжамен Констана (см. ниже, комм. к XXII—XXIII строфам VII гл.).

4 В. В. Сиповский, Из истории русского романа и повести, ч. 1, П. 1903, стр. 254.

5 Перевод с французского Н. Данилевского, 4 части, 1766.

6 Перевод с французского, 1761.

[7] «Непостижимая фортуна, или Похождения Мирамонда», роман в 3 частях Ф. Эмина, СПБ 1763. В предисловии автор указывал, что главной причиной, побудившей его издать своё сочинение, было «подвергнуть нежные сердца к соболезнованию о наших несчастиях».

[8] По предположению Л. Поливанова, «Приключения Милорда, или Жизнь молодого человека, бывшего игралищем любви», пер. с франц., 1771.

[9] Карамзин, Соч., т. IX, стр. 22—24.

[10] Трагедия Ф. Шиллера.

[11] Поэма Байрона.

[12] «Каин» — мистерия Байрона.

[13] «Ган Исландец» — роман В. Гюго.

[14] «Северная Минерва», 1832, ч. 3, «О нынешних писателях».

[15] «Сын Отечества», 1833.

[16] См. подробности в статье М. Н. Мотовиловой. Нодье в русской журналистике пушкинской эпохи, сборник «Язык и литература», т. V, Л. 1930.

[17] Н. Сумцов, «Стихи об Арине Родионовне», в «Харьковском университетском сборнике в память А. С. Пушкина», 1900.

[18] П. Вяземский, Соч., т. II, стр. 23.

[19] Предполагая издать отдельной книгой первые шесть глав, Пушкин в 1829 г. в своём экземпляре исправил: *читать журналы.*

[20] По словам П. А. Вяземского, вместо стиха

Иль при разъезде на крыльце

прежде было:

Иль у Шишкова на крыльце.

[21] П. Устимович, К XXVIII строфе III гл. «Евгения Онегина», «Русская старина», 1886, ноябрь, стр. 510.

[22] Другое указание критики (у Пушкина первоначально в III главе, V строфе, было: как у Вандиковой Мадоне) было принято им во внимание. Таким образом, поэт выбросил диалектическую форму (ср. у Грибоедова в «Горе от ума»: у вдове), сделав этим уступку общепринятому литературному говору.

[23] Богданович использовал в своей поэме роман французского писателя Лафонтена «Любовь Амура и Психеи».

[24] «Русская книга о Бетховене», М. 1927, стр. 114.

[25] «Остафьевский архив», П. 1899, т. III, стр. 24.

[26] В. Виноградов, Язык Пушкина, стр. 225—226.

[27] «Северная пчела», 1827, № 24, «Новые книги».

[28] «Московский вестник», 1828, ч. 7, № 1.

[29] Г. И. Соколов рассказывал М. П. Погодину в письме от 4 февраля 1829 г. об украинской дворянке-старушке, окружённой полдюжиной воспитанниц, которые зачитывались новейшими сочинениями и особенно Пушкиным. Старушка, вслушиваясь в их беспрестанные разговоры о текущей словесности, получила также охоту к литературе и заставила их громко читать себе всё, что ни выходило новенького. Дело дошло до письма Татьяны; тогда оскорблённая честность её громко возопила, и она с сердечным негодованием сказала: «Ека проклята дивка! Нехай сиби писала, да в свит бы не выдавала!» И ещё очень сердилась: зачем Татьяну в свит вывезли».

[30] «Прежде наша ошибка состояла в том, что мы думали, что для каждой души есть только одна родная ей душа, и потому сбились на фатализм. Нет, у миродержавного промысла нет лабораторий для подобных двойчаток, нет этой аккуратной и отчётливой экономии. Для каждого из нас существует множество родных душ, стоящих в отношении к нам на большей или меньшей степени родства... Первая встреча решает нашу

судьбу, и счастливая, разделённая любовь есть встреча с родной вполне душой, а несчастная, неразделённая — с душою, которая стоит в отношении к нашей душе только на некоторой степени родства и которая только тревожит нас, но не удовлетворяет. Такого рода любовь продолжается только до встречи с вполне родной душой» (из письма к Бакунину, 1837 г.).

[31] Enjambement *(франц.)* — несовпадение ритмической и синтаксической единицы, перенесение части фразы из одного стиха в другой.

[32] См. отражение этих песен в южных поэмах: черкесская песня в «Кавказском пленнике»; песня Земфиры в «Цыганах» и др.

[33] В. Ф. Миллер, Пушкин как поэт-этнограф, М. 1899, стр. 45.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

[1] Ср. XXXII строфу VI гл.

[2] Е. Ф. Будде, Опыт грамматики языка Пушкина, стр. 101.

[3] Карамзин писал в этюде «Чувствительный и холодный. Два характера»: «Давно уже сравнивают любовь с розою, которая пленяет обоняние и глаза, но колет руку: к несчастию, терние долговечнее цвета!.. Эраст, наслаждаясь восторгами, испытывал и неудовольствия: иногда сам скучал, иногда им скучали; иногда страдал от своей верности, иногда мучился от непостоянства любовниц. Надобно заметить, что и самые блестящие молодые люди по большей части входят в связи с женщинами ветреными, которые избавляют их от трудного искания: мудрено ли, что любовь и непостоянство имеют почти одно значение в свете?.. Одним словом, Эраст или блаженствовал, или терзался, или в отсутствии живых чувств томился несносною скукою. Леонид не знал счастья, но не искал его и был доволен мирным спокойствием души ясной и кроткой. Первый умом обожал свободу, но сердцем зависел всегда от других людей; второй соглашал волю свою с порядком вещей и не знал тягости принуждения» (Карамзин, Соч., М. 1820, т. IX, стр. 263—265).

[4] Карамзин, Соч., т. VI, стр. 63—64.

[5] См. ниже комментарий к образу Зарецкого (IV—VIII строфы VI гл.).

[6] Уж голос клеветы не мог меня обидеть:

Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор.
Отвыкнул от вина и стал картёжный вор.

[7] Ср. также в письме Пушкина к Катенину 14 сентября 1825 г., где поэт вспоминал один из лучших вечеров своей жизни на чердаке кн. Шаховского.

[8] Л. Майков, Пушкин, П. 1899, стр. 177.

[9] См., например, пафос торжественной оды в эпилоге «Кавказского пленника».

[10] Вариант для двух последних стихов:

И шляпу с кровлею как дом
Подвижный...

[11] Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, 1925.

[12] «Остафьевский архив», т. III, стр. 117.

[13] В. С. Нечаева, Из архива Баратынского, «Утренники», I, стр. 70—71.

ГЛАВА ПЯТАЯ

[1] См. этюд «Кн. Вяземский и Пушкин» в сборнике «Беседы», М. 1915.

[2] Со ссылкой на «Новейший всеобщий и полный песенник», СПБ 1819, В. Чернышев, А. С. Пушкин среди творцов и носителей русской песни, «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX.

[3] М. П. Самарин, Из маргиналий к «Евгению Онегину». Место и роль сна Татьяны в композиции «Евгения Онегина». Оттиск из «Наукових записок науководослідчої катедри історії української культури», 1927, № 6, стр. 310.

[4] «Череп на гусиной шее в красном колпаке...» Не было ли намёка на какого-нибудь реакционера с подобной наружностью, которому Пушкин для пущей иронии надел головной убор французских революционеров? Известно, что с 1792 г. «красный колпак» вошёл в моду в Париже среди членов Общества друзей конституции. Ср. в стих. В. Филимонову (1828):

...Но старый мой колпак изношен,
Хоть и любил его поэт.
Он поневоле мной заброшен:
Не в моде нынче красный цвет.

[5] Д. Д. Благой, Социология творчества Пушкина, изд. 2-е. Изд. «Мир», стр. 133.

[6] В. Ф. Боцяновский, Незамеченное у Пушкина, «Вестник литературы», 1921, № 6—7.

[7] То-есть безрогие.

[8] В. Сиповский, Пушкин, стр. 470.

[9] В. Сиповский, Из истории русского романа и повести, ч. I, XVIII век, СПБ 1903, стр. 291.

[10] Заря багряною рукою
От утренних, спокойных вод
Выводит с Солнцем за собою
Твоей державы новый год.

[11] Ср. по поводу первого стиха ломоносовской оды признания П. А. Вяземского:

Я, старожил былого века,
Нередко старца стих твержу,
Но каюсь, грешный, не без смеха
Я на зарю его гляжу.
«Заря багряною рукою»
Напоминает прачку мне,
Которая бельё зимою
Полощет в ледяной волне.

(«В дороге и дома», М. 1862, стр. 319)

ГЛАВА ШЕСТАЯ

[1] См. заметки С. Бонди в «Пушкинском сборнике памяти С. А. Венгерова», стр. 47—49.

[2] Ср. пародийный тон в описании дуэли в «Капитанской дочке» (1836).

[3] Ср. в стихотворении И. А. Крылова «К реке М.»:

Куда же дни златые скрылись?

[4] С. Савченко, Элегия Ленского и французская элегия, сборник

«Пушкин в мировой литературе», М. 1926; В. Гиппиус, К вопросу о пушкинских плагиатах, «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX.

[5] «Полное собрание сочинений П. А. Вяземского», т. VII, П. 1882, стр. 320.

[6] «Разговоры Пушкина». Собрали Сергей Гессен и Лев Модзалевский. Изд. «Федерация». М. 1929, стр. 154—155.

[7] В варианте — политическая деятельность с концом Кондратия Рылеева (Ленский мог быть «повешен, как Рылеев»).

[8] Наоборот.

[9] А. И. Герцен, Соч., т. VI, П. 1919, стр. 357.

[10] В. Г. Белинский, Сочинения Александра Пушкина, статья VIII.

[11] «Пушкин и его современники», выпуск XXXVIII—XXXIX, стр. 87.

[12] Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VI, изд. Академии наук СССР, 1937, стр. 651.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

[1] См. ещё «Воспоминания об А. С. Пушкине» Л. Павлищева, стр. 113—115, М. 1890.

[2] В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. III, 1882, стр. 127.

[3] «Дневник Пушкина», под ред. Б. Л. Модзалевского, стр. 101.

[4] Варианты к XXXVII строфе.

[5] «А. С. Пушкин в Москве», М. 1930, стр. 31—33.

[6] Ларины приехали в Москву в конце 1822 г.

[7] В этой же строфе выражение «плескам дружеским» (см. ещё в XXXIII строфе V гл. — плески, клики; при громе плесков — гл. VI; лебединые клики — VII гл.) вновь уводит к поэтическому словарю XVIII в.: Ломоносов, Херасков, Капнист, Николев, Державин применяли и плески и клики.

[8] См. В. Виноградов, Язык Пушкина, стр. 182—183.

[9] «Пушкин и его современники», вып. XXXVII, статья Н. В. Измайлова, стр. 90—92. Ср. у М. Гершензона, Грибоедовская Москва, изд. 2-е, стр. 122—135.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

[1] Оба поэта уже были упомянуты в романе; из старинного стихотворения И. И. Дмитриева «Освобождённая Москва» (1795) двустишие было даже взято в виде одного из эпиграфов к VII гл. Поэтому не представляется возможным согласиться с объяснением, что Пушкин потому-де не включил в окончательный текст упоминаний о Дмитриеве и Жуковском, что эти писатели были ещё живы.

[2] П. А. Вяземский заметил: «Вероятно, у Пушкина было: полночных заговоров; а то нет смысла».

[3] Вариант:

Один затерян и забыт.

[4] Чужой в толпе (в кругу) (средь) тех и других.

[5] Де-Кюстин — французский автор мемуаров о николаевской России.

[6] Герцен, Соч., том VI, стр. 358, 360.

[7] О Мельмоте см. выше, комм. к XII строфе III гл.

[8] Ср. у Пушкина сатирические строки ещё до ссылки: «и мистика придворного кривлянья» (квакер — трясущийся).

[9] «Красный архив», т. 37, стр. 144, 145, 150, 159, 165, 166.

[10] Герцен, т. XVIII, стр. 228.

[11] Дневник Кюхельбекера, 1929, стр. 43.

[12] «А. С. Пушкин», изд. «Никитинские субботники», стр. 197.

[13] «Московский Пушкинист», II, стр. 175—181.

[14] А. О. Смирнова, Записки, дневник, воспоминания, письма. С примеч. Л. В. Крестовой, 1929, стр. 203, 414.

[15] Н. К. Пиксанов, Из анализов «Онегина», сборник «А. С. Пушкин», изд. «Никитинские субботники», стр. 198—200.

[16] В. Виноградов, Язык Пушкина, стр. 332.

[17] Белинский повторял в статье свои давние мысли, ещё в 1837 г. выраженные им в письме к М. Бакунину: «Онегин презирал женщин, победа без борьбы для него не имела цены. Он полюбил Татьяну, как скоро для его чувства предстало препятствие, борьба. И его любовь была глубока» («Письма», т. I, стр. 164).

[18] В. Виноградов, Язык Пушкина, 1935, стр. 226—227. Ср. П. А. Вяземский против последних двух стихов в письме Онегина сделал отметку: «Почти то же, что в конце письма Татьяны».

[19] Об интересе к Гердеру в конце 20-х годов свидетельствует, например, переводная его статья в «Московском Телеграфе», 1828, ч. 20, а также перевод книги Гердера, сделанный М. П. Погодиным: «Мысли, относящиеся до философии истории человечества», М. 1829.

[20] Н. О. Лернер, Пушкинологические этюды, сб. «Звенья», V, стр. 104.

[21] См. ещё славяно-русскую условность: «Над нею [Татьяной] вьётся Лель».

[22] Ср. вариант II строфы V гл.:

Ямщик *весёлый,* стоя правит,
И колокольчик *удалой...*
Гремит под новою дугой.

[23] Основная масса русского экспортного хлеба шла за границу через Одессу.

[24] Эти территориальные термины употреблены здесь в том условном смысле, какой он имел с конца XVIII в. в современном Пушкину дворянском обществе (ср. у Пушкина в «Мыслях на дороге» противопоставление «поместья» «столице»). В плане социальном и город и деревня тогда уже входили в круг капиталистических отношений.

[25] Ф. Е. Корш, Разбор вопроса о подлинности окончания «Русалки» А. С. Пушкина по записи Д. П. Зуева, П. 1899, стр. 83.

[26] Н. К. Пиксанов, «Из анализов Онегина», сб. «А. С. Пушкин», изд. «Никитинские субботники», стр. 189—190.

[27] Раньше Достоевского ту же оценку Татьяны, «самого полного очерка русского женственного идеала», дал в 1864 г. А. Григорьев в статье «Парадоксы органической критики».

[28] Г. Успенский, «Праздник Пушкина», Собр. соч., изд. А. Ф. Маркса, т. VI, стр. 599—603.

[29] Ср. у Герцена: «Онегин, начиная стареть, молодеет через любовь».

[30] Т. е. Полевого.

[31] «Смотрю на круг друзей наших, прежде оживлённый, весёлый, и часто с грустью повторяю слова Сади или Пушкина, который нам передал слова Сади: «Иных уж нет, другие странствуют далече».

[32] М. К. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1825—1855 гг., изд. 2-е, стр. 258.

[33] «Звенья», т. V, стр. 111.

[34] Пронунциаменто *(исп.)* — государственный переворот, произведённый в результате военного заговора.

[35] Герцен, Полное собр. соч., под ред. М. К. Лемке, т. XVII, стр. 229—277, т. VI, стр. 355—357, 360, 363.

[36] Добролюбов, Полное собр. соч., под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского, т. I, М. 1934, стр. 117.

[37] Ср. мнение А. П. Щапова об Онегине (Сочинения, т. III, стр. 367—368).

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА

[1] Вариант:

Дубравы, степи и моря.
Дубравы, горы и моря.

[2] Включены выпущенные поэтом отрывки и почти законченные черновые, дающие маршрут путешествия Онегина.

Знаком 〈 〉 обозначены строфы, выпущенные Пушкиным из первопечатного текста.

[3] В. И. Маслов, Литературная деятельность К. Ф. Рылеева, Киев 1912, стр. 200 (со ссылкой на В. И. Семевского, Политические и общественные идеи декабристов, стр. 176). В черновой строфе упоминается Волхов с мостом.

[4] Упоминание о «законодателе Ярославе», с именем которого связано было представление о памятнике древнерусского права — «Русской правде», не шло ли по ассоциации от труда Пестеля, имевшего то же заглавие — «Русская правда»? Ср. в показаниях Пестеля: «История Великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей» (Н. Павлов-Сильванский, Декабрист Пестель перед Верховным уголовным судом, стр. 29).

[5] То-есть с вечевым.

[6] Ср. отрывок из поэмы «Вадим».

[7] Ср. в отрывке из драмы «Вадим»:

Младые граждане кипят и негодуют...

[8] П. А. Попов, Новые материалы о жизни и творчестве А. С. Пушкина. «Литературный критик», 1940, № 7—8, стр. 231.

[9] Ср., например, признания Г. С. Батенкова (декабриста), который в 20-х годах был членом совета военных поселений, что «военные поселения представили (ему) страшную картину несправедливостей, притеснений, наружного обмана, низостей — все виды деспотизма».

[10] Дневник А. Н. Вульфа, 1915, стр. 52.

[11] Московский генерал-губернатор.

[12] Ироническое применение акта короля Карла X: 6 ордонансами 26 июля 1830 г. была нарушена конституционная хартия, что послужило к общественному движению против династии Бурбонов.

[13] Карточная азартная игра.

[14] Письма Пушкина к Е. М. Хитрово 1827—1832 гг. Труды Пушкинского дома, вып. XLVIII, Л. 1928.

[15] Меркантилизм — торговая система (наибольший вывоз своих обработанных изделий и наименьший ввоз чужих) в западных государствах XVI—XVIII вв., возникшая в эпоху европейских военных грабежей в Новом свете, отличалась цинизмом, всяческим надувательством эксплоатируемых. У Пушкина «меркантильный» в смысле — торгашеский (ср. у Гоголя в «Невском проспекте»).

[16] М. Балабанов, Очерки по истории рабочего класса в России, ч. 1, стр. 22.

[17] По словам Е. Н. Ушаковой (в письме к брату от 26 мая 1827 г.), «любимое слово Пушкина — тоска».

[18] Крым-Гирей-хан любил грузинку Дилару, умершую в 1764 г. Сохранилось предание, которым воспользовался в своей поэме Пушкин, что возлюбленной хана была польская княжна Мария Потоцкая.

[19] Фонтан слёз.

[20] Дворец перестраивался в 1783 г. для Екатерины II. Тогда и был сооружён фонтан.

[21] Н. О. Лернер, Пушкин в Одессе, Соч. Пушкина под ред. Венгерова, т. II, стр. 272.

[22] Об Отоне см. «Пушкин, Статьи и материалы», III, Одесса 1927.

[23] См. в «Вестнике Европы», 1824, № 6, стр. 158—159: «В Одессе (пишут в одном немецком журнале) существует несколько уже лет Итальянский театр, имеющий таких актёров, которые смело могут явиться на всяком театре Европы. Директор тамошней труппы есть г. Бонаволио, сочинитель текста в опере Аргеса. Репертуар состоит из множества пьес разнообразных, и Россини в Одессе, как и везде, есть любимец публики. Его «Севильский цырюльник», «Сорока-воровка», «Черентола» и мн. др. обыкновенно наполняют театр любителями музыки».

[24] Н. П. Кашин, Два столетних юбиляра, оттиск из «Известий по русск. языку и словесности» Академии наук СССР.

[25] В. Г. Белинский, Сочинения, т. IV, под редакцией Венгерова, стр. 439.

[26] М. А. Цявловский, Книга воспоминаний о Пушкине, изд. «Мир», 1931, стр. 256—260.

[27] Римские жрецы-гадатели.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ (сожжённая)

[1] В первом издании романа (1833), поместив отрывки из VIII гл., он заявил, что «решился выпустить эту главу по причинам важным для него, а не для публики».

[2] Н. О. Лернер, Пушкин о декабристах (необходимая поправка), «Речь», № 155, 1913, 10 июня («Литературная неделя», стр. 3). Его же, Примечания к X гл. в т. VI сочинений Пушкина, под ред С. А. Венгерова, СПБ 1915.

[3] «Московский Пушкинист», II, 1930, стр. 44.

[4] П. Морозов, Минувший век. Литературные очерки, П. 1902, стр. 391.

[5] Может быть, владыка? Ср. «Недвижный страж дремал», где Александр I дважды был назван «владыкой севера».

[6] См., например, в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 19 февраля 1821 г., где Александр I противопоставляется Наполеону: «Наполеон, ополчённый богатырскою решимостью в достижении цели своей, некраснеющим лбом встречал все преграды, противопоставленные ему истиною, и шпагою несокрушимою запечатлевал свои политические парадоксы. Но мы, которые утра свои проводим в манежах и на парадных площадках, которые хотим слыть либералами при женских туалетах и деспотами перед миллионами штыков, которые не имели ни одной мысли, а много лишних солдатов, что, кроме стыда настоящего и бледного, но многими пятнами означенного листа в истории, ожидает нас в награду за двуличное поведение и за всегда зыблющееся направление мыслей и правил?» («Остафьевский архив», т. II, стр. 166).

[7] См. также приписываемую Пушкину эпиграмму «Двум Александрам Павловичам».

[8] Б. Модзалевский, К истории «Зелёной лампы», сб. «Декабристы и их время», т. I, стр. 56.

[9] См. письмо. П. Вяземского к А. И. Тургеневу от 13 октября 1818 г. («Остафьевский архив», т. I, стр. 130) и его стихотворение «Русский бог» (1828).

[10] «Записки И. Д. Якушкина», М. 1925, стр. 11.

[11] Н. Дружинин, Декабрист Никита Муравьёв, Москва, 1933, стр. 76.

[12] Папа Пий VII принимал участие в церемонии коронования Наполеона (1804).

[13] Ср. в стихотворении «Воспоминания в Царском селе» (1815): Наполеон «исчез, как утром страшный сон».

[14] Из зачёркнутой в рукописи строфы.

[15] В июле 1820 г. было восстание в Сицилии; в августе 1820 г. — в Португалии; в марте 1821 г. — революция в Пьемонте.

[16] В сражении с французами 5 октября 1813 г.

[17] Южная оконечность Балканского полуострова.

[18] Спартанский царь, погибший в битве с персами при Фермопилах (480 г. до н. э.).

[19] Афинский вождь, разбивший персов при Саламине (480 г. до н. э.).

[20] «Я негодую, видя, что на долю этих жалких людей выпала священная обязанность быть защитниками свободы», писал Пушкин В. Л. Давыдову в 1824 г.

[21] Александр принимал участие на конгрессах европейских государей: Ахенском (1818), в Троппау (1820), в Лайбахе (1821), в Вероне (1822), поставивших своей задачей бороться с «преступной заразой» революций.

Все комментаторы X главы печатали:

Наш царь в покое говорил.

Проф. Н. Н. Фатов предложил чтение, более соответственное исторической действительности. Ознакомившись с рукописью X главы, я соглашаюсь с этим новым чтением, так как в рукописи совершенно точно написано: *конгр.*

[22] Ср. в стихотв. «Noël»:

Я сыт, здоров и тучен...

[23] Ср. в стихотв. Н. М. Языкова памяти Рылеева (7 августа 1826 г.) свободы искры огневые, и в ответном послании Пушкину А. И. Одоевского (1827):

Наш скорбный труд не пропадёт,
Из искры возгорится пламя...

[24] Этот стих зачёркнут. Над словом *куплеты* зачёркнуто: *за вистом.*

[25] Зачёркнуто.

[26] Вариант: *узлы с узлами.* Пушкин для обрисовки конспиративных ячеек тайного общества выбирал подходящее выражение среди смежных слов: *петли, узлы, сеть.*

[27] Вариант: *и скоро сетью...* (зачёркнуто).

[28] «Восстание декабристов», т. II, стр. 255; см. также стр. 256—257, 263.

[29] А. Шебунин, Н. И. Тургенев о тайном обществе декабристов, статья в сб. «Декабристы и их время», изд. общества политкаторжан.

[30] См. в Записках Басаргина: «Мы много говорили между собою всякого вздора и нередко в дружеской беседе за бокалом шампанского, особенно когда доходил до нас слух о каком-либо самовластном жестоком поступке высших властей, выражались неумеренно о государе». Раевские (Александр и Николай), будучи привлечены к следствию по делу восстания 14 декабря, вскоре (17 января 1826 г.) были освобождены с оправдательными аттестатами. М. Ф. Орлов, вышедший в 1821 г. из Союза благоденствия, более не входил в тайное общество и, арестованный 21 декабря 1825 г., в июле 1826 г. был выпущен из крепости, получив отставку от военной службы. Из перечисленных Пушкиным лиц только В. Л. Давыдов был членом тайного общества и пострадал за принадлежность к декабристам.

[31] Сам Николай I в 1831 г. писал о Союзе благоденствия: М. Ф. Орлов «сделался главой заговора, хотя вначале не столь преступного, как впоследствии» («Красный архив», т. VI, стр. 231).

[32] Первоначально:

Тут Лунин резкий предлагал
Свои губительные меры.

На другом листе:

Тут Лунин дерзко предлагал.

[33] Варианты: *им развивал... Стихи читал... Читал свою сатиру Пу*[*шкин*].

[34] Зачёркнуто:

Как обречённый предлагал.

[35] Варианты:

В своей России счастье видя.
Кумир в своей России видя.

[36] Вариант:

Боготворя свой идеал.

Стихотворная строка *Одну Россию в мире видя,* по указанию Б. С. Мейлаха, повторяет слова, которые Н. И. Тургенев избрал в виде лозунга для предполагавшегося в 1819 г. политического журнала «Есть только одна Россия в мире», (Б. Мейлах, А. С. Пушкин, 1949, стр. 83).

[37] Зачёркнуто: *цепи.*

[38] Н. И. Тургенев в 1827 г. писал брату, что если не предлагал никому освобождения крестьян с землёю, то потому, что боялся испугать помещиков и «отдалить от освобождения крепостных» их мысли. Ср. в «Записках» Якушкина: «Благомыслящие люди или, как называли их, либералы того времени более всего желали уничтожения крепостного состояния и, при европейском своём воззрении на этот предмет, были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности». Декабрист Лунин в своём духовном завещании 1819 г. требовал (не без влияния Никиты Муравьёва) от своего двоюродного брата, которому отказывал имение: «В течение пяти лет со дня моей смерти, войдя в подробное рассмотрение свойств оного имения и средств получения доходов, непременно уничтожить в оном крепостное право над крестьянами и дворовыми людьми, не касаясь земель, лесов, строений, имуществ вообще и прочих угодий; при этом неоднократно подчёркивал пункт о необходимости «оставить именье нераздельным в нашем роде». Характеризуя роль декабристов в крестьянском вопросе, Лунин в своём «Взгляде на тайное общество», написанном в Сибири, в ссылке, писал: «Тайное общество всеми средствами боролось за освобождение крестьян. Помещикам оно доказывало, что освобождение крестьян приведёт не только не к разорению их, но, наоборот, послужит... к приращению их доходов» (см. С. Я. Гессен и М. С. Коган, Декабрист Лунин и его время, Л. 1926).

В свете этих признаний бросается в глаза явная несостоятельность изображения Пушкина якобы иронизирующим в X главе романа над Н. И. Тургеневым: «Пушкину, — пишет Н. О. Лернер, — в 1830 году казалась смешной наивная вера фанатика в готовность целого сословия сознательно пожертвовать материальными интересами» («Сочинения Пушкина», под ред. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 315).

[39] О причинах, вызвавших эту идею, см. фактический материал в сб. «Бунт декабристов», Л. 1926, стр. 147—154.

[40] В черновике прошения к Александру I об освобождении его из ссылки в Михайловском (октябрь — ноябрь 1825 г.) читаем: «Мне было 20 лет в 1820 г. Необдуманные обмолвки, сатирические стихи... Разнёсся слух, будто я был отвезён и высечен в тайной канцелярии... я почёл себя опозоренным перед светом. Я был в отчаянии... я размышлял, не прибегнуть ли мне к самоубий-

ству или умертвить Вас... я не мстил бы за себя, так как никакого оскорбления не было: я только совершил бы преступление и пожертвовал бы общественному мнению, которое презирал, человеком, от которого всё зависело и... которому я против моей воли удивлялся». Юнкеру Зубову, написавшему «наполненные злобой против правительства стихи» и по высочайшему повелению посаженному в дом умалишённых в ноябре 1826 г., было предъявлено обвинение, что он декламировал стихи, сочинённые Пушкиным на покойного государя:

В столице он — капрал,
В Чугуеве — Нерон,
Кинжала Зандова везде достоин он.

С автором «Кинжала» современники связывали стихи на тему о цареубийстве; Пушкину же приписывали и другую эпиграмму (её декламировал и Зубов):

И у фонарного столба
Попа последнего кишкой
Царя последнего удавим.

См. «Красный архив», т. XVI, стр. 193 (в статье В. Ганцовой-Берниковой, Отголоски декабрьского восстания 1825 г.); о литературных источниках последней эпиграммы (в другом варианте) — у Н. О. Лернера («Каторга и ссылка», 1925, № 8, стр. 238—241).

41 Ср. у Н. О. Лернера: «Отзыв Пушкина о Лунине проникнут явной иронией. Каких решительных действий, кроме слов, можно было ожидать от друга Вакха и Венеры?»

42 Декабрист Оболенский называл Лунина «замечательнейшей личностью замечательной эпохи» («Каторга и ссылка», 1930, № 4, стр. 101).

43 По указанию С. Гессена, Пушкин и Лунин встречались в Петербурге у Тургеневых, Муравьёвых; в октябре 1819 г., на проводах больного Батюшкова, уезжавшего за границу, среди тесного, малолюдного кружка ближайших друзей находились Пушкин и Лунин («Каторга и ссылка», кн. 55, стр. 88, этюд «Лунин и Пушкин»).

44 Выделено нами. — *Н. Б.*

45 С 1822 г. Лунин служил в Варшаве, где и был арестован, хотя имел возможность бежать за границу.

46 «Отряд обречённых». Ср. об Якушкине вариант: Как обречённый (и т. д.).

47 С. Гессен, Лунин и Пушкин, стр. 94.

48 К 1816—1817 гг. исследователи предположительно относят «Ноэль на Лейб-гусарский полк».

49 «Декабристы и их время», т. II, стр. 167—168.

50 «А без помещиков нельзя произвести дело освобождения», — писал Тургенев в дневнике 1821 г. (проф. Е. И. Тарасов, Декабрист Н. И. Тургенев, Самара 1923, стр. 317).

51 Ср. показание Бестужева-Рюмина: Никита Муравьёв и Н. И. Тургенев «проводили время в беспрерывных политических прениях и тем связывали руки Оболенскому и Рылееву».

52 Вариант: *Дела другим порядком шли.*

53 Ход мысли Пушкина мог быть таков: Пестель возбуждал, торопил обнажить кинжал. В докладе Верховного уголовного суда о Пестеле было сказано: «Имел умысел на цареубийство; изыскивал к тому средства, избирал и назначал лиц к совершению оного; умышлял на истребление императорской фамилии и с хладнокровием исчислял всех её членов, на жертву обречённых, и возбуждал к тому других».

54 Зачёркнуто: *торопил.*

55 Первоначально: *собирал.*

[56] Пушкин «холоднокровным генералом» называл А. П. Юшневского (1786—1844) — генерал-интенданта 2-й армии, бывшего одним из директоров Южного общества. На одном из заседаний Юшневский, «братски обняв» Бестужева-Рюмина, благодарил его от имени Директории за энергичную деятельность (см. «Алфавит декабристов»).

[57] В рукописи: *там Р.* зачёркнуто.

[58] П. О. Морозов и др. ошибочно читали: *в союз свободы...* М. П. Бестужев-Рюмин осенью 1825 г. организовал присоединение к Южному обществу Общества соединённых славян.

[59] Зачёркнуто.

В шестом томе «Полного собрания сочинений А. С. Пушкина» (1937, изд. Академии наук СССР) редактор Б. В. Томашевский неправильно в вариантах (стр. 525) поместил двустишие:

Холоднокровный генерал
В союз славянов вербовал —

чем нарушил историческое положение дел, приписав Юшневскому то, что сделал Бестужев-Рюмин, а об этом офицере, сыгравшем важную роль в деле усиления Южного общества путём привлечения новой группы членов, почему-то напечатана строчка:

Там Р — отдалил.

Предлагаемое мной расположение стихов восстанавливает точную картину жизни Южного общества.

[60] Зачёркнуто. Варианты: порывы, минуту.

[61] Читая в рукописи эту заметку Пушкина, я пришёл к заключению, что нет твёрдой уверенности в чтении только: *Пестелю.* Слово так неясно написано, что можно прочитать: *Петру,* т.-е. Петру I.

[62] Поручик Громнитский рассказал на следствии: «Бестужев в разговорах своих выхвалял сочинения Александра Пушкина и прочитал наизусть одно, приписывая оное ему, хотя менее дерзкое (чем стихотворение штабротмистра М. Н. Паскевича на смерть принца Беррийского, убитого Лувелем. — *Н. Б.*), но не менее вольнодумное... Произнесши стихи сии, Бестужев спросил: «Не желает ли кто иметь их?» и, немедленно переписав, вручил их Спиридонову, у которого я после брал с тем, чтоб переписать» (и т. д.). Арестованный Бестужев-Рюмин на коротком перегоне от деревни Трилесы, близ которой был разбит восставший полк, до Белой Церкви разговаривал с конвоировавшим его офицером Ракшаниным... о «вольнодумческих» стихотворениях А. Пушкина. В следственной комиссии он показывал, что «часто читал наизусть стихи Пушкина», что «вольнодумческие стихи Пушкина в рукописях распространялись по всей армии» (см. М. Нечкина, О Пушкине, декабристах и их общих друзьях, «Каторга и ссылка», 1930, № 4).

[63] В бумагах Пушкина сохранилось начало повести о прапорщике Черниговского полка. В центре повести, повидимому, стояла тема победы чувства родины над чувством любви к девушке.

[64] Ср. в письме к А. И. Дельвигу (около 15 февраля 1826 г., из Михайловского): «С нетерпением ожидаю участи несчастных и обнародование заговора. — Не будем ни суеверны, ни односторонни, как фр[анцузские] трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира».

Ср. в известном «Послании в Сибирь» (1826):

Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

См. также стихотворение «Арион» (1827).

[65] Д. Благой, Социология творчества Пушкина, изд. 2-е, стр. 266—267.

[66] В 1830 г., с сожалением вспоминая о том, что вынужден был в конце 1825 г., «при открытии несчастного заговора», сжечь свои записки, «которые могли замешать имена многих, а может быть, и умножить число жертв», Пушкин называл декабристов «историческими лицами»; в своих записках поэт говорил о них «с откровенностью дружбы или короткого знакомства».

[67] Тема декабристов должна была войти в роман «Русский Пелам» (1834—1835). Пушкин предполагал описать «Общество умных» с И. Долгоруким, Н. Муравьёвым, С. Трубецким и др. Таким образом, после сожжения X главы автор «Евгения Онегина» не отказывался от мысли об изображении декабристского движения. Декабрист А. И. Якубович входил в число героев «Романа на Кавказских водах» (1831).

[68] См. эпиграмму Пушкина на Аракчеева («Всей России притеснитель»).

[69] Перед этим отрывком должны были находиться строфы, посвящённые декабрьскому восстанию и новому царю Николаю. Приведём здесь приписываемую Пушкину эпиграмму:

Едва царём он стал,
То разом начудесил:
Сто двадцать человек тотчас в Сибирь послал
Да пятерых повесил.

Выступая в X главе историком-хроникёром, Пушкин не пропустил бы эпизодов смерти Александра I и междуцарствия. Ему приписывается эпиграмма на смерть Александра:

Всю жизнь провёл в дороге —
И умер в Таганроге.

Б. Л. Модзалевский привёл донесение агента тайной полиции, драматурга С. П. Висковатова, в феврале 1826 г. сообщавшего по начальству: «Прибывшие на сих днях из Псковской губ. достойные вероятия особы удостоверяют, что известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям Александр Пушкин... и ныне открыто проповедует безбожие и неповиновение властям и по получении горестнейшего для всей России известия о кончине государя императора Александра Павловича, он, Пушкин, изрыгнул следующие адские слова: «Наконец не стало тирана, да и оставший род его не долго в живых останется!» («Пушкин. Письма», т. II, стр. 135).

[70] П. Лавров в 1879 г. применил это слово: «для новой рабочей партии (во Франции) — отношение к коммуне 1871 г. является шиболетом, отделяющим своих от чужих, друзей от врагов» («Парижская коммуна», изд. 2-е, 1919, стр. 240).

[71] Ср. в письме к Вяземскому от 5 ноября 1830 г.: «Каков государь Молодец! того и гляди, что наших каторжников простит...»

[72] Общество по постройке первой русской железной дороги — от Петербурга до Царского (ныне Детского) села — было основано в год смерти Пушкина (1837).

ЛИТЕРАТУРА О X ГЛАВЕ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

П. О. Морозов, Шифрованное стихотворение Пушкина, «Пушкин и его современники», вып. XIII, 1910.

Д. Н. Соколов, По поводу шифрованного стихотворения Пушкина, «Пушкин и его современники», вып. XVI, 1912.

Н. О. Лернер, Новые приобретения пушкинского текста и дополнения из десятой (сожжённой) главы «Евгения Онегина», «Пушкин», изд. Брокгауз-Ефрон, П. 1915, т. VI.

М. Л. Гофман, Пропущенные строфы «Евгения Онегина», П. 1922.

С. Я. Гессен, Источники X главы «Евгения Онегина», «Декабристы и их время», т. II.

Б. Томашевский, Десятая глава «Евгения Онегина», «Литературное наследство», 1934, № 16—18.

С. В. Обручев, К расшифровке десятой главы «Евгения Онегина», Пушкин, Временник пушкинской комиссии, № 4—5, М. — Л. 1939.

С. М. Бонди, Десятая глава «Евгения Онегина», «Пионер», 1949, № 5.

Н. Н. Фатов, Новый пушкинский однотомник «Советская книга», 1949, № 6, стр. 101—102.

Библиография темы Пушкин и декабристы — в книге Н. М. Ченцова, Восстание декабристов. Библиография, ред. Н. К. Пиксанова, Гиз, 1929, стр. 233—241.

А. Н. Шебунин, Пушкин и декабристы, Обзор литературы за 1837—1937 гг. Пушкин, Временник пушкинской комиссии, № 3, М. — Л., 1937.

М. В. Нечкина, Пушкин и декабристы, Столетие со дня смерти А. С. Пушкина, Труды пушкинской сессии Академии наук СССР, М. — Л., 1938.

М. В. Нечкина, Пушкин и декабристы, Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, Издательство «Правда», 1949.

СОДЕРЖАНИЕ

Иллюстрации к данному изданию подобраны *М. Д. Ицехозской.*

Редактор *П. Ф. Рощин*. Техн. редактор *Н. П. Цирульницкий*.

Подписано к печати 23/I 1950 г. А-01515. Тираж 50 тыс. экз. Печатных листов $25^{1}/_{2}+^{1}/_{8}$ л. вкл. Учётно-издат. л. 22,43+0,05 вкл. Зак. № 214. Цена без переплёта 6 р. 80 к., переплёт 1 р. 80 к.

2-я типография „Печатный Двор“ им. А. М. Горького Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.

